РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

А. ТВАРДОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

ПОЭМЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1971

Вступительная статья и примечания
А. Македонова

Р2
Т26

Иллюстрации
О. Верейского

7—4—2
Подп. изд.

О ТВАРДОВСКОМ

...Петь, что от края и до края,
Во все концы, во все края,
Ты вся моя и вся родная,
Большая родина моя.

(1936)

...Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать.

(1967)

Эти строки могут быть эпиграфом в предлагаемой книге избранных стихотворений и поэм Твардовского. Последний из приведенных отрывков взят из стихотворения «На сеновале». Стихотворение представляет собой типичное для Твардовского слияние лирической зарисовки-воспоминания, характерной сценки давней юности и напряженного анализа-размышления, сегодняшнего переживания, напоминания, нравственного и гражданского обязательства. И, наконец, некоторого первого подведения итогов, результатов большого пройденного пути. Вспоминая главное — с чем они, два юных друга в деревенской глуши, «собирались в путь», шли в «поход»,— поэт добавляет:

Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?

«Завет начальных дней» на первый взгляд является чем-то самоочевидным. Но в своем конкретном жизненном осуществлении это многообразный и сложный путь, труд. С ним связана и целая система лейтмотивных образов, в том числе стихотворных «формул», проходящая

от самых ранних до самых последних стихов. Многое оказалось сложнее, чем казалось вначале. Но «завет начальных дней» остается в целости. И сочетание этой простоты и сложности в высшей степени свойственно не только основному «завету» Твардовского, но и всему содержанию, и самой форме его творчества.

Обратим внимание и на еще одну характерную строку: «Все дни и дали в грудь вбирая». «Вобрать» в одну грудь «все» (заметим — все!) и «дни» и «дали», то есть и все текущее настоящее, в его непосредственной данности и в его подвижности, даже мгновенности, и то, что ведет из этой повседневности в дальние дали,— это стремление проходит через все творчество Твардовского.

Твардовский родился в 1910 году. В середине двадцатых годов появились в печати его первые стихи. Не будем здесь напоминать факты его биографии. Они общеизвестны. Отметим лишь, что Твардовский принадлежит к числу тех поэтов, для которых то, что было заложено в детстве, в ранней молодости, в родной местности, играет особенно большую роль. Сопоставление, противопоставление, связь с начальными основами жизни, их новое и новое переосмысление проходят через все его творчество. И, уже приближаясь к пятидесяти годам, Твардовский писал: «С дороги — через всю страну // Я вижу отчий край Смоленский» и далее, с годами

...все взыскательнее память
К началу всех моих начал!

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы,
И счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.

Путь Твардовского от «той избы» сам стал художественным образом времени, пути народа. В творчестве Твардовского время раскрывается и как его путь, как его личное переживание и достояние:

...Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

...Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом,
И сорок первым,
И иным...

...И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоездом, стороною
Ее увидеть без хлопот,
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.

«Крутой и жесткий пот» жизни, знание ее «горбом и всей спиною» — это также программные строки. Твардовский сумел найти формы поэзии, адекватные именно самому труду, времени и жизни, их «поту». Отсюда и повышенное чувство ответственности за время и себя во времени.

...Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.

...Я за все кругом в ответе.

И позже еще не раз подчеркивает: «Я жил, я был — за все на свете // Я отвечаю головой». Поэтому не мог миновать Твардовский разговора о том, что может подменить или исказить это чувство и реальность ответственности самого народа.

Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.

Что ж, сами люди, а не боги
Смотреть обязаны вперед.

В числе тех, кто «обязан» смотреть вперед, должен находиться и сам поэт, и его герои — от Василия Теркина до тетки Дарьи: «Всего ценней ее ответ». Совсем недавно поэт вновь напоминает: «А ты самих послушай хлеборобов». И это — опять-таки ключевая из ключевых строчек... В движении, развитии такого чувства ответственности — суть пути Твардовского и его поэтической свободы.

Поэзия Твардовского — своеобразная поэтическая энциклопедия времени, его эпическая и лирическая, отчасти и драматическая история. Почти все главнейшие события и тенденции жизни советских людей отразились в стихах Твардовского с небывалой прямотой и конкретностью — «всей спиной» и «горбом». Широта, многообразие, быстрота и оперативность поэтического отклика. И вместе с тем размах и глубина исторического обобщения. «Тоска неутомимая» поиска и движения вперед, как выразился Твардовский в одном из юношеских стихотворений.

Великие события отразились в творчестве Твардовского и в форме прямого их изображения, и в форме связанных с ними, хотя иной раз как бы и отдаленных, переживаний-размышлений. В этом смысле творчество Твардовского в высшей степени злободневно. Однако Твардовский избегает поспешного, газетного отклика на злобу дня. И его творчество, в своей энциклопедической летописности, дает обобщенный, целостный

образ эпохи. Про все его творчество можно сказать то, что он сам сказал про «Василия Теркина»: «Летопись не летопись, хроника не хроника, а именно «книга», живая, подвижная, свободная по форме книга, неотрывная от реального дела». В этой книге эпоха выступает как единый новый поэтический мир — очень подвижный, «без начала, без конца», всегда в «середине», но в этом мире Твардовский находит ряд излюбленных, устойчиво возвращающихся сквозных тем и лейтмотивов, которые превращаются в многозначные метафоры, реалистические символы.

Противоречивое и крепкое единство самого текучего и самого устойчивого специфично и для содержания и для формы поэзии Твардовского, ее метода и структуры. Жизнь и поэзия, которая начинается с ее середины и кончается в середине и все же в самой этой своей «серединности» всегда имеет целостность, имеет вполне определенный смысл, русло и направление потока.

Единство «дней и далей» в конкретном ходе реального сегодняшнего дела создает поэзию самого процесса, бега времени, в его трудовой спешке, даже в его «поте».

Не хожен путь,
И не прост подъем,
Но будь ты большим иль малым,
А только — вперед,
За бегущим днем,
Как за огневым валом...

В другом стихотворении говорится:

И поспевать, надрываясь до страсти,
С болью, с тревогой за нынешним днем.
И обретать беспокойное счастье
Не во вчерашнем, а именно в нем...

Поэзия «бега времени» свойственна, конечно, не одному Твардовскому. Но для него «бегущий день» — это прежде всего живая современность и своевременность, это именно и бегущий «огневой вал», и все время.

Отсюда возникает ощущение необходимости жить без передышки, поэзия «горячего следа». «Некогда. // Времени нет для мороки,— // В самый обрез для работы оно. // Жесткие сроки — отличные сроки, // Если иных нам уже не дано». А в другом стихотворении развивается мысль, что именно необратимость бега времени и сама краткость сроков, отведенных человеку, и создает «жизни выстраданной сласть»,— «ту веру, волю, страсть и власть, // Что стоит мук и смерти черной». Краткий и малый срок жизни «ей самой необходим». Бегущий день и краткие сроки — это целая «эпоха», и она, как целое, тоже движется.

А ей, на всем ходу эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»

Более того, бегущий день

Если он не даром прожит,—
Тыловой ли, фронтовой,
День мой вечности дороже,
Бесконечности любой.

Так день — эпоха — вечность не только выстраиваются в единый ряд, но и сливаются в едином дне. И самые краткие сроки становятся тем, что в математике и философии именуется «актуальной бесконечностью»; преходящее «не даром» и есть то, что не преходит. «Настоящее» для Твардовского всегда целое «пространство событий»; оно включает в себя конкретный образ или след прошлого и предчувствие или готовность будущего и некую работу времени... Отсюда — совершенно особая роль воспоминания и «права памяти» в его стихах, живое соприкосновение прошлого, настоящего и будущего в бегущем огневом вале и связанный с этим особый историзм поэтического мышления.

История события или переживания включаются в изображение или в форме авторского воспоминания, или в форме воспоминания одного из героев, или в форме повествования о прошлом. Даже коротенькая пейзажная зарисовка «Рожь отволновалась...» соединяет в четырех строчках целую земледельческую историю. Часто зарисовки настоящего приводят к детским ассоциациям. На ассоциации, или контрасте, или другой форме соприкосновения прошлого и настоящего построено подавляющее большинство стихотворений Твардовского. В искусстве насытить «бегущий день» богатством и чувством непрерывности «потока времени», его течения и его «сроков» Твардовский не имеет предшественников и равных, и отсюда тот небывалый эпос настоящего, эпос «бегущего дня», который ему удалось создать в «Василии Теркине».

Поэтическое время в этом эпосе очень отличается от времени древнего эпоса, которое всегда является чем-то вполне завершенным и отдаленным от сегодняшнего. Нет, время у Твардовского всегда «без конца», и всегда — незавершенное настоящее, даже прошлое у него продолжается в бегущем дне и не завершено. В связи с этим его путешествия во времени не заходят в отдаленное прошлое или будущее. Путешествия Твардовского всегда ведут в дали, но прежде всего в дали непосредственно обозримые, вот за тем поворотом, за горизонтом, хотя в этом ближайшем прошлом и будущем уже содержится и размах «всех далей».

Это особый историзм, продолжающий и вместе с тем видоизменяющий поэтический историзм Пушкина и Некрасова. Воспоминание не только сопоставлено с настоящим, как в поэзии XIX века, но и как бы перетекает в него; настоящее раскрывается через сложную систему многоступенчатых воспоминаний-ассоциаций, как бы вложенных друг в друга. Так, в цикле «Памяти матери» изображена скорбь настоящего,

самый момент похорон и целый ряд воспоминаний о матери, в которые вписаны, вложены ее воспоминания, то, о чем она когда-то раньше рассказывала; все это связано системой ассоциаций, метафорических пересечений, одновременных и разновременных струй времени. Такие же системы сопоставлений потоков времени — прошлого, настоящего и будущего — проходят через всего «Василия Теркина». Таким образом, достигается удивительная объемность и многоплановость повествования. Время обретается тем, что память сливается с потоком реальной истории. Настоящее время становится истинно настоящим, приобретает не только глубину прошлого, но и силу предчувствия и цели. «Пушки к бою едут задом».

Твардовский говорит со временем накоротке, на «ты», оно для него живые люди, даже личные собеседники, он движется вместе со временем. Речь идет всегда о большом, масштабном, даже всеобщем. Эпическая дистанция отсутствует по отношению к прошлому и вместе с тем нарождается в любом мгновении сегодняшнего. Так Твардовскому удается отразить бег времени и как бег дня, и как бег эпохи. В последние годы у Твардовского все сильнее и прямее звучит поэзия вечности — того в бегущем дне, что побеждает само время... «Ты, время, обожжешься вдруг»,— обращается он к времени, говоря о таких ценностях. Время Твардовского включает в себя неумирающую «память» — память всей матери-родины, матери-земли. Злободневное становится долгодневным, благодневным. И сама память становится еще более взыскательной, ее право — еще более требовательным и безусловным.

Образ и пафос хода Времени и Памяти сливаются у Твардовского с образом Пути. Это еще более сквозной и насыщенный разнообразной конкретностью образ-лейтмотив — и в самом узком прямом, и в самом широком значении.

Все поэмы Твардовского и большая часть его стихотворений — это путешествия. Мотив дороги один из самых давних, самых задушевных, исконно многозначных мотивов всей русской литературы. Твардовский хорошо помнит эту традицию. Но ни у кого раньше этот образ не был таким постоянным. Все персонажи у Твардовского обычно изображены в движении. Пейзажи постоянно меняются. Вся жизнь — это дороги, и даже смерть — дорога: «Отправляется Данила в дальние края». В «Стране Муравии» дана обобщающая формула этого всеобщего путешествия:

А дорог на свете много,
Пролегли и впрямь и вкось.
Много ходит по дорогам —
И один другому рознь.

В поэме «За далью — даль» путешествие стало непосредственной основой сюжета и композиции. Оно осмысливается как новый вариант

путешествия за правдой старого деда Гордея и как путешествие автора к самому себе, в свою душу. «Я жил в пути и пел о нем».

В последних стихах Твардовского не раз возникают исходные образы поэзии тридцатых годов — ухода в путь, в жизнь, в дорогу к идеалу, счастью, подвигу. И возникает новый обратный путь во времени — взгляд на пройденную жизнь и пройденные всей страной, народом дороги («На сеновале» и др.). Эта обратная и вместе с тем поступательная связь времен и путей создает новую внутреннюю основу произведений Твардовского последнего десятилетия. Двойной путь он как бы поворачивает внутрь души, сливает поток жизни и поток сознания.

Выделяются и дополнительные «дорожные» образы, например, «переправы», «перевалы», «перевозы». Эти образы, как всегда у Твардовского, имеют и очень определенное изобразительное содержание, и многозначное метафорически-символическое, ассоциативное. Вспомним две «переправы» в «Василии Теркине» в начале и конце поэмы. Или образ перевоза и перевозчика в заключительном стихотворении «Памяти матери» (« — Ты откуда эту песню...»). Здесь этот образ становится особенно многозначным (и перевоз через речку; и перевоз из далекого края в землю своей молодости и детства; и перевоз с одного берега жизни на другой; и перевоз из жизни в смерть. И перевоз, переход от одного периода народной жизни в другой — все сливается в этом образе.

Ведь и вся эпоха у Твардовского — это переправа, это перевоз, это битва на переправе.

Дороги жизни и души человека изображены Твардовским в их реальной сложности, конкретности, неповторимой достоверности, многообразии поворотов, подчас зигзагов. Это многообразие дорог сливается в «дорогу дорог» времени и народа. Так система образов пути не только получает метафорическое и символическое значение, но становится единой структурой всего поэтического мира Твардовского.

Мир дороги — времени, пути, текущего потока жизни сопрягается у Твардовского и с другой группой сквозных образов. Это образы устойчивых ценностей — «дома», «жилья»; человека-путника, работника и жителя; наконец — природы. Поэт и его герои — не домоседы, но они уходят из домов и возвращаются в них, берегут старые, строят и обживают новые. «Я покинул дом когда-то, // Позвала дорога вдаль». Образ дома, как и образ дороги, имеет много расширяющихся кругов значений, от самых малых до самых больших. Самая малая устойчивая исходная клеточка, площадка бытия — это «отчий угол». Поэт возвращается к нему многие десятки раз. «Отчий угол» расширяется в «хутор Загорье». С ним связана «станция Починок». Более широкий круг — Смоленщина, еще более широкий — различные другие «края» родины, например, просторы Сибири. И еще более широкий — вся «страна родная», родина и, нако-

нец, родная «мать-земля». Нельзя назвать другого поэта, у которого бы так сочетался пафос своей местности, «отчего угла» с пафосом «семи тысяч рек» и «всех краев», которые тоже стали своими. Площадка «дома» расширяется, им становится вся родина, ибо вся она — «моя, моя, моя». Расширение площади не умаляет любви к исходной, как говорил сам Твардовский, «малой родине», которую вместе с тем он никогда не идеализировал и не противопоставлял Большой Родине.

Твардовский родился в деревенской России, и его «отчий угол» ей принадлежит. Поэзия этого «угла» также продолжает огромную традицию, но Твардовский раскрывает новое богатство духовной жизни крестьянской семьи, труд новой эпохи. Твардовский отчетливо утверждает уход от «скудности», утверждает преобразование самых глухих «отчих углов», этим исполнена его поэзия тридцатых годов. Поэзия отчего дома переходит в поэзию нового дома, «новоселья». Это отражало пафос всей нашей жизни, так же как и пафос строительства дорог, вдохновлявшего и других поэтов времени. Но важной индивидуальной особенностью Твардовского является именно соединение поэзии «дома» и поэзии «дорог». Поэтому так ищет он в самих дорогах точность маршрута, и точные вехи, и что-то жилое. Отсюда особая «очерковость», как бы документальность каждого поэтического события — и в лирических стихах, и в поэмах. Мы всегда знаем место и время действия,— будет ли это хутор Загорье или населенный пункт Борки. И если оно не обозначено географическими координатами, то обозначено координатами определенного «пространства событий» с неповторимыми приметами людей, времени, обстановки. В диалектике потока бытия Твардовский всегда находит нечто не только законченно-определенное, но и согретое живым человеческим теплом; образ «дома» у «дороги» или на дороге может быть многозначной метафорой этого поэтического принципа.

«Дома» и «дороги» нашего мира, мира Твардовского, густо населены, и в центре его внимания всегда человек — житель, путник, строитель, мастер, новосел, защитник и воин. Твардовский ввел в поэзию огромный мир людей, типических характеров эпохи.

Трудно даже перечислить — так их много: десятки, сотни людей,— и все разные. Никогда еще в истории поэзии ни одна поэтическая площадка не была населена так густо и так многолико. Даже в некоторых лирических стихотворениях. В 31 строке стихотворения «Братья» сплетены судьбы трех человек, и все трое — это не безликие фигуры, а характеры, лица, а за ними судьба целой семьи. А в одном из последних стихотворений «Как не спеша садовники орудуют...», в 24 строках, еще более сложное сплетение, клубок человеческих образов, параллелей и контрастов их поведения,— и через них — в них — горе сына, потерявшего мать.

Поэт знает ясно, кто его — и народа — враги и друзья, он дает

яркие образы и врагов, и мнимых друзей, но прежде всего его интересуют наши люди, действительный народ, «тот народ, Россия». Это и персонажи его поэм и «сюжетных» или «описательных» стихотворений; и само авторское «я»; и образы читателей, явных или подразумеваемых собеседников поэта и его героев. В творчестве Твардовского эти читатели-собеседники играют совершенно особую роль. Они участвуют в движении всех поэм и стихотворений — как адресаты, как слушатели, как непосредственные деятели самой поэтической беседы, рассказов и даже, косвенно, самих событий.

При всем многообразии людей — от Никиты Моргунка до Василия Теркина или от Теркина до лирических героев последних стихов — есть и общее, главное, объединяющее всех героев. Это — советский трудовой народ с огромной традицией труда, патриотизма, искания правды и огромными новыми возможностями и целями, новый рабочий человек (отнюдь не только крестьянин!) в полном объеме значения этих двух слов. Путником, новоселом, ответчиком становятся и «мужичок горбатый», и бывший Степка Голубь — ныне Голубев Степан, и замечательный дед Данила, и многие-многие другие — плотники, кузнецы, шоферы, печники, солдаты, генералы, вплоть до самого Ленина. «Кто вышел в море с кораблем, // Кто реет в небе птицей, // Кто инженер, кто агроном, // Кто воин на границе». Множество людских путей в едином «строю необозримом».

Особый ряд образуют женские характеры, в том числе излюбленный у Твардовского образ женщины-матери и жены-подруги, достойной в труде, радости и беде, самоотверженной, стойкой, деятельной, с ее пристальной, деловито-заботливой, неутомимой любовью. Образ матери (в лирических стихах разных лет и в поэме «Дом у дороги») несет в себе самое задушевное народное начало. Мелодия этого образа сливается с русской песней, с красотой русской природы, с поэзией внутренней общности народной семьи, дома и с обобщенным образом матери-родины и матери-земли.

Вершиной и средоточием героев Твардовского является удивительный и родной Василий Теркин с веселой, открытой, героической душой, «большой любитель жить», «святой и грешный» «русский чудо-богатырь». Он работник, воин, гармонист, товарищ — «помочь любитель». И мы видим, как этот внук деда Данилы, или Кузьмы многодетного, или правдоискателя Гордея уже несет правду не только по всем дорогам огромной страны, но и по дорогам на Берлин, и вся освобожденная от гитлеровцев Европа на русском языке говорит ему спасибо.

Он стоит, освободитель,
Набок шапка со звездой,
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой.

И мы видим, как этот герой-освободитель парится в бане, чинит часы, шутит с товарищами и ведет победоносный спор с самой Смертью за жизнь на земле.

Уже много писалось об этом характере, его сложности, многосторонности, цельности, историческом значении. В Теркине сосредоточено самое общее, важное в народе, то, что его объединяло в момент наиболее напряженной борьбы и что было прежде всего нужно для победы: непреодолимое жизнелюбие, деятельная товарищеская гуманность, взаимопомощь, вера в правоту народа и в его победу; органическая, непомпезная, чуждая внешних эффектов храбрость, удаль, способность к самоотверженности; трудолюбие; дисциплина, терпение; трезвый, лишенный всякого бодрячества и хвастовства, но неистощимый оптимизм, юмор, полная правдивость, честность. Ничто человеческое ему не чуждо, и отнюдь нельзя представлять его себе «беззаботным великаном». Он — «заботный», его оптимизм и вера включают в себя и грусть, и минуты слез, и минуты одиночества, также естественные и необходимые, как и его непрерывный героизм. Он человек «простой закваски, // Что в бою не чужд опаски». У него есть и вполне прозаические черты рядового солдата своего времени. И выпить он, видимо, не дурак, и может помечтать о том, как будет красоваться перед девчонками в родной деревне, может и чуточку слукавить, в духе солдата из народных сказок. Но, по существу, ничего «грешного» в нем нет. Все — положительное, даже «святое». Оно доступно каждому, ибо заложено в основных чертах народного характера. В сущности, основное в Теркине — это именно нормальное, душевное здоровье, так сказать, высшая нормальность трудового советского человека.

Но в этом общенародном — много выходящего за рамки обыкновенного, хотя опять-таки присущего народному характеру. Правильно отмечались в Теркине душевная тонкость, деликатность, высшая интеллигентность сердца. И в труде, и в воинском подвиге, и в быту, и в веселье — он органически и щедро талантливый мастер. Он прежде всего универсальный работник — и «плотник», и «печник», и «на все руки», строитель и житель дома, который несет все свое с собой. И война для него также работа. И подвиг — работа. Но более того. Он универсальный мастер искусства жить — не в обывательском, а в подлинном смысле. Он «курит, ест и пьет со смаком // На позиции любой». Он — талант самой «жизни на земле», человек, который делает хорошо все, за что берется, умеет жить и чувствовать по-человечески — в любых условиях. Везде он «друг-знакомец» и везде «помочь любитель». А на войне он не только смел, но и необыкновенно удачлив и может, когда надо, быть совсем не рядовым, а командиром (однако совсем к этому не стремясь). А в шутке, в рассказе, в понимании людей, в глубоком поэтическом чувстве — он просто настоящий большой художник, под стать самому Твардовскому, который местами сознательно себя с ним сливает. И даже

когда Теркин моется в бане, он моется талантливо, поэтически, с удалью и красотой. Он, в любой своей прозе,— поэтичен (как и поэзия Твардовского). Все обычные человеческие действия становятся у Теркина эстетическими, красивыми, ибо характеризуются разумной внутренней мерой, согласованностью. Все он делает «так-то ладно, так-то складно». Это сказано и про то, как он починил «завалящую пилу», и даже про то, как он ест яичницу с салом («Ел он много, но не жадно, // Отдавал закуске честь, // Так-то ладно, так-то складно, // Поглядишь — захочешь есть»). Может быть, самое главное в нем и есть «склад» и «лад» — как в стихотворении, как в поэме, как в русской народной песне. Склад и лад души и тела, ума и сердца, труда и веселья, подвига и повседневной жизни создают особое обаяние, духовную привлекательность, делают его примером простой и вместе с тем высшей нормальности человека.

Самая концентрация, сосредоточение в одном человеке, лице всего этого богатства уже делает Теркина удивительным и необыкновенным. И хотя он может быть «придан каждой роте» или взводу и у него есть почти двойники, он все же — один, «этот». Да, он — личность, и притом выдающаяся, яркая личность (и отнюдь не только представитель некоего роевого, безличного общенародного начала, как, скажем, Платон Каратаев, с которым иногда Теркина сопоставляли). Это личность с гораздо более широкими, емкими и текучими границами, чем обычные литературные персонажи. Суть характера Теркина в том, что он и отдельная личность, и особая коллективная,— не только собирательная, но многоликая личность. «Роевое» в Теркине есть, но это «роевое» уже выделившихся, самостоятельных индивидуальностей. Теркин — везде он, и он везде новый Теркин, в каждом эпизоде поэмы он как бы заново возникает и живет вполне самостоятельной жизнью. Это множество разных и разнообразных людей в одном человеке — от непритязательного деревенско-солдатского балагура до всемирно-исторического героя,— и вместе с тем — один человек, удивительно цельный, бесспорный герой и друг. Так создается совсем новая, небывалая и в жизни и в литературе, типическая индивидуальность, живое воплощение нового товарищества людей как личностей. Не только «взвод» но и сам Теркин — «сорок душ — одна душа», которые потому и побеждают самую Смерть, что «до чего они, живые, // Меж собой свои — дружны». Товарищество людей стало не только объектом, но и способом изображения в поэме Твардовского.

Характер Теркина оттенен активным фоном массы других людей, второстепенных или эпизодических персонажей поэмы, и образом самого автора, поэта, свидетеля, участника и рассказчика событий. Автор непрерывно движется вслед за героем и вместе с тем как бы оглядывается кругом себя и на себя. Из фона — потока жизни, войны — выступают эпизодические лица, самые разнообразные — от старика колхозника, бывшего солдата еще старой армии, до генерала, от сугубо бытовых пер-

сонажей до символической старухи-смерти, которой противопоставлены не только Теркин и другие живые люди, но и столь же обобщенный образ России — «матери-старухи», матери — родной Земли и всей жизни на Земле. Некоторые из этих образов обозначены всего лишь несколькими штрихами, некоторые выступают как самостоятельные личности. Но чаще всего это собирательные и как бы безымянные характеры,— будет ли это мать солдата, или жена солдата, или полковник, которому докладывает Теркин после своего подвига на переправе, или генерал, награждающий его орденом, или, наконец, уже совсем мимолетно показанный фронтовой старшина, рачительный хозяин, который «строго» косится, отпуская чарку водки, или повар, который Теркину «ложку лишнюю кладет» и «молвит не сердито».

Все это элементы единого образа народа на войне (в который включены и образы-воспоминания, и образы — мечтания о мирной жизни после войны). Отсюда и особая роль в поэме массовых, коллективных сцен — одновременно повествовательно-очерковых, драматических и лирических, в которых иногда прямо выступают коллективные лица, например, «перемокшая пехота» («Бой в болоте»). Отсюда же и особая роль авторского комментария, явно или скрыто участвующего в любой сцене. Отсюда и сочетание конкретной определенности каждого человека и события с его многозначной обобщенностью. И сам Теркин, и все остальные — это и почти очерково-точное, документальное воспроизведение Великой Отечественной войны, и целая система метафор, символов. Поэтому можно говорить об еще более широком многоликом и самом главном герое поэмы — это весь Народ и вся Жизнь на Земле.

Легко видеть множество истоков и традиций всех героев «Василия Теркина»: тут и народная эпическая поэзия, и солдатский фольклор, и, конечно, «Война и мир», и некоторые сцены из «Кому на Руси жить хорошо», и многое другое. Легко видеть, что в Теркине слились черты и высокого героя, и вполне «бытового» солдата. В личности Теркина выявляются освещенные новым черты веками сложившегося народного характера. Но главное состоит в том, что это совсем новый, небывалый народный герой, небывалым является и способ его изображения. В Теркине соединены цельность и высокое содержание эпического «былинного», героя, живой драматизм и лиризм современника и та новая текучесть, подвижность человеческой личности, тот сложный и слитный поток человеческого существования, который попыталась открыть и передать литература XX века.

Теркин дает небывало широкое отражение русского народного характера в конкретных исторических условиях борьбы с фашизмом. Но ни один отдельный образ, и ни одно отдельное произведение, и даже все творчество любого поэта не могут исчерпать собой народный характер. Границы изображения народного характера в образе Теркина — да

и во всей поэме — связаны с ее художественным своеобразием. В частности, при всем уме и наблюдательности Теркина, он ведет одну «политбеседу» — «не унывай». Он не задумывается над многими реальными вопросами «политбесед». Но Теркин не был бы Теркиным, если бы поэт вложил в него другое, более аналитическое и критическое начало народного характера, хотя в дальнейшем развитии Теркина оно содержится. Ум и поэзия Теркина связаны с известным простодушием, и эта связь также выражала собой черты и тогдашней фронтовой всеобщности, и всего народного характера, исторически сложившегося.

В Теркине проявились многие существенные черты народного характера, те, которые для того «бегущего дня» были самыми важными и которые сохраняют свое значение сейчас, сохранят и в будущем. Более того, в образе Теркина показано и то, что в нем и о нем прямо не сказано. Теркин ведет «политбеседу» всей своей жизнью, делом, примером. И оказывается, что в этой политбеседе содержится ряд очень важных в своей богатой простоте, исконных и обновленных истин народной жизни. Первая из этих истин заключается в органической необходимости для человека, для его жизни — истинности, «правды сущей, в душу бьющей», правды, «как бы ни была горька». Именно эта степень правдивости, ее безусловность есть обязательное условие победы народа в битве за жизнь на земле. Фашизм был бесспорной ложью, борьба с ним была бесспорной правдой. Потому она достигла и в образе Теркина такой всенародности и тем самым всечеловечности. Бой шел за освобождение нашей родины. Бой шел за самую жизнь на земле, за основные ее устои и перспективы.

В споре со Смертью, как и в битве с фашизмом, как и в поединке с фашистским солдатом, этим малым воплощением Смерти, Василий Теркин прежде всего представляет правду и правдивость — личную и народную. Смерть все время лжет, хитрит, а Теркин безоговорочно правдив. В поединке с немецким фашистским солдатом Теркин во всем честен, даже отчасти в ущерб самому себе. Важная деталь: ему и не приходит в голову сразу же стукнуть своего врага зажатой в кулак незаряженной гранатой, потому что это было бы нарушением неписаных народных правил честного кулачного боя. И только когда немец нарушает эти правила и бьет Теркина каской,— тогда и Теркин разрешает себе бой всеми средствами.

На этой жизненной правдивости основано и нравственное начало Теркина. Жизнь — правда, жизнь — добро. Наш народ побеждает потому, что он сражается за правое дело, как победил Теркин и в кулачном бою один на один с фашистским солдатом, хотя «харчи» у него были гораздо хуже, хотя тот солдат был «сытым» «сильным», «ловким», злобным, никакими средствами боя не гнушавшимся Но оказывается, что именно добро, народная справедливость, благородство есть решающая сила пра-

вды-жизни, а злоба и неразборчивость в средствах есть признак слабости и приводят к поражению.

Годы, прошедшие со времени написания поэмы, позволили с новой ясностью увидеть и это объективно-нравственное ее содержание, философско-исторический смысл, который всегда будет живым и современным. Этот всеобщий смысл для поэта неотделим от людей, его несущих. Правда и добро — это не только то, что говорится, но и кто говорит, и как говорит, как живет. «Кто ты есть?» Это — прежде всего жизнь и поступки реальной человеческой личности, ее свобода выбора, ее «экзистенция». Такая «политбеседа» была начата Теркиным и его другом и создателем-поэтом еще до войны, развернулась в «огневом вале» войны, продолжается и по сей час.

Это истинное и нравственное вместе с тем есть и художественное начало человека, его внутренняя свободная мера и норма, то, что делает Теркина таким «складным и ладным».

* * *

Герои Твардовского в подавляющем большинстве своем — люди рядовые, не «генералы» новой жизни, а ее солдаты. Эти рядовые люди — яркие, талантливые мастера жизни, способные к большей отдаче и самоотдаче. Происходит своеобразная демократизация героя. В рядовом труженике, в его повседневных и даже будничных делах раскрывается самый высокий душевный потенциал, возможность героического, идеального действия в любой работе, детали поведения. Недаром же Василий Теркин имеет столь много общего с героями стихотворений и поэм Твардовского тридцатых годов. И глубоко показателен естественный переход от самых «простейших» общечеловеческих свойств (любви к труду, семье, товарищу, родной природе, родной местности) к самому высокому всемирно-историческому подвигу, чудесам самоотверженности. Непринужденность, как бы самопроизвольность этого перехода отражает то новое, что выростила в народных массах социалистическая революция и практика всенародного строительства нового общества.

В послевоенном творчестве Твардовского Теркина сменяют другие герои. Но он продолжается в них, раскрывается новыми сторонами — и в космонавтах, и в тех хлеборобах, что «все превзошли, но с поля не ушли», в самоотверженно работавшей тетке Дарье, и в тех, кто осваивает Сибирь, строит новые дороги и кузни, и в собеседниках в железнодорожном вагоне, и в других новых лицах. Но на первый план здесь выступают уже непосредственно само авторское «я» и читатели-собеседники, а также обобщенно-предметные, отчасти символические образы — например, Урал в «За далью — даль», ряд образов природы в лирических стихах шестидесятых годов или даже книг-идей («Есть книги волею приличий...»). Главное же, «множество людских путей» переходит

внутрь, в глубь самого авторского «я» и его разговора с читателем и временем («всего героев — ты да я // Да мы с тобой»). Василий Теркин продолжает жить и действовать уже в других формах и еще более многолико:

Там, где жизнь,
Ему привольно,
Там, где радость,
Он и рад,
Там, где боль,
Ему и больно,
Там, где битва,
Он — солдат.

Это продолжение боя «ради жизни на земле», только в гораздо более сложной форме, ибо враг, смерть, чужие, «немые», потомки Степки Грача не раз принимали обличие друга или защитника твоего дома и тебя самого. Теперь Теркин, пройдя много дорог, научился лучше их видеть, видеть Смерть во всех ее, даже подделанных под жизнь, формах. И, продолжая эту битву, должен «биться, беситься и лезть на рожон». И его ведет тот же коллективизм, тот же «завет начальных дней»: «а если — то и жизнь отдать». В самом последнем опубликованном стихотворении читаем:

Жить, как живешь, своей страдой бессонной,—
Взялся за гуж — не говори: не дюж.

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

И происходит гораздо более сложная «политбеседа». Главным героем становится как бы самый процесс напряженного, подчас тревожного народного раздумья, извлечения уроков из прошлого во всей их правде, «как бы ни была горька», в новой «тоске неутомимой» путника и правдоискателя, оглянувшегося на уже большой пройденный путь. Стремление (всегда существовавшее в Твардовском) самому «дознаться», «доискаться» (в том числе и «просчетов» — и своих и эпохи), углубляться — вплоть до «дна», «самого донышка» жизни,— «думу свою без помехи подслушать» и даже «черту подвести стариковскою палочкой». Особенно в стихах последних четырех-пяти лет чувствуется жар еще более жесткой самопроверки, неудовлетворенности собой, тревоги за то, что происходило в окружающей жизни. Отсюда отвращение к мнимолегким или мниморациональным решениям, новые призывы самих послушать хлеборобов, подчас ноты тяжелой горечи. И если раньше поэт стремился, ставя вопрос, тут же дать и какой-то ответ, то сейчас в этом раздумье присутствуют и просто вопросы, ибо ответы не обязательно приходят вместе с вопросами.

Усиление аналитического начала в нашей поэзии последних десятилетий, о котором много писалось, у Твардовского никогда не переходит в бесплодное самокопанье или игру разочарований и неопределенных томлений. Ибо — «при тебе и разум твой и опыт», разум и опыт народа, не зря прошедшего такое множество дорог, и своей личной судьбы, и «новый... маршрут». Нужно только «не прихорашивать итог», «К обидам горьким собственной персоны // Не призывать участье добрых душ», «дюжить» дальше, в соответствии с судьбой народа и мудрости тех его «книг», о которые обжигается время. Появляется новая, светлая (даже когда очень горько) умудренность души. Именно «неприхорошенность» итога позволяет отделять зерно от половы, отделять то, от чего «обжигается время», от того, что ушло или должно уйти. Отделять жар огневого вала, «жар правдивой речи» от «холодного дыма» «вранья»; «дело» от «краснословья», от «трухи». И аналитическое превращается в поиск нового поэтического синтеза. Это синтез труда души и личной «судьбы» (и всей жизни на земле). Так возникает ряд образов с метафорическим и реалистически-символическим содержанием. Например, образ «березы», ее судьбы становится символом всего растущего, безусловно жизненного: «Нет, не бесследны в жизни наши дни...» («Береза»).

Разговор на темы «бегущего дня» переходит в разговор на вечные темы: диалектики исторического процесса, борьбы жизни со смертью, связи времен и связи человека со временем и вечностью, главных непреходящих ценностей. Например, тема борьбы со смертью, возникшая еще в огне войны, продолжается в ряде лирических стихотворений начиная с 1946-го и особенно с 1955 года. Смерть для Твардовского — это «черная» «бездонная пустота», праздность и молчание жизни, ее «вечный выходной», который может включить в себя и систему фикций, мнимых подобий жизни, существ, как бы пародирующих человека. Это — «старуха», хитрая, подчас погано-вкрадчивая, подчас пусто-рассудительная, даже формально «правильная», но внутренне пустая. И основная сила человека в битве со смертью — его коллективность, сила любви к жизни, любви к Родине. «Мы только врозь тебе подвластны, // Иного смерти не дано». А с другой стороны, смерть — это необходимая граница, мера жизни, смены времени, и даже иногда вечная «правота». В самом трагизме разрыва смертью человеческих связей есть и нечто другое, большее, как это показано в цикле «Памяти матери». Есть некая работа смерти, неотделимая от работы жизни. И отсюда образ труда могильщиков, его страшная и вместе с тем просветляющая перекличка и контраст с трудом садовников; это и уход вглубь, возвращение к матери-земле, это и последний перевоз, переправа. Вместе с тем ужас смерти проявляет силу связи между людьми, любви сына к матери, силу любви человека к жизни, бесконечность жизни и времени, как вечной переправы, перевоза, как труда и могильщика и садовника.

В стихотворениях самых последних лет (1965—1968) выступает и дополнительная тема стареющего человека, приближения сроков жизни. Это воспринимается поэтом как обязательство и как светлая печаль необратимого хода жизни, времени: «Здравствуй, любая пора, // И проходи по порядку». И как сознание, что «некий срок еще для сдачи дел // Отпущен — до погрузки и отправки»,— но сила творческого труда, самоотдачи побеждает время («жар такой работы, // Когда часы быстрей минут... // Когда весь мир как будто внове // И дорога до смерти — жизнь»). И как более полное выявление собственных возможностей: «Не штука быть себя моложе, // Труднее быть себя зрелей».

Путник и работник — жизнь, время, народ, поэт — оглядываются на себя и на пройденное, чтобы в жаре новой работы стать себя зрелее и выйти на новый «маршрут». Правда сущая потока «жизни на земле» — и потока своей личности, ее урок и обязательство, ее углубление в себя, рост ее деятельного самосознания и познания. И некий совсем другой перевал, предчувствие:

...Перед какой безвестною зимой,
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

В этом чувстве нового маршрута, тревог и потрясений может найти себя «судьба любая», и намечается новая связь времен, продолжение дороги дорог!

* * *

Индивидуальное своеобразие пути Твардовского отразило, выразило путь широчайших русских народных масс в ту эпоху, когда новое общество перешло к глубинной перестройке всех укладов народной жизни и самой человеческой личности, перешло к массовому строительству новых дорог и домов и к их, так сказать, обживанию. Этот процесс выявил новые возможности человека и поэзии, но сопровождался и новыми трудностями, опасностями, сопровождался огромными битвами на переправах, подъемах и поворотах, прежде всего битвой с фашизмом.

Возникло небывалое в истории сочетание пафоса дней и далей, будничного и героического; точной деловитой работы, требующей внимания к каждой подробности, и огромного размаха, крутизны перевалов и поворотов; роста возможностей и ответственности каждого отдельного человека и сурового единства, дисциплины. Возникло небывалое в истории сочетание прозы и поэзии в самой жизни. В поэзии Твардовского это выразилось в стремлении к сложной простоте, пристальной наблюдательности, зоркости, меткости глаза путника и мастера. Это поэзия новой коллективности, поэзия потребностей и опыта социалистического демократизма в реальных исторических условиях его развития.

Может быть, впервые в истории поэзии с такой силой и такой конкретностью утверждается главным ее героем человек из народа в главных его делах, в слитном труде рук, ума, сердца. Герой слился с личностью поэта, стал его многоликой личностью и впервые развернулся во всем богатстве своей новой интеллигентности, духовности.

С этими главными поэтическими открытиями Твардовского связаны все остальные. И прежде всего то, что можно назвать расширением и углублением поэтической конкретности. Конкретности воспроизведения множества дорог и домов, многообразия людей, природы, событий — всего потока жизни. Эта новая конкретность воспроизведения окружающего мира, с присущей ей почти документальной точностью, стала вместе с тем и новой конкретностью анализа диалектики души, «текучего вещества личности», как выразился Л. Толстой. В этом поэт достиг небывалой наблюдательности, искусства передачи тончайших переливов «текучего вещества», особенно в том, что можно назвать социально-психологическим поведением человека. В психологическом анализе Твардовский достигает самых глубинных слоев. Невидимый ход диалектики души, иной раз сильно отличающийся от видимого, передается им совокупностью картин человеческого поведения и окружающей обстановки и особой гибкой текучей стихией стиха, поэтического языка, как это мы видим на примере ряда стихотворений (от «Братьев» до стихов последних лет).

Конкретность нового позволила лучше оценить и значение унаследованных ценностей, в том числе таких, как любовь к родной земле, природе, повседневному труду, историческая преемственность народной жизни. Так продолжалось реальное обновление поэзии, начатое революцией.

Это обновление включало и переработку опыта поэзии XX века, и возрождение традиций великой русской классической реалистической поэзии, и использование поэзией достижений прозы. Поэзия Твардовского начала разговор сначала, «как в первый раз на свете», независимо от готовых литературных представлений. Обновление литературы и основано на том, что писатель выходит за ее пределы; он не отталкивается от нее и не продолжает, он просто говорит о том, что появилось в жизни, что есть и может быть. Непосредственными учителями Твардовского были Некрасов, Пушкин, Л. Толстой, Чехов, советская поэзия и проза, в том числе и документальная, вплоть до газетного очерка, корреспонденции. Но вместе с тем поражает уже в ранних стихах Твардовского (начиная с 1928—1929 гг.), и тем более в первых стихах, вошедших в настоящее собрание, их полная самобытность, отсутствие даже косвенных литературных реминисценций, отсутствие «литературности». Бунин, восхищаясь «Василием Теркиным», писал, что в «этой поэме нет ни единого... готового, то есть литературно-пошлого слова»[1]. Это верно и по

[1] И. А. Бунин, Письмо к Н. Д. Телешову.— Журн. «Исторический архив», М. 1962, № 2, стр. 166.

отношению ко всему Твардовскому. У него есть слова более и менее удачные, но нет слов «готовых», хотя он никогда не стремился быть оригинальным и не боялся традиционности. В «Стране Муравии» многое продолжает Некрасова, но нет ничего «готового» некрасовского. И, по существу, это не только другая деревня, но и совершенно другой поэтический строй, система. Остальные стихи Твардовского невозможно непосредственно сопоставить с чем-либо в мировой литературе.

Элементы художественной прозы — сюжетность, многогеройность, широкое использование «бытовых» и других «прозаических» деталей и ситуаций, многоплановость движения образа, детальность психологического анализа, разнообразное использование разговорной и другой прозаической речи — не просто перенесены Твардовским в поэзию из прозы. Нет, было найдено и показано их новое поэтическое содержание. Картины грандиозных массовых боев, подвигов непринужденно переходят в солдатские разговоры и шутки о потерянном кисете; в самый патетический момент о Теркине говорится — «гладкий, голый, как из бани». Одно из самых глубоко драматических стихотворений может начаться словами: «Допустим, ты свое уже оттопал». Вульгаризм «оттопал» здесь также естествен, как рядом «высокие», книжные обороты речи: «некий твой срок», «твой предел». И патетическое восклицание «нет, лучше рухнуть нам на полдороге» без затруднений переходит в заключительное грубоватое просторечие — «и, может, меньше нашего наврут». У Твардовского, строго говоря, нет ни прозаизмов, ни «поэтизмов», а есть один живой поток современной народной речи, ее богатство, свобода, непринужденность, многоголосье, с преобладанием повседневно-разговорной, ничем не прихорошенной основы, но раскрытой во всей ее глубинной поэтичности.

Речь каждого поэта предполагает собеседников, очень разных у разных поэтов. Например, слово Маяковского — это слово «агитатора, горлана, главаря», обращенное и к современникам, и к «товарищам потомкам» с трибуны собрания, или митинга, или эстрады. У некоторых поэтов оно обращено, наоборот, к близкому другу или любимой и т. д. Слово Твардовского обращено к конкретному собеседнику — современнику, читателю,— и не одному, а нескольким, многим, с несколькими различными характерами, а также к своим героям, к самому себе, различным своим «я». Это всегда — живые личности, даже когда Твардовский обращается к времени или смерти («Ты, время, обожжешься», «Ты дура, смерть» и т. д.). Митинговое начало в поэзии Твардовского отсутствует. Отсутствуют у него и страстные, интимные излияния или рыдания, задыхающиеся судорожные исповеди, столь характерные, например, для Цветаевой. Речь Твардовского всегда очень сдержанная, даже в моменты наивысшего потрясения, глубокого волнения (как в изображении переправы в «Василии Теркине» или похорон матери). В лучших стихах Твардовского эта сдержанность еще больше усиливает впечатление.

Разговор идет как разговор-описание, рассказ, воспоминание, диалог, а вместе с тем — анализ, размышление. Очень накоротке, но без фамильярности и даже без интимности, откровенно, но с полным самоконтролем, даже иногда излишним. И о самом себе поэт говорит обычно как бы немножко со стороны. Вообще это беседа рассудительная, чаще неторопливая, то сжатая до афористичности, то обстоятельная, иногда кажущаяся многословной. На самом деле поэт просто думает вместе с собеседником, вместе с нами. Это процесс живого течения мысли, чувства, с пристальным вниманием к подробностям, деталям, переходам. Поражают постоянные переходы от непринужденной беседы-рассказа к очень метким, емким афоризмам, как бы самопроизвольно рождающимся из этой беседы [1].

Его речь пластична, она очень богата красками, запахами, звуками густо населенного мира. Мы видим «розоватую пену» березового сока со свежих пней, «голубой» весенний пар над полями, «грузного грача» над первой бороздой. Зрительные образы удваиваются точными сравнениями. Хуторок, который стоит на крутой горочке, издали похож на «кустик», лысый дед — на «бубен». Не меньше богатство звучаний и тонкость слуха. На целой симфонии звуков построено стихотворение «Сельское утро». В другом месте поэт слышит, как «свежо, морозно, вкусно заскрипел капустный лист». А запахи? Твардовский замечает, что летняя деревенская пыль ночью пахнет «золой», что молодой березовый листик «пахнет смолкою», ощущает, что «погубленных березок вялый лист... как сено, из-под дождика душист», рисует целые картины запахов — «Сапогами пахнет, потом, // Мерзлой хвоей и махрой». Образы зрительные, звуковые и т. д. накладываются друг на друга. Например, в «Василии Теркине» замечательное описание леса в «полдень раннего июня»: «Молодой, густой, смолистый, // Золотой держался зной» и «мешался» «у земли» «в спокойной чаще хвойной» «с муравьиным духом винным». Сочетание разнообразных чувственных образов переходит здесь в своеобразную метафору — характеристику «зноя» как некоего одушевленного существа; «зной» имеет запах, цвет, вещество, возраст. Но Твардовский никогда не ограничивается только яркостью этих сложных предметных описаний. Он всегда включает их в «текучее вещество личности» и в «текучее вещество» всего потока жизни. Картина леса в «Василии Теркине» получает многослойную стереоскопическую и вместе с тем подвижную глубину, потому что это картина не только леса, но и воспоминаний

---

[1] Многие из них уже вошли в общенародное сознание, стали поговорками, афоризмами, крылатыми словами. Несколько примеров: «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле», «Тут ни добавить, ни прибавить», «Как ни трудно, как ни худо — не сдавай — вперед гляди», «А всего иного пуще не прожить наверняка — без чего? — Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, как бы ни была горька», и т. д. и т. п.

о детстве, о родных местах, о мирной человеческой жизни народа, которая противостоит ужасам войны. Воспоминания привязаны к определенному месту и времени: к раннему июню, именно к полдню, именно к тому месту, где «мальчонкой однажды» искал теленка. И завершается описание деталью зрительной, очень вещественной и вместе с тем несущей метафорическое и богатое психологическое содержание: «Светлой каплею смола // По коре нагретой елки, // Как слеза во сне текла». Заметьте — не просто слеза, а «слеза во сне». К сравнению подключен целый мир переживаний, которые связаны с общим как бы «психологическим» состоянием этого леса в жаркий июньский день, когда зной «пьянил, склоняя в сон». Это и сон леса, и сонливость человека в лесу, и суммарный образ детских снов, и сон воспоминаний на фоне ужасной яви войны. Такие емкие детали озаряют и сплетают в узел большие ряды событий и переживаний. Они очень характерны для Твардовского. Они и очень точны, конкретны, и очень многозначны, ассоциативны.

Эти детали, образы превращаются в различные, так сказать, психологические ряды переживаний и действий людей. Сопоставление этих рядов вызывает своеобразные, типичные для Твардовского, психологические и «поведенческие», метафоры. «И как будто дело делал, // Шел ко мне. Убить меня». Сопоставлено несовместимое — работа и убийство, и это сопоставление глубоко вскрывает и ужас войны, и деловитое бессердечие фашистского солдата и контрастирует с противоположным значением «войны — работы» советских воинов. Психологические ряды и сравнения развиваются, выстраиваются в сложные, но стройные системы. Так в «Переправе» трагизм и героизм гибели передан совместным движением образов смерти и жизни. Смерть показана очень выразительной деталью: «порошит снежок им в очи». А рядом происходит — и после смерти — движение их жизни: «еще паек им пишет первой роты старшина», «А по почте полевой // Не быстрей идут, не тише // Письма старые домой». Наглядность этого движения подкреплена деталью — воспоминанием о прошлом — «Что еще ребята сами // На привале при огне, // Где-нибудь в лесу писали // Друг у друга на спине». И завершается параллельное движение — контраст опять-таки удивительно емкой, озаряющей, психологической метафорой: «Спят бойцы. Свое сказали // И уже навек правы. // И тверда, как камень, груда, // Где застыли их следы». Мертвые ведут себя, как живые. «Правота» бойцов и «твердость» застывших следов подчеркивают необратимость, вечность смерти и вместе с тем бессмертие бойцов, отдавших жизнь за правду.

Такие слитные системы и потоки сопоставлений проходят через все стихи Твардовского, начиная с таких, как «Гость». Твардовский изображает эти потоки с проникновенной и деловитой точностью. Но из этой точности рождается своеобразная метафоричность, ассоциативность, многозначная реалистическая символика. Это роднит поэта с опытом поэзии

XX века, поэзии эпохи бурных общественных событий, с ее напряженностью, размахом разрывов и отдаленных соответствий, с подчас особой многозначностью слова и мысли. Но в ряду поэтов XX века Твардовский сделал принципиально новый шаг к поэзии углубленной конкретности, к новой поэзии действительности,— в том смысле, в каком употребляли этот термин Иван Киреевский и Белинский, говоря о Пушкине.

Поэзия Твардовского — это поэзия новой действительности, поэзия жизни и труда советских людей, поэзия нашей современности и нашего движения в будущее. Так родилась поэзия многоголосья и многоликости людей и событий, лирико-эпической истории современности. Поэзия нового народа, ставшего сознательной исторической личностью, ответчиком за все на свете. Поэзия самого процесса становления такой личности во всем его «крутом и жестком поте». Отсюда — новый синтетизм художественного метода, новый тип стихотворений и поэм, с их жанровой свободой, нечувствительными переходами лирики в повествование и наоборот, с их новым жанром свободного рассказа «с середины». Синтез лирического, повествовательного и драматического начала в поэзии. Синтез метафорического и точного, вплоть до «документальности», слова. Синтез пластического и аналитического изображения, с некоторым преобладанием аналитического начала. Расширение площадки поэзии — искусство вместить в сердце поэта «все дни и дали». Новая поэзия диалектики «текучего вещества» жизни, времени, личности и ее устойчивых ценностей, поэзия дороги и дома. Поэзия подъема и трудностей в формировании социалистического чувства личности, чувства коллективной личности, духовного роста трудового человека. Именно это отразилось и выразилось в поэзии Твардовского, в ее предельной конкретности, трезвой и вдохновенной правде, в поэзии, идущей вместе с нами по сложным путям времени.

А. МАКЕДОНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОСТЬ

Верст за пятнадцать, по погоде жаркой,
Приехал гость, не пожалев о дне.
Гость со своей кошелкой и дегтяркой,
На собственных телеге и коне.

Не к часу гость. Бригада на покосе.
Двух дней таких не выпадет в году.
Но — гость! Хозяин поллитровку вносит,
Яичница — во всю сковороду.

Хозяин — о покосе, о прополке,
А гость пыхтел, никак решить не мог:
Вносить иль нет оставшийся в кошелке
Свой аржаной с начинкою пирог...

Отяжелев, сидел за самоваром,
За чашкой чашку пил, вздыхая, гость.
Ел мед с тарелки — теплый, свежий, с паром,
Учтиво воск выплевывая в горсть.

Ждал, вытирая руки об колени,
Что вот хозяин смякнет, а потом
Заговорит о жизни откровенней,
О ценах, о налогах, обо всем.

Но тот хвалился лошадями, хлебом,
Потом повел, показывая льны,
Да все мельком поглядывал на небо,
Темнеющее с южной стороны.

По огородам, по садам соседним
Вел за собою гостя по жаре.
Он поднимал телят в загоне летнем,
Коров, коней тревожил на дворе.

А скот был сытый, плавный, чистокровный;
Как горница, был светел новый двор.
И черные — с построек старых — бревна
Меж новых хорошо легли в забор.

И, осмотрев фундамент и отметив,
Что дерево в сухом — оно, что кость,
Впервые, может, обо всем об этом
На много лет вперед подумал гость.

Вплотную рожь к задворкам подступала
С молочным, только налитым, зерном...
А туча тихо землю затеняла,
И вдруг короткий прокатился гром.

Хозяин оглянулся виновато
И подмигнул бедово: — Что, как дождь?...—
И гостя с места на покос сосватал:
— Для развлеченья малость подгребешь...

Мелькали спины, темные от пота,
Метали люди сено на воза,
Гребли, несли, спорилася работа.
В полях темнело. Близилась гроза.

Гость подгребал дорожку вслед за возом,
Сам на воз ношу подавал свою,
И на вопрос: какого он колхоза?
Покорно отвечал: — Не состою...

Дождь находил, шумел высоко где-то,
Еще не долетая до земли.
И люди, весело ругая лето,
С последним возом на усадьбу шли.

Хозяин рад был, что свою отлучку
Он вместе с гостем в поле наверстал.
И шли они, как пьяные, под ручку.
И пыльный дождь их у крыльца застал...

Гость от дождя убрал кошелку в хату
И, сев на лавку, стих и погрустнел:
Знать, люди, вправду, будут жить богато,
Как жить он, может, больше всех хотел.

1933

* * *

Рожь отволновалась.
Дым прошел.
Налило зерно до половины.
Колос мягок, но уже тяжел,
И уже в нем запах есть овинный...

1933

БРАТЬЯ

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад.
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.

— Ну, сыны?
Что, сыны?
Как, сыны? —
И сидели мы, выпятив груди,—
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело...

Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов —
В детстве вкусные желуди были!..

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?..

1933

НОВОЕ ОЗЕРО

Сползли подтеки красноватой глины
По белым сваям, вбитым навсегда.
И вот остановилась у плотины
Пугливая весенняя вода.

И вот уже гоняет волны ветер
На только что затопленном лугу.
И хутор со скворечней не заметил,
Как очутился вдруг на берегу.

Кругом поля ровней и ближе стали.
В верховье где-то мостик всплыл худой,
И лодка пробирается кустами,
Дымя ольховой пылью над водой.

А у сторожки, на бугре высоком,
Подрублена береза, и давно
Долбленое корытце светлым соком —
Березовиком — до краев полно...

Сидит старик с ведерком у обрыва,
Как будто тридцать лет он здесь живет.
— Что делаешь? — Взглянул неторопливо:
— Пускаю, малец, рыбу на развод...

Про паводок, про добрую погоду,
Про все дела ведет охотно речь.
И вкусно курит, сплевывая в воду,
Которую приставлен он стеречь.

И попросту собой доволен сторож,
И все ему доступны чудеса:
Понадобится — сделает озера,
Понадобится — выстроит здесь город
Иль вырастит зеленые леса.

1934

* * *

Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома...
Здесь и собаки не помнят меня
И петухи поют незнакомо.

Но пахнет, как в детстве,— вишневой корой,
Хлевами, задворками и погребами,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой
И простывшей баней...

1934

МУЖИЧОК ГОРБАТЫЙ

Эту песню Филиппок
Распевал когда-то:
Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый.

И согласно песне той,
Мужичок горбатый
Жил беспечно, как святой —
Ни коня, ни хаты.

В батраки к попу ходил
В рваных лапоточках,
Попадью с ума сводил
И попову дочку.

Он не сеял и не жал,
Каждый день обедал.
Поп грехи ему прощал,
Ничего не ведал.

Пел на свадьбах Филиппок
По дворам богатым:
Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый.

И в колхозе Филиппок
Заводил, бывало:
Жил, мол, раньше мужичок,
Этакой удалый.

По привычке жил, как гость,
Филиппок в артели.
Только мы сказали: — Брось,
Брось ты, в самом деле!

Ходишь, парень, бос и гол,
Разве то годится?..
Чем, подумаешь, нашел —
Бедностью гордиться.

Ты не то играешь, брат,—
Время не такое.
Ты гордись-ка, что богат,
И ходи героем.

Нынче трудно жить с кусков,
Пропадать по свету:
Ни попов, ни кулаков
Для тебя тут нету.

Видит парень — нечем крыть,
Просится в бригаду.
И пошел со дня косить
С мужиками рядом.

Видит парень — надо жить.
Пробуй, сделай милость.
И откуда только прыть
У него явилась!

Видит — надо. Рад не рад —
Налегает, косит.
Знает, все кругом глядят:
Бросит иль не бросит?..

Не бросает Филиппок,
Не сдает — куда там!
Дескать, вот вам мужичок,
Маленький, горбатый...

Впереди Филипп идет,
Весь блестит от пота.
Полюбил его народ
За его работу.

И пошел Филипп с тех пор
По дороге новой.
Позабыл поповский двор
И харчи поповы.

По годам еще не стар,
По делам — моложе,
Даже ростом выше стал
И осанкой строже.

И, смеясь, толкует он
Молодым ребятам,
Что от веку был силен
Мужичок горбатый.

Но, однако, неспроста
Пропадал безгласно:
Вековая сила та
В сук росла напрасно.

1934

* * *

Я иду и радуюсь. Легко мне.
Дождь прошел. Блестит зеленый луг.
Я тебя не знаю и не помню,
Мой товарищ, мой безвестный друг.

Где ты пал, в каком бою — не знаю,
Но погиб за славные дела,
Чтоб страна, земля твоя родная,
Краше и счастливее была.

Над полями дым стоит весенний,
Я иду, живущий, полный сил.
Веточку двурогую сирени
Подержал и где-то обронил...

Друг мой и товарищ, ты не сетуй,
Что лежишь, а мог бы жить и петь.
Разве я, наследник жизни этой,
Захочу иначе умереть!..

1934

* * *

С одной красой пришла ты в мужний дом,
О горестном девичестве не плача.
Пришла девчонкой — и всю жизнь потом
Была горда своей большой удачей.

Он у отца единственный был сын —
Делиться не с кем. Не идти в солдаты.
Двор. Лавка. Мельница. Хозяин был один.
Живи, молчи и знай про свой достаток.

Ты хлопотала по двору чуть свет.
В грязи, в забвенье подрастали дети,
И не гадала ты, была ли, нет
Иная радость и любовь на свете

И научилась думать обо всем —
О счастье, гордости, плохом, хорошем —
Лишь так, как тот, чей был и двор и дом,
Кто век тебя кормил, бил и берег, как лошадь...

И в жизни темной, муторной своей
Одно себе ты повторяла часто,
Что это все для них, мол, для детей,
Для них готовишь ты покой и счастье.

А у детей своя была судьба,
Они трудом твоим не дорожили,
Они росли — и на свои хлеба
От батьки с маткой убежать спешили.

И с ним одним, угрюмым стариком,
Куда везут вас, ты спокойно едешь,
Молчащим и бессмысленным врагом
Подписывавших приговор соседей.

1935

ВСТРЕЧА

Не тебя ль в твой славный день,
На запруженном вокзале,
Столько сел и деревень
С громкой музыкой встречали?..

Смотришь — все перед тобой,
Всем родна и всем знакома.
Смотришь — где ж он, старый твой,—
Знать, один остался дома?..

Век так жили. Бить — не бил.
Соблюдал в семье согласье,
Но за двадцать лет забыл,
Что зовут тебя Настасьей.

Жили, будто старики:
Не смеялись и не пели,
Приласкаться по-людски,
Слова молвить не умели...

Столько лиц и столько рук!
Одного его не видно.
И до боли стало вдруг
Горько, стыдно и обидно.

Ради радостного дня
Не пришел, не встретил даже.
Ты б уважил не меня,
Орден Ленинский уважил...

— Здравствуй! — все кричат вокруг
И совсем затормошили.
Чемодан берут из рук,
Под руки ведут к машине.

— Здравствуй...— Слышит — не поймет —
Голос жалостный и слабый:
— Да наступит ли черед
Поздороваться мне с бабой?..

Оглянулась — вот он сам.
Говорить ли ей иль слушать?
— Здравствуй...— Слезы по усам.
— Здравствуй,— говорит,— Настюша...

Плачет,— разве ж он не рад?
Оробев, подходит ближе.
Чем-то словно виноват,
Чем-то будто бы обижен.

Вот он рядом, старый твой,
Оглянулся, губы вытер...
— Ну, целуйся, муж, с женой!
Люди добрые, смотрите...

1936

* * *

Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой,
Что не своей заживешь ты судьбой?

Сумку да кнут по наследству носил,—
Только всего, что родился красив.

Двор без ворот да изба без окон,—
Только всего, что удался умен.

Рваный пиджак, кочедыг да копыл,—
Только всего, что ты дорог мне был.

Кто ж тебя знал, невеселый ты мой,
Что не своей заживешь ты судьбой?

Не было писано мне на роду
Замуж пойти из нужды да в нужду.

Голос мой девичий в доме утих.
Вывел меня на крылечко жених.

Пыль завилась, зазвенел бубенец,
Бабы запели — и жизни конец...

Сказано было — иди да живи,—
Только всего, что жила без любви.

Жизнь прожила у чужого стола,—
Только всего, что забыть не могла.

Поздно о том говорить, горевать.
Батьке бы с маткой заранее знать.

Знать бы, что жизнь повернется не так,
Знать бы, чем станет пастух да батрак.

Вот посидим, помолчим над рекой,
Будто мы — парень да девка с тобой.

Камушки моет вода под мостом,
Вслух говорит соловей за кустом.

Белые звезды мигают в реке.
Вальсы играет гармонь вдалеке...

1936

ПОДРУГИ

Выходили в поле жать,
Любовалась дочкой мать.

Руки ловкие у дочки.
Серп играет, горсть полна.
В красном девичьем платочке
Рядом с матерью она.

Мать нестарая гордится:
— Хорошо, девчонка, жнешь,
От мамаши-мастерицы
Ни на шаг не отстаешь.

Выходила дочь плясать,
Любовалась дочкой мать.

Ноги легкие проворны,
Щеки смуглые горят.
Пляшет плавно и задорно,—
Вся в мамашу, говорят.

Год за годом вместе жили,
На работу — в день и в ночь.
Песни пели и дружили,
Как подруги, мать и дочь.

Только мать всегда желала,
Чтобы дочка первой шла —
Лучше пела, лучше жала,
Лучше матери жила.

Дочке в город уезжать.
Снаряжает дочку мать.

Полотенце, да подушка,
Да корзиночка белья.
— До свиданья, дочь-подружка,
Радость светлая моя.

Целовала торопливо,
Провожала в добрый путь:
— Будь ученой и счастливой,
Кем ты хочешь —
Тем и будь.

1936

ПЕСНЯ

Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя.

Под иголкой на пластинке
Вырастает песня вдруг,
Как ходили на зажинки
Девки, бабы через луг.

Вот и вздрогнула ты, гостья,
Вижу, песню узнаешь...
Над межой висят колосья,
Тихо в поле ходит рожь.

В знойном поле сиротливо
День ты кланяешься, мать.
Нужно всю по горстке ниву
По былинке перебрать.

Бабья песня. Бабье дело.
Тяжелеет серп в руке.
И ребенка плач несмелый
Еле слышен вдалеке.

Ты присела, молодая,
Под горячею копной.
Ты забылась, напевая
Эту песню надо мной.

В поле глухо, сонно, жарко.
Рожь стоит,— не перестой.
...Что ж ты плачешь? Песни ль жалко
Или горькой жизни той?

Или выросшего сына,
Что нельзя к груди прижать?..
На столе поет машина,
И молчит старуха мать.

1936

РАЗМОЛВКА

На кругу, в старинном парке —
Каблуков веселый бой.
И гудит, как улей жаркий,
Ранний полдень над землей.

Ранний полдень, летний праздник,
В синем небе — самолет.
Девки, ленты подбирая,
Переходят речку вброд...

Я скитаюсь сиротливо.
Я один. Куда идти?..
Без охоты кружку пива
Выпиваю по пути.

Все знакомые навстречу.
Не видать тебя одной.
Что ж ты думаешь такое?
Что ж ты делаешь со мной?..

Праздник в сборе. В самом деле,
Полон парк людьми, как дом.
Все дороги опустели
На пятнадцать верст кругом.

В отдаленье пыль клубится,
Слышен смех, пугливый крик.
Детвору везет на праздник
Запоздалый грузовик.

Ты не едешь, не прощаешь,
Чтоб самой жалеть потом.
Книжку скучную читаешь
В школьном садике пустом.

Вижу я твою головку
В беглых тенях от ветвей,
И холстинковое платье,
И загар твой до локтей.

И лежишь ты там, девчонка,
С детской хмуростью в бровях.
И в траве твоя гребенка,—
Та, что я искал впотьмах.

Не хотите, как хотите,
Оставайтесь там в саду.
Убегает в рожь дорога.
Я по ней один пойду.

Я пойду зеленой кромкой
Вдоль дороги. Рожь по грудь.
Ничего. Перехвораю.
Позабуду как-нибудь.

Широко в полях и пусто.
Вот по ржи волна прошла...
Так мне славно, так мне грустно,
И до слез мне жизнь мила.

1936

НЕВЕСТЕ

Мы с тобой играли вместе,
Пыль топтали у завалин.
И тебя моей невестой
Все, бывало, называли.

Мы росли с тобой, а кто-то
Рос совсем в другом краю
И в полгода заработал
Сразу всю любовь твою.

Он летает, он далече,
Я сижу с тобою здесь.
И о нем, о скорой встрече
Говоришь ты вечер весь.

И, твои лаская руки,
Вижу я со стороны
Столько нежности подруги,
Столько гордости жены.

Вся ты им живешь и дышишь,
Вся верна, чиста, как мать.
Ничего тут не попишешь,
Да и нечего писать.

Я за встречу благодарен.
У меня обиды нет.
Видно, он хороший парень,
Передай ему привет.

Пусть он смелый,
Пусть известный,
Пусть еще побьет рекорд,
Но и пусть мою невесту
Хорошенько любит,
Черт!..

1936

* * *

Ты робко его приподымешь:
Живи, начинай, ворошись.
Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь.

И, может быть, вот погоди-ка,
Услышишь когда-нибудь, мать,
Как с гордостью будет великой
То имя народ называть.

Но ты не взгрустнешь ли порою,
Увидев, что первенец твой
Любим не одною тобою
И нужен тебе не одной?

И жить ему где-то в столице,
Свой подвиг высокий творить.
Нет, будешь ты знать и гордиться
И будешь тогда говорить:

— А я его, мальчика, мыла,
А я иной раз не спала,
А я его грудью кормила,
И я ему имя дала.

1936

* * *

Кружились белые березки,
Платки, гармонь и огоньки.
И пели девочки-подростки
На берегу своей реки.

И только я здесь был не дома,
Я песню узнавал едва.
Звучали как-то по-иному
Совсем знакомые слова.

Гармонь играла с перебором,
Ходил по кругу хоровод,
А по реке в огнях, как город,
Бежал красавец пароход.

Веселый и разнообразный,
По всей реке, по всей стране
Один большой справлялся праздник,
И петь о нем хотелось мне.

Петь, что от края и до края,
Во все концы, во все края,
Ты вся моя и вся родная,
Большая родина моя.

1936

ЛЕДОХОД

Лед идет, большой, громоздкий,
Ночью движется и днем.
Все заметнее полоска
Между берегом и льдом.

Утром ранним, утром дымным
Разглядел я вдалеке,
Как куски дороги зимней
Уплывали по реке.

Поперек реки широкой
Был проложен путь прямой.
Той дорогой, той дорогой
Я ходил к тебе зимой...

Выйду, выйду напоследки,
Ой, как воды высоки,
Лед идет цепочкой редкой
Серединою реки.

Высоки и вольны воды.
Вот пройдет еще два дня —
С первым, с первым пароходом
Ты уедешь от меня.

1936

ПУТНИК

В долинах уснувшие села
Осыпаны липовым цветом.
Иду по дороге веселой,
Шагаю по белому свету.

Шагаю по белому свету,
О жизни пою человечьей,
Встречаемый всюду приветом
На всех языках и наречьях.

На всех языках и наречьях,
В родимой стране, без изъятья,
Понятны любовь и сердечность,
Как доброе рукопожатье.

Везде я и гость и хозяин,
Любые откроются двери,
И где я умру, я не знаю,
Но места искать не намерен.

Под кустиком первым, под камнем
Копайте, друзья, мне могилу.
Где лягу, там будет легка мне
Земля моей родины милой.

1936

СТАНЦИЯ ПОЧИНОК

За недолгий жизни срок,
Человек бывалый,
По стране своей дорог
Сделал я не мало.

Под ее шатром большим,
Под широким небом
Ни один мне край чужим
И немилым не был.

Но случилося весной
Мне проехать мимо
Маленькой моей, глухой
Станции родимой.

И успел услышать я
В тишине минутной
Ровный посвист соловья
За оградкой смутной.

Он пропел мне свой привет
Ради встречи редкой,
Будто здесь шестнадцать лет
Ждал меня на ветке.

Счастлив я.
Отрадно мне
С мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
Есть мой край родимый.

И еще доволен я,—
Пусть смешна причина,—
Что на свете есть моя
Станция Починок.

И глубоко сознаю,
Радуюсь открыто,
Что ничье в родном краю
Имя не забыто.

И хочу трудиться так,
Жизнью жить такою,
Чтоб далекий мой земляк
Мог гордиться мною.

И встречала бы меня,
Как родного сына,
Отдаленная моя
Станция Починок.

1936

* * *

Не стареет твоя красота,
Разгорается только сильней.
Пролетают неслышно над ней,
Словно легкие птицы, лета.

Не стареет твоя красота.
А росла ты на жесткой земле,
У людей, не в родимой семье,
На хлебах, на тычках, сирота.

Не стареет твоя красота,
И глаза не померкли от слез.
И копна темно-русых волос
У тебя тяжела и густа.

Все ты горькие муки прошла,
Все ты вынесла беды свои.
И живешь и поешь, весела
От большой, от хорошей любви.

На своих ты посмотришь ребят,
Радость матери нежной проста:
Все в тебя, все красавцы стоят,
Как один, как орехи с куста.

Честь великая — рядом с тобой
В поле девушке стать молодой.
Всюду славят тебя неспроста,—
Не стареет твоя красота.

Ты идешь по земле молодой —
Зеленеет трава за тобой.
По полям, по дорогам идешь —
Расступается, клапяясь, рожь.

Молодая береза в лесу
Поднялась и ровна и бела.
На твою она глядя красу,
Горделиво и вольно росла.

Не стареет твоя красота.
Слышно ль, женщины в поле поют,—
Голос памятный все узнают —
Без него будто песня не та.

Окна все пооткроют дома,
Стихнет листьев шумливая дрожь.
Ты поешь! Потому так поешь,
Что ты — песня сама.

1937

МАТЕРИ

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

1937

ШОФЕР

Молодой, веселый, важный
За рулем шофер сидит,
И, кого ни встретит, каждый
Обернется, поглядит.

Едет парень, припорошен
Пылью многих деревень.
Путь далекий, день хороший.
По садам цветет сирень.

В русской вышитой рубашке
Проезжает он селом.
У него сирень в кармашке,
А еще и на фуражке,
А еще и за стеклом.

И девчонка у колодца
Скромный делает кивок.
Журавель скрипит и гнется,
Вода льется на песок.

Парень плавно, осторожно
Развернулся у плетня.
— Разрешите, если можно,
Напоить у вас коня.

Та краснеет и смеется,
Наклонилась над ведром:
— Почему ж? Вода найдется,
С вас и денег не возьмем.
Где-то виделись, сдается?..—
А вода опять же льется,
Рассыпаясь серебром.

Весь — картина,
Молодчина
От рубашки до сапог.
Он, уже садясь в кабину,
Вдруг берет под козырек.

На околице воротца
Открывает сивый дед,
А девчонка у колодца
Остается,
Смотрит вслед:
Обернется или нет?..

1937

СОПЕРНИКИ

Он рядом сидит,
    он беседует с нею,
Свисает гармонь
    на широком ремне.
А я на гармони
    играть не умею.
Завидно, обидно,
    невесело мне.

Он с нею танцует —
    особенно как-то:
Рука на весу
    и глаза в полусне.
А я в этом деле,
    действительно, трактор,—
Тут даже и пробовать
    нечего мне.

Куда мне девать
свои руки и ноги,
Кому рассказать
про обиду свою?
Пройдусь, постою,
закурю, одинокий,
Да снова пройдусь,
Да опять постою.

Добро бы я был
ни на что не умелый.
Добро бы какой
незадачливый я.
Но слава моя
до Москвы долетела.
И всюду работа
известна моя.

Пускай на кругу
ничего я не стою.
А он на кругу —
никому не ровня.
Но дай-ка мы выедем
в поле с тобою,—
Ты скоро бы пить
запросил у меня.

Ты руку ей жмешь.
Она смотрит куда-то.
Она меня ищет
глазами кругом.
И вот она здесь.
И глядит виновато,
И ласково так,
и лукаво притом.

Ты снова играешь
хорошие вальсы,
Все хвалят, и я тебя
тоже хвалю.
Смотрю, как работают
хитрые пальцы,
И даже тебя
я ценю и люблю.

За то, что кругом
все хорошие люди,
За то, что и я
не такой уж простак.
За то, что всерьез
не тебя она любит,
А любит меня.
А тебя только так...

1937

* * *

Погляжу, какой ты милый.
Замечательный какой.
Нет, недаром полюбила,
Потеряла я покой.

Только ты не улыбайся,
Не смотри так с высоты,
Милый мой, не зазнавайся:
Не один на свете ты.

Разреши тебе заметить,
Мой мальчишка дорогой,
Был бы ты один на свете —
И вопрос тогда другой.

За глаза и губы эти
Все простилось бы тебе.
Был бы ты один на свете —
Равных не было б тебе.

Ну, а так-то много равных,
Много, милый, есть таких.
Хорошо еще, мой славный,
Что и ты один из них.

Погляжу, какой ты милый,
Замечательный какой.
Нет, недаром полюбила,
Потеряла я покой...

1937

В ПОСЕЛКЕ

Косые тени от столбов
Ложатся край дороги.
Повеет запахом хлебов —
И вечер на пороге.

И близок, будто на воде,
В полях негромкий говор.
И радио, не видно где,
Поет в тиши садовой.

А под горой течет река,
Чуть шевеля осокой,
Издалека-издалека
В другой конец далекий.

По окнам вспыхивает свет.
Час мирный. Славный вечер.
Но многих нынче дома нет,
Они живут далече.

Кто вышел в море с кораблем,
Кто реет в небе птицей,
Кто инженер, кто агроном,
Кто воин на границе.

По всем путям своей страны,
Вдоль городов и пашен,
Идут крестьянские сыны,
Идут ребята наши.

А в их родном поселке — тишь
И ровный свет из окон.
И ты одна в саду сидишь,
Задумалась глубоко.

Быть может, не привез письма
Грузовичок почтовый.
А может, ты уже сама
В далекий путь готова.

И смотришь ты на дом, на свет,
На тени у колодца,—
На все, что, может, много лет
Видать во сне придется...

1937

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

У дороги дуб зеленый
Зашумел листвой каляной.
Над землею истомленной
Дождь собрался долгожданный.

Из-за моря поспешая,
Грозным движима подпором,
Туча темная, большая
Поднималась точно в гору.

Добрый гром далеко где-то
Прокатился краем неба.
Потянуло полным летом,
Свежим сеном, новым хлебом.

Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.

Стало тише и тревожней
На земле похолоделой...
Грузовик рванул порожний
По дороге опустелой.

1937

КАК ДАНИЛА ПОМИРАЛ

Жил на свете дед Данила
Сто годов да пять.
Видит, сто шестой ударил,—
Время помирать.

Вволю хлеба, вволю сала,
Сыт, обут, одет.
Если б совесть позволяла,
Жил бы двести лет.

Но невесело Даниле,
Жизнь сошла на край:
Не дают работать деду,
Говорят: — Гуляй.

А гулять беспеременно —
Разве это жизнь?
Говорили б откровенно:
Помирать ложись.

Потихоньку дед Данила
Натаскал досок.
Достает пилу, рубанок,
Гвозди, молоток.

Тешет, пилит — любо-мило,
Доски те, что звон!
Все, что делал дед Данила,—
Делал крепко он.

Сколотил он гроб надежный,
Щитный, что ладья.
Отправляется Данила
В дальние края.

И в своем гробу сосновом
Навзничь дед лежит.
В пиджаке, рубахе новой,
Саваном прикрыт.

Что в селе народу было —
Все пришли сполна.
— Вот и помер дед Данила.
— Вот тебе и на...

Рассуждают: — Потрудился
На своем веку.—
И весьма приятно слышать
Это старику.

— Ох и ветох был, однако,—
Кто-то говорит.
«Ох, и брешешь ты, собака»,—
Думает старик.

— Сыновей зато оставил —
Хлопцам равных нет.
«Вот что правда, то и правда»,—
Чуть не молвил дед.

Постоял народ пристойно
И решает так:
— Выпить надо. Был покойник
Выпить не дурак.

И такое заключенье
Дед услышать рад:
Не в упрек, не в осужденье
Люди говорят.

Говорят: — Прощай, Данила,
Не посетуй, брат,
Дело ждет, по бревнам наши
Топоры торчат.

Говорят: — У нас ребята
Плотники — орлы.
Ты их сам учил когда-то
Вырубать углы.

Как зачешут топорами
Вперебой и в лад,
Басовито, громовито
Бревна загудят.

Эх, Данила, эх, Данила,
Был ты молодым!
С молодым бы впору было
Потягаться им.

Не обижен был ты силой,
Мы признать должны...
— Ах вы,— крикнул дед Данила,
Сукины сыны!

Не желаю ваш постылый
Слушать разговор.
На леса! — кричит Данила.—
Где он, мой топор?!

1937

ПРО ДАНИЛУ

Дело в праздник было,
Подгулял Данила.

Праздник — день свободный,
В общем, любо-мило,
Чинно, благородно
Шел домой Данила.

Хоть в нетрезвом виде
Совершал он путь,
Никого обидеть
Не хотел отнюдь.

А наоборот —
Грусть его берет,
Что никто при встрече
Ему не перечит.

Выпил — спросу нет.
На здоровье, дед!

Интересней было б,
Кабы кто сказал:
Вот, мол, пьян Данила,
Вот, мол, загулял.

Он такому делу
Будет очень рад.
Он сейчас же целый
Сделает доклад.

— Верно, верно,— скажет
И вздохнет лукаво,—
А и выпить даже
Не имею права.

Не имею права,
Рассуждая здраво.
Потому-поскольку
За сорок годов
Вырастил я только
Пятерых сынов.

И всего имею
В книжечке своей
Одну тыщу двести
Восемь трудодней.

— Выпил, ну и что же?
Отдыхай на славу.
— Нет, постой, а может,
Не имею права?..

Но никто — ни слова.
Дед работал век.
Выпил, что ж такого? —
Старый человек.

«То-то и постыло»,—
Думает Данила.
— Чтоб вам пусто было,—
Говорит Данила.

Дед Данила плотник,
Удалой работник,
Запевает песню:
«В островах охотник...

В островах охотник
Целый день гуляет,
Он свою охоту
Горько проклинает...»

Дед поет, но нету
Песни петь запрету.

И тогда с досады
Вдруг решает дед:
Дай-ка лучше сяду,
В ногах правды нет!

Прикажу-ка сыну:
Подавай машину,
Гони грузовик —
Не пойдет старик.

Не пойдет, и только,
Отвались язык.
Потому-поскольку —
Мировой старик.

— Что ж ты сел, Данила,
Стало худо, что ль?
Не стесняйся, милый,
Проведем, позволь.

Сам пойдет Данила,
Сам имеет ноги.
Никакая сила
Не свернет с дороги.

У двора Данила.
Стоп. Конец пути.
Но не тут-то было
На крыльцо взойти.

И тогда из хаты
Сыновья бегут.
Пьяного отца-то
Под руки ведут.

Спать кладут, похоже,
А ему не спится.
И никак не может
Дед угомониться.

Грудь свою сжимает,
Как гармонь, руками
И перебирает
По стене ногами.

А жена смеется,
За бока берется:

— Ах ты, леший старый,
Ах ты, сивый дед,
Подорвал ты даром
Свой авторитет...

Дело в праздник было,
Подгулял Данила.

1937

НА СВАДЬБЕ

Три года парень к ней ходил,
Три года был влюблен,
Из-за нее гармонь купил,
Стал гармонистом он.

Он гармонистом славным был,
И то всего чудней,
Что он три года к ней ходил,
Женился ж я на ней.

Как долг велит, с округи всей
К торжественному дню
Созвал я всех своих друзей
И всю свою родню.

Все пьют за нас за молодых,
Гулянью нет конца.
Две легковых, три грузовых
Машины у крыльца.

Но вот прервался шум и звон,
Мелькнула тень в окне,
Открылась дверь — и входит он.
С гармонью на ремне.

Гармонь поставил у окна,
За стол с гостями сел,
И налил я ему вина,
И разом налил всем.

И, подняв чарку, он сказал,
Совсем смутив иных:
— Я поднимаю свой бокал
За наших молодых...

И снова все пошло смелей,
Но я за ним смотрю.
Он говорит: — Еще налей.
— Не стоит,— говорю,—

Спешить не надо. Будешь пьян
И весь испортишь бал.
А лучше взял бы свой баян
Да что-нибудь сыграл.

Он заиграл. И ноги вдруг
Заныли у гостей.
И все, чтоб шире сделать круг,
Посдвинулись тесней.

Забыто все, что есть в дому,
Что было на столе,
И обернулись все к нему,
Невеста в том числе.

Кидает пальцы сверху вниз
С небрежностью лихой.
Смотрите, дескать, гармонист
Я все же не плохой...

Пустует круг. Стоит народ.
Поют, зовут меха.
Стоит народ. Чего-то ждет,
Глядит на жениха.

Стоят, глядят мои друзья,
Невеста, теща, мать.
И вижу я, что мне нельзя
Не выйти, не сплясать.

В чем дело, думаю. Иду,—
Не гордый человек.
Поправил пояс на ходу
И дробью взял разбег.

И завязался добрый спор,
Сразились наравне:
Он гармонист, а я танцор,—
И свадьба в стороне.

— Давай бодрей, бодрей,— кричу,
Строчу ногами в такт.
А сам как будто я шучу,
Как будто только так.

А сам, хотя навеселе,
Веду свой строгий счет,
Звенит посуда на столе,
Народ в ладони бьет.

Кругом народ. Кругом родня —
Стоят, не сводят глаз.
Кто за него, кто за меня,
А в общем — все за нас.

И все один — и те, и те —
Выносят приговор,
Что гармонист на высоте,
На уровне танцор.

И, утирая честный пот,
Я на кругу стою,
И он мне руку подает,
А я ему свою.

И нет претензий никаких
У нас ни у кого.
Невеста потчует двоих,
А любит одного.

1938

СЕЛЬСКОЕ УТРО

Звон из кузницы несется,
Звон по улице идет.
Отдается у колодца,
У заборов, у ворот.

Дружный, утренний, здоровый
Звон по улице идет.
Звонко стукнула подкова,
Под подковой хрустнул лед;
Подо льдом ручей забулькал,
Зазвенело все кругом;
Тонко дзинькнула сосулька,
Разбиваясь под окном;
Молоко звонит в посуду,
Бьет рогами в стену скот,—
Звон несется отовсюду —
Наковальня тон дает.

1938

ЕЩЕ ПРО ДАНИЛУ

Солнце дымное встает,—
Будет день горячий.
Дед Данила свой обход
По усадьбе начал.

Пыль дымит, дрожит земля,
Люди в поле едут.
Внук-шофер из-за руля
Кланяется деду.

День по улице идет,
Окна раскрывает,
Квохчут куры у ворот,
Кролики шныряют.

Все проснулось, все пошло
И заговорило.
А на сердце тяжело.
Темен дед Данила.

Как всегда, при нем кисет,
Спички — все чин чином,
И невесел белый свет
По иным причинам...

Он идет. Наискосок
Тень шагает в ногу,
Протянувшись поперек
Через всю дорогу.

Вьются весело дымки:
Всюду топят печки.
Мажет дегтем сапоги
Сторож на крылечке.

— Здравствуй, сторож! Как дела? —
Говорит Данила.—
Хорошо ли ночь прошла?
Все ли тихо было?

По ухватке сторож лих,
Кроет честь по чести:
— Не случилось никаких
За ночь происшествий.

Никакой такой беды —
Ни большой, ни малой.
Только с неба три звезды
На землю упало.

Да под свет невдалеке
Пес от скуки лаял,
Да плеснулась на реке
Щука — вот такая...

Дед качает головой,
Грустен, строг и важен:
— Ничего ты, страж ночной,
И не знаешь даже.
А прошел бы нынче, брат,
Близ моей ты хаты,
Услыхал бы, как стучат
Ведра и ухваты.
Мог бы ухо приложить
К двери осторожно
И сказал бы сам, что жить
С чертом невозможно.

«Ивушка»

Ни покоя нет, ни сна —
Все грызет и точит...
— Это, стало быть, жена?..
— Называй как хочешь...

И, едва махнув рукой,
Дед проходит мимо,
Оставляя за собой
Паутинку дыма...

Чуя добрую жару,
Свиньи ищут места.
Солнце, словно по шнуру,
Поднялось отвесно.
Воздух, будто недвижим,
Золотой, медовый.
Пахнет сеном молодым
И смолой вишневой.
И среди дерев укрыт,
Выстроившись чинно,
Дружно воет и гудит
Городок пчелиный.
Луг некошеный душист,
Как глухое лядо.
Вот где благо, вот где жизнь —
Помирать не надо.
Между ульев дед прошел,
Будто проверяя,
С бороды звенящих пчел
Бережно сдувая.
Ходят дед и пчеловод,
Рассуждая тихо:
— Скоро липа зацветет...
— Тоже и гречиха...

И приятна и легка
Дельная беседа,
Но свое исподтишка
Беспокоит деда.

— Вот живу я,— говорит,—
Столько лет на свете.
Спору нету — сыт, прикрыт
И табак в кисете.

Кликну — встанет целый взвод
Сыновей и внуков.
Ото всех кругом — почет,
А от бабы — мука.
Чем бы ни было — корит,
Все ей не по нраву.
Будто завистью горит
На мою на славу.
Ноль ты, дескать, без меня,
Мол, гордишься даром...
Места нет, как от огня,
Как от божьей кары.

Пчеловод считает пчел,
Слушает, зевает:
— Э, Данила, нипочем,—
В жизни все бывает...

— Так-то так...— Встает старик,
Вроде легче стало.
Долог день, колхоз велик,
Путь еще не малый.

Над рекою, над водой,
Чуть пониже сада
Сруб выводит золотой
Плотничья бригада.

Сам Данила плотник был,
Сам всю жизнь работал,
Сколько строил и рубил —
Просто нету счета.
И дошлее по своей
Деревянной части,
Может, в области во всей
Он первейший мастер.
Каждый выруб, каждый паз,
И венец, и угол
Проверяет дед на глаз —
Хорошо ль пристружан.
Вся бригада старика
Разом окружила.
Тормошат его слегка:
— Похвали, Данила.

А Данила: — Что хвалить?
Надобно проверить:
Полон сруб воды налить,
Затворивши двери.
Как нигде не потечет,—
Разговор короткий:
Всем вам слава и почет
И по чарке водки.

Шутке этой — тыща лет,
Всем она известна,
Но и сам доволен дед,
И бригаде лестно.

Ус погладив, бригадир
Молвит горделиво:
— Как закончим — будет пир
С музыкой и пивом.
Только ты не подведи,
Чтоб уж верно было:
Со старухой приходи,
С Марковной, Данила.
— Благодарствую, друзья...—
И бормочет глухо:
— Без старухи, что ль, нельзя?
Для чего старуха?

— Как бы ни было — жена,
Сыновей рожала,
Внуков нянчила она,
Правнуков качала.
Как ни что — не близкий путь,
Жизнь прошли вы рядом.
Ну смотри же, не забудь,—
Просит вся бригада...

Двери настежь по пути
Кузница открыла.
Мимо кузницы пройти
Может ли Данила?
Хрипло воет горн в углу,
Клещи в пекло лезут.
А повсюду на полу —
Сколько тут железа!

Лемеха, обломки шин,
Обручи, рессоры,
Шестеренки от машин,
Тракторные шпоры.
Рельс погнутый с полотна,
Кузов от пролетки,
Из церковного окна
Ржавые решетки...
И щекочет деду нос
Запах самовитый —
Краски, мази от колес,
Дыма и копыта.
И готов он без конца,
В строгом восхищенье,
Все глядеть на кузнеца,
На его уменье.
Вот он что-то греет, бьет,
Плющит и корежит.
«Ножик»,— скажет наперед.
И выходит ножик.

Сам кузнец форсист и горд,—
Что ж, нельзя иначе,
И прикуривает, черт,
От клещей горячих.

Подавляя вздох в груди,
Дед встает с порога.
А кузнец: — Ты погоди,
Посиди немного.
На минуту на одну
Задержись, Данила,
Кочергу сейчас загну,
Марковна просила...

Дед оказии такой
Рад невероятно.
К дому с теплой кочергой
Шествует обратно.

Дело в том, что не был дед
Злобен по природе,
Да и близится обед,
Да и скучно вроде.

Да и все-таки — жена,
Сыновей рожала,
Внуков нянчила она,
Правнуков качала.

Да и правду — как ни прячь —
Спрятать не во власти:
Сам отчасти был горяч.
Виноват отчасти.

Нерешительны шаги,
Сердце трусу служит.
Но прийти без кочерги
Было б даже хуже.
Потому, как ни суди,
Все-таки услуга.
Дрогнет что-нибудь в груди
У тебя, супруга!

Только вдруг издалека,
И совсем некстати,
Окликает старика
Власов, председатель.
Сели рядом на бревне:
— Вот что, дед Данила,
Заявление ко мне
Нынче поступило...

Снял со лба фуражку дед,
Вытер пот с изнанки.
— От кого же? Аи секрет?
— От одной гражданки.
Ты старик передовой,
Для чего же ради
Со старухою женой
Миром не поладить?
Скажем попросту — подчас
Ей, жене, обидно:
Всюду ты да ты у нас,
А ее не видно.
Сам-то ты идешь вперед —
Молодому впору,—
А старуха не растет —
Оттого и ссоры...

— Нет, позволь, уже позволь,—
Дед перебивает,—
Не бывает в жизни, что ль?
В жизни все бывает.
Про себя ж сказать могу —
Разве я сердитый?
Вот несу ей кочергу —
Значит, все забыто.
И жена от слов своих
Отреклась, я знаю.
Только нация у них
Женская такая.
Днями дружно все у нас,
Неполадки часом...
— Ну смотри ж, в последний раз,—
Заключает Власов.

И встает.— Пока прощай.
День удался знатный.
Клевера-то, брат, как чай,—
Сухи, ароматны.
Только б тучки,— говорит,—
Не собрались за ночь.
Как погода — постоит,
Данила Иваныч?
И, задумавшись слегка,
Молвит дед солидно:
— Постоять должна пока,
Постоит, как видно...

Подступает к дому дед
Не особо смело.
У крыльца велосипед.
Гости. Лучше дело.
У старухи прибран дом,
Пол сосновый вымыт.
И Сережка за столом,
Внук ее любимый.
От порога дед спешит
Сразу все заметить:
Вот яичница шипит
С треском на загнете.

У старухи добрый вид,
Будто все забыла.
— Где ж так долго,— говорит,—
Пропадал, Данила?

— Обошел я весь колхоз,
В кузнице промешкал,
Да зато тебе принес,
Видишь, кочережку.

— Так и знала — принесешь...—
Голос полон ласки.
Кочергу вручает все ж
Дед не без опаски.
Но, усевшись за столом,
Видит — все в порядке.
— Ну, так выпьем, агроном,
По одной лампадке?

— Всем ты, дед, весьма хорош
И всегда мне дорог.
Вот одно, что водку пьешь...
— Пью, но к разговору.
А не пить,— смеется дед,—
До чего ты ловкий!
Ведь в законе даже нет
Этой установки.

— Пей-ка! — сдался агроном.
Выпили помалу.
Закусили огурцом,
Закусили салом.
Веселее от вина
Повелися речи.
Только смотрит дед — жена
Все стоит у печи.
Будто в хате зябко ей.
Руки сощепила.
Так всю жизнь она гостей
За столом кормила.
Только б кушали они,
Только б сыты вышли.
А сама всегда в тени,
В стороне, как лишний.

Смотрит, думает свое,
Как жила когда-то...
Дед со внуком для нее
Равные ребята.
И тепло, тепло в груди,
И чему-то рада...
— Ну-ка, Марковна, ходи
Да садись-ка рядом.

Вздрогнув, кланяется им:
— Пейте, пейте, что вы...
Уж куда с питьем моим,—
Кланяется снова.
— Подходи, не стой в углу,
Не хозяйка вроде.
— Пейте, пейте...— И к столу
Медленно подходит.
Утирает скромно рот.
— Пейте, пейте. Что вы...—
Рюмку бережно берет:
— Будьте все здоровы.

Мирно старые сидят
Строгой, славной парой.
Внук с улыбкой аппарат
Тащит из футляра.
Дед и бабка за столом
Замерли совместно.
И сидят они рядком,
Как жених с невестой.
А над ними на стене,
Рядом с образами,
Ворошилов на коне
В самодельной раме.
Как получше норовит
Снять их внук форсистый.
И, серьезный сделав вид,
Щелкнул кнопкой быстро.

— Эх, живешь, не знаешь, дед,
О своей ты славе!
Про тебя один поэт
Целый стих составил.

Дед Данила весел, сыт,
Курит бестревожно.
— Все возможно,— говорит,—
Это все возможно...

1938

ИВУШКА

Умер Ивушка-печник,
Крепкий был еще старик...

Вечно трубочкой дымил он,
Говорун и весельчак.
Пить и есть не так любил он,
Как любил курить табак.

И махоркою добротной
Угощал меня охотно.
— На-ко,— просит,— удружи,
Закури, не откажи.
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.

И при каждом угощенье
Мог любому подарить
Столько ласки и почтенья,
Что нельзя не закурить.

Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.

Правда ль, нет — слова такие
Перед смертью говорил:
Мол, прощайте, дорогие,
Дескать, хватит, покурил...

Будто тем одним и славен,
Будто, прожив столько лет,
По себе печник оставил
Только трубку да кисет.

Нет, недаром прожил Ива,
И не все курил табак,
Только скромно, не хвастливо
Жил печник и помер так.

Золотые были руки,
Мастер честью дорожил.
Сколько есть печей в округе —
Это Ивушка сложил.

И с ухваткою привычной,
Затопив на пробу печь,
Он к хозяевам обычно
Обращал такую речь:

— Ну, топите, хлеб неките,
Дружно, весело живите.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

На полях трудитесь честно,
За столом садитесь тесно.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

Жизнью полной, доброй славой
Славьтесь вы на всю державу.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.

И на каждой печке новой,
Ровно выложив чело,
Выводил старик бедовый
Год, и месяц, и число.

И никто не ждал, не думал...
Взял старик да вдруг и умер,
Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.

Умер скромно, торопливо.
Так и кажется теперь,
Что, как был, остался Ива,
Только вышел он за дверь.

Люди Иву поминают,
Люди часто повторяют:
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.

А морозными утрами
Над веселыми дворами
Дым за дымом тянет ввысь.
Снег блестит все злей и ярче,
Печки топятся пожарче,
И идет, как надо, жизнь.

1938

* * *

Мы на свете мало жили,
Показалось нам тогда,
Что на свете мы чужие,
Расстаемся навсегда.

Ты вернулась за вещами,
Ты спешила уходить
И решила на прощанье
Только печку затопить.

Занялась огнем береста,
И защелкали дрова.
И сказала ты мне просто
Настоящие слова.

Знаем мы теперь с тобою,
Как любовь свою беречь.
Чуть увидим что такое —
Так сейчас же топим печь.

1938

* * *

Звезды, звезды, как мне быть,
Звезды, что мне делать,
Чтобы так ее любить,
Как она велела?

Вот прошло уже три дня,
Как она сказала:
— Полюбите так меня,
Чтоб вам трудно стало.

Чтобы не было для вас
Все на свете просто,
Чтоб хотелось вам подчас
Прыгнуть в воду с моста.

Чтоб ни дыма, ни огня
Вам не страшно было.
Полюбите так меня,
Чтоб я вас любила.

1938

ЗА ТЫСЯЧУ ВЕРСТ...

За тысячу верст
От родимого дома
Вдруг ветер повеет
Знакомо-знакомо...

За тысячу верст
От родного порога
Проселочной, белой
Запахнет дорогой;

Ольховой, лозовой
Листвой запыленной,
Запаханным паром,
Отавой зеленой;

Картофельным цветом,
Желтеющим льном
И теплым зерном
На току земляном;

И сеном, и старою
Крышей сарая...
За тысячу верст
От отцовского края...

За тысячу верст
В стороне приднепровской —
Нежаркое солнце
Поры августовской.

Плывут паутины
Над сонным жнивьем,
Краснеют рябины
Под каждым окном.

Хрипят по утрам
Петушки молодые,
Дожди налегке
Выпадают грибные.

Поют трактористы,
На зябь выезжая,
Готовятся свадьбы
Ко Дню урожая.

Страда отошла,
И земля поостыла.
И веники вяжет
Мой старый Данила.

Он прутик до прутика
Ровно кладет:
Полдня провозиться,
А париться — год!

Привет мой сыновний
Далекому краю.
Поклон мой, Данила,
Тебе посылаю.

И всем старикам
Богатырской породы
Поклон-пожеланье
На долгие годы.

Живите, красуйтесь
И будьте здоровы —
От веников новых
До веников новых.

Поклон чудакам,
Балагурам непраздным,
Любителям песен
Старинных и разных.

Любителям вышить
С охоты — не с горя,
Рассказчикам всяческих
Славных историй...

Поклон землякам —
Мастерам, мастерицам,
Чья слава большая
Дошла до столицы.

Поклон одногодкам,
С кем бегал когда-то:
Девчонкам, ребятам —
Замужним, женатым.

Поклон мой лесам,
И долинам, и водам,
Местам незабвенным,
Откуда я родом,

Где жизнь начиналась,
Береза цвела,
Где самая первая
Юность прошла...

Родная страна!
Признаю, понимаю:
Есть много других,
Кроме этого края.

И он для меня
На равнине твоей
Не хуже, не лучше,
А только милей.

И шумы лесные,
И говоры птичьи,
И бедной природы
Простое обличье;

И стежки, где в поле
Босой я ходил
С пастушеским ветром
Один на один;

И песни, и сказки,
Что слышал от деда,
И все, что я видел,
Что рано изведал,—

Я в памяти все
Берегу, не теряя,
За тысячу верст
От родимого края.

За тысячу верст
От любимого края
Я все мои думы
Ему поверяю.

Я шлю ему свой
Благодарный привет,
Загорьевский парень,
Советский поэт.

1938

ДРУЗЬЯМ

Друзья, с кем я коров стерег,
Костры палил, картошку пек,
С кем я сорочьи гнезда рыл,
Тайком ольховый лист курил,—
Друзья, когда кому-нибудь
Еще случится заглянуть
В Загорье наше,— это я
Все наши обошел края,
По старым стежкам я бродил,
За всех вас гостем я здесь был.

Пойду в поля — хлеба стеной,
Во ржи не виден верховой.
Гречихи, льны, овсы — по грудь,
Трава — косы не протянуть.

Земля в цвету — и все по ней:
В домах — светлей, народ — добрей.
А нынче, в самый сенокос,
На гармониста всюду спрос.

Как вечер — танцы при луне,
Как вечер, братцы, грустно мне —
В своих местах, в родных кустах
Без вас, друзей, гулять в гостях.

Я даже думал в эти дни:
А вдруг как съедутся они
Со всех концов, краев, столиц,
С военных кораблей, с границ.
И сядем мы за стол в кружок
И за вином пошлем в ларек.
И выпьем мы, как долг велит,
Без лишних споров и обид,
Друг перед дружкою гордясь,
На ордена свои косясь.

Но вы, друзья, кто там, кто там,
У дела, по своим постам.
Вы в одиночку, как и я,
В родные ездите края.
Наш год, наш возраст самый тот,
Что службу главную несет.
И быть на месте в должный час
Покамест некому за нас...

Друзья, в отцовской стороне,
Не знаю что: не спится мне.
Так зори летние близки,
Так вкрадчиво поют сверчки,
Так пахнут липы от росы.
И в сене тикают часы,
А щели залиты луной,
А за бревенчатой стеной,

Во сне, как много лет назад,
Считает листья старый сад.
Глухой, на ощупь, робкий счет —
Все тот, а все-таки не тот...
И всяк из вас, кто вслед за мной
Свой угол посетит родной,
Такую ж, может быть, точь-в-точь
Здесь проведет однажды ночь.
Наверно, так же будет он
Взволнован за день, возбужден,
Лежать, курить, как я сейчас,
О детстве думая, о нас,
О давних днях, о старине,
О наших детях, о войне,
О множестве людских путей,
О славе родины своей.

1939

НА СТАРОМ ДВОРИЩЕ

Во ржи чудно и необычно —
С полуобрушенной трубой,
Как будто памятник кирпичный,
Стоит она сама собой.

Вокруг солома в беспорядке,
Костра сухая с потолка,
Плетень, поваленный на грядки,
И рытый след грузовика.

Пустынно. Рожь бушует глухо,
Шумит — и никого кругом.
И только с граблями старуха
На бывшем дворище своем.

Бегут дымки ленивой пыли.
С утра старуха на ногах,
Все ищет,— может, что забыли
На старом месте второпях.

И хоть вокруг ни сошки нету,
От печки той одной — нет-нет,
Повеет деревом согретым,
Прокопченным за много лет.

Повеет вдруг жильем обжитым:
Сенями — сени, клетью — клеть.
И что-то вправду здесь забыто,
И жаль, хоть нечего жалеть.

А солнце близится к обеду,
Глядит старуха, ждет людей —
В последний раз сюда приедут,—
Живи, живи да молодей!

Там, где отныне двор, где люди,
Где всем углам иная стать,
В других окошках солнце будет
Всходить, в других в полдни стоять.

Там, где и улица и речка,
Где ближе к дому белый свет,—
Дымить уже не будет печка,
Как эта здесь от ветхих лет.

Во ржи — чудно и необычно,
Кидая на подворье тень,
Как будто памятник кирпичный,
Стоит она. Последний день.

Кирка и лом покончат с нею,
И плуг проедет прицепной.
И только гуще и темнее
Здесь всходы выбегут весной.

1939

* * *

Рожь, рожь... Дорога полевая
Ведет неведомо куда.
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода.
Рожь, рожь — до свода голубого,
Чуть видишь где-нибудь вдали,
Ныряет шапка верхового,
Грузовичок плывет в пыли.

Рожь уходилась. Близки сроки,
Отяжелела и на край
Всем полем подалась к дороге,
Нависнула — хоть подпирай.
Знать, колос, туго начиненный,
Четырехгранный, золотой,
Устал держать пуды, вагоны,
Составы хлеба над землей.

1939

ДЕД ДАНИЛА В ЛЕС ИДЕТ

Неизменная примета,
Что самой зиме черед,—
В шубу, в валенки одетый,
Дед Данила в лес идет.

Ходит по лесу тропою,
Ищет понизу на глаз:
Что ни самое кривое,
То ему и в самый раз.

Подыскать дубок с коленцем,
Почуднее что-нибудь,
Ловко вырубить поленце,
Прихватить — и дальше в путь.

Дело будто бы простое,
Но недаром говорят:
Как пойдешь искать прямое —
То кривое все подряд,
А пойдешь искать кривое —
Все прямое аккурат.

Нарубил дубья Данила
Добрый на зиму запас,
Чтобы чем заняться было
В долгий вечер, в поздний час.

Не прошел большой науки,
Плотник — все же не столяр,
Но от скуки — на все руки,
Чтоб верстак не зря стоял.

Чуть нужда — к Даниле сразу
Конюх, сторож, кладовщик.
Крюк ли, обруч — нет отказу,
Санки, грабли — рад старик.

Ничего не жаль Даниле —
И запаслив и не скуп.
Только любит, чтоб спросили
У него про клен и дуб.

До того Даниле любо
Вновь подробно изложить,
Что нельзя, мол, жить без дуба,
А без клена можно жить;
Что не может клен для сруба
Так, как дуб, столбом служить.

Что береза — клену впору —
Тот же слой и тот же цвет.
Но не может быть и спору,
Что замены дубу нет.

Дуб — один. На то и слово:
Царь дерев. Про то и речь.
Правда, лист хорош кленовый —
Хлеб сажать хозяйке в печь.

И давно ли это было —
Год назад, не то вчера —
Так не так, а деду мило
Вспомнить эти вечера.

Ходит он неутомимый,
И желательно ему,
Чтоб и в нынешнюю зиму
Разговор вести любимый
За работою в дому.

Крепок дуб, могуча сила,
Но и дубу есть свой век.
Дубу, думает Данила,
А Данила — человек.

Ходит старый, гаснет трубка,
Остановка, что ни шаг.
Ходит, полы полушубка
Подоткнувши под кушак.

Лес притихнул. Редко-редко
Белка поверху стрельнет,
Да под ней качнется ветка,
Лист последний упадет.

И как будто в сон склонило.
День к концу. Пора назад.
Вышел из лесу Данила —
Мухи белые летят.

С рукава снежинку сдунул.
Что-то ноша тяжела.
«Вот зима пришла,— подумал,
Постоял.— За мной пришла».

Час придет — и вот он сляжет.
И помрет. Ну что ж! Устал.
И, наверно, кто-то скажет:
— Дед Данила дуба дал.

Шутка издавна известна.
Шутка — шуткой. А дубье
Нарубил — неси до места.
Дослужи, Данила, честно,
Дальше дело не твое.

1939

ПОЕЗДКА В ЗАГОРЬЕ

Сразу радугу вскинув,
Сбавив солнечный жар,
Дружный дождь за машиной
Три версты пробежал
И скатился на запад,
Лишь донес до лица
Грустный памятный запах
Молодого сенца.

И повеяло летом,
Давней, давней порой,
Детством, прожитым где-то,
Где-то здесь, за горой.

Я смотрю, вспоминаю
Близ родного угла,
Где тут что: где какая
В поле стежка была,
Где дорожка...
А ныне
Тут на каждой версте
И дороги иные,
И приметы не те.
Что земли перерыто,
Что лесов полегло,
Что границ позабыто,
Что воды утекло!..

Здравствуй, здравствуй, родная
Сторона!
Сколько раз
Пережил я заране
Этот день, этот час...

Не с нужды, как бывало,—
Мир нам не был чужим,—
Не с котомкой по шпалам
В отчий край мы спешим
Издалека.

А все же —
Вдруг меняется речь,
Голос твой, и не можешь
Папиросу зажечь.

Куры кинулись к тыну,
Где-то дверь отперлась.
Ребятишки машину
Оцепляют тотчас.

Двор. Над липой кудлатой
Гомон пчел и шмелей,
— Что ж, присядем, ребята,
Говорите, кто чей?..

Не имел на заметке
И не брал я в расчет,
Что мои однолетки —
Нынче взрослый народ.

И едва ль не впервые
Ощутил я в душе,
Что не мы молодые,
А другие уже.

Сколько белого цвета
С липы смыло дождем.
Лето, полное лето,
Не весна под окном.
Тень от хаты косая
Отмечает полдня.

Слышу, крикнули:
— Саня! —
Вздрогнул, нет,— не меня.

И друзей моих дети
Вряд ли знают о том,
Что под именем этим
Бегал я босиком.

Вот и дворик и лето,
Но все кажется мне,
Что Загорье не это,
А в другой стороне...

Я окликнул не сразу
Старика одного.
Вижу, будто бы Лазарь.
— Лазарь!
— Я за него...

Присмотрелся — и верно:
Сед, посыпан золой
Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой.
Грустен.— Что ж, мое дело,—
Годы гнут, как медведь.
Стар. А сколько успело
Стариков помереть...

Но подходят, встречают
На подворье меня,
Окружают сельчане,
Земляки и родня.

И знакомые лица,
И забытые тут.
— Ну-ка, что там в столице.
Как там наши живут?

Ни большого смущенья,
Ни пустой суеты,
Только вздох в заключенье:
— Вот приехал и ты...

Знают: пусть и покинул
Не на шутку ты нас,
А в родную краину,
Врешь, заедешь хоть раз...

Все Загорье готово
Час и два простоять,
Что ни речь, что ни слово —
То про наших опять.

За недолгие сроки
Здесь прошли-пролегли
Все большие дороги,
Что лежали вдали.

И велик да не страшен
Белый свет никому.
Всюду наши да наши,
Как в родимом дому.

Наши вверх по науке,
Наши в дело идут.
Наших жителей внуки
Только где не растут!

Подрастут ребятишки,
Срок пришел — разбрелись.
Будут знать понаслышке,
Где отцы родились.

И как возраст настанет
Вот такой же, как мой,
Их, наверно, потянет
Не в Загорье домой.

Да, просторно на свете
От крыльца до Москвы.
Время, время, как ветер,
Шапку рвет с головы...

— Что ж, мы, добрые люди,—
Ахнул Лазарь в конце,—
Что ж, мы так-таки будем
И сидеть на крыльце?

И к Петровне, соседке,
В хату просит народ.
И уже на загнетке
Сковородка поет.

Чайник звякает крышкой,
Настежь хата сама.
Две литровки под мышкой
Молча вносит Кузьма.

Наш Кузьма неприметный,
Тот, что из году в год,
Хлебороб многодетный,
Здесь на месте живет.

Вот он чашки расставил,
Налил прежде в одну,
Чуть подумал, добавил,
Поднял первую:
— Ну!
Пить — так пить без остатку,
Раз приходится пить...

И пошло по порядку,
Как должно оно быть.

Все тут присказки были
За столом хороши.
И за наших мы пили
Земляков от души.

За народ, за погоду,
За уборку хлебов,
И, как в старые годы,
Лазарь пел про любовь.

Пели женщины вместе,
И Петровна — одна.
И была ее песня —
Старина-старина.
И она ее пела,
Край платка теребя,
Словно чье-то хотела
Горе взять на себя.

Так вот было примерно.
И покинул я стол
С легкой грустью, что первый
Праздник встречи прошел;
Что, пожив у соседей,
Встретив старых друзей,
Я отсюда уеду
Через несколько дней.
На прощанье помашут —
Кто платком, кто рукой,
И поклоны всем нашим
Увезу я с собой.
Скоро ль, нет ли, не знаю,
Вновь увижу свой край.

Здравствуй, здравствуй, родная
Сторона.
И — прощай!..

1939

ЛЕНИН И ПЕЧНИК

В Горках знал его любой,
Старики на сходку звали,
Дети — попросту, гурьбой,
Чуть завидят, обступали.

Был он болен. Выходил
На прогулку ежедневно.
С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно.

За версту — как шел пешком —
Мог его узнать бы каждый.
Только случай с печником
Вышел вот какой однажды.

Видит издали печник,
Видит: кто-то незнакомый
По лугу по заливному
Без дороги — напрямик.

А печник и рад отчасти,—
По-хозяйски руку в бок,—
Ведь при царской прежней власти
Пофорсить он разве мог?

Грядка луку в огороде,
Сажень улицы в селе,—
Никаких иных угодий
Не имел он на земле...

— Эй ты, кто там ходит лугом!
Кто велел топтать покос?! —
Да с плеча на всю округу
И поехал и понес.

Разошелся.
А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
— Хорошо ругаться можешь,—
Только это и сказал.

Постоял еще немного,
Дескать, что ж, прости, отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.

Но печник — душа живая,—
Знай меня, не лыком шит! —
Припугнуть еще желая:
— Как фамилия? — кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами,
Лысый, ростом невелик.
— Ленин,— просто отвечает.
— Ленин! — Тут и сел старик.

День за днем проходит лето,
Осень с хлебом на порог,
И никак про случай этот
Позабыть печник не мог.

А по свежей по пороше
Вдруг к избушке печника
На коне в возке хорошем —
Два военных седока.

Заметалась беспокойно
У окошка вся семья.
Входят гости:
— Вы такой-то?
Свесил руки:
— Вот он я...

— Собирайтесь! —
Взял он шубу,
Не найдет, где рукава.
А жена ему:
— За грубость,
За свои идешь слова

Сразу в слезы непременно,
К мужней шубе — головой.
— Попрошу,— сказал военный.—
Ваш инструмент взять с собой.

Скрылась хата за пригорком.
Мчатся санки прямиком.
Поворот, усадьба Горки,
Сад, подворье, белый дом.

В доме пусто, нелюдимо,
Ни котенка не видать.
Тянет стужей, пахнет дымом,—
Ну овин — ни дать ни взять.

Только сел печник в гостиной,
Только на пол свой мешок —
Вдруг шаги и дом пустынный
Ожил весь, и на порог —

Сам, такой же, тот прохожий.
Печника тотчас узнал.
— Хорошо ругаться можешь,—
Поздоровавшись, сказал.

И вдобавок ни словечка,
Словно все, что было,— прочь.
— Вот совсем не греет печка.
И дымит. Нельзя ль помочь?

Крякнул мастер осторожно,
Краской густо залился.
— То есть как же так нельзя?
То есть вот как даже можно!..

Сразу шубу с плеч — рывком,
Достает инструмент.— Ну-ка...—
Печь голландскую кругом,
Точно доктор всю обстукал.

В чем причина, в чем беда,
Догадался — и за дело.
Закипела тут вода,
Глина свежая поспела.

Все нашлось — песок, кирпич,
И спорится труд, как надо.
Тут печник, а там Ильич
За стеною пишет рядом.

И привычная легка
Печнику работа.
Отличиться велика
У него охота.

Только будь, Ильич, здоров,
Сладим любо-мило,
Чтоб, каких ни сунуть дров,
Грела, не дымила.

Чтоб в тепле писать тебе
Все твои бумаги,
Чтобы ветер пел в трубе
От веселой тяги.

Тяга слабая сейчас —
Дело поправимо,
Дело это — плюнуть раз,
Друг ты наш любимый...

Так он думает, кладет
Кирпичи по струнке ровно.
Мастерит легко, любовно,
Словно песенку поет...

Печь исправлена. Под вечер
В ней защелкали дрова.
Тут и вышел Ленин к печи,
И сказал свои слова.

Он сказал,— тех слов дороже
Не слыхал еще печник:
— Хорошо работать можешь,
Очень хорошо, старик.

И у мастера от пыли
Зачесались вдруг глаза.
Ну а руки в глине были —
Значит, вытереть нельзя.

В горле где-то все запнулось,
Что хотел сказать в ответ,
А когда слеза смигнулась,
Посмотрел — его уж нет...

За столом сидели вместе,
Пили чай, велася речь
По порядку честь по чести,
Про дела, про ту же печь.

Успокоившись немного,
Разогревшись за столом,
Приступил старик с тревогой
К разговору об ином.

Мол, за добрым угощеньем
Умолчать я не могу,
Мол, прошу, Ильич, прощенья
За ошибку на лугу.
Сознаю свою ошибку...

Только Ленин перебил:
— Вон ты что,— сказал с улыбкой,—
Я про то давно забыл...

По морозцу мастер вышел,
Оглянулся не спеша:
Дым столбом стоит над крышей,—
То-то тяга хороша.

Счастлив, доверху доволен,
Как идет — не чует сам.
Старым садом, белым полем
На деревню зачесал...

Не спала жена, встречает:
— Где ты, как? — душа горит...
— Да у Ленина за чаем
Засиделся,— говорит...

1938—1940

НАСТУПЛЕНИЕ

Сто двадцать третьей
ордена Ленина дивизии
посвящается

Еще курились на рассвете
Землянок редкие дымки,
Когда полки Сто двадцать третьей
К опушке вынесли штыки.

В лесу, не стукнув, сняли лыжи,
Исходный заняли рубеж.
Был воздух сух, морозом выжат
И необычно детски свеж.

А тишина была такая,
Как будто все, что есть вокруг,
Весь мир от края и до края
Прислушивался...
И вдруг
Земля — вперед! Качнулись сосны,
А иней — точно дым с ветвей.
Огонь рванулся смертоносный
С укрытых наших батарей.

И шепелявый визг металла
Повис над самой головой.
И лес оглох. И ясно стало,
Что — началось, что это — бой.

И небо всех и все пригнуло
К земле, как низкий потолок.
И в блиндажах со стен от гула
Потек песок...

Под канонаду со стоянки
В снегу, как в мельничной пыли,
С разгону вздыбленные танки,
Почти неслышные, прошли.

И вслед за огневым налетом
К высотам, где укрылся враг,
Пошла, пошла, пошла пехота,
Пошла, родимая!
Да как!

Еще орудья не остыли
От краткой яростной пальбы,
Еще стволы деревьев ныли,
Как телеграфные столбы,—

Бойцы уже едва виднелись
На сером вспаханном снегу.
Бежали в рост, у самой цели,
Шинели сбросив на бегу.

Одни из тех, что шли вначале,
На полпути еще легли.
Живые знамя расправляли
В дыму, вдали.

«Возмездие»

И к тем живым — свои, живые
Бежали, шли, тянули связь,
И даже кухни полевые
В тылу подвинулись, дымясь.

Вперед, вперед катилась лавой
Дивизия. Была она
Своей сегодняшнею славой
Еще в тот день озарена.

1939—1940

* * *

Не дым домашний над поселком,
Не скрип веселого крыльца,
Не запах утренний сенца
На молодом морозце колком,—

А дым костра, землянки тьма,
А день, ползущий в лес по лыжням,
Звон пули в воздухе недвижном,
Остекленевшем — вот зима...

1940

ТАНК

Взвоют гусеницы люто,
Надрезая снег с землей,
Снег с землей завьется круто
Вслед за свежей колеей.

И как будто первопуток
Открывая за собой,
В сталь одетый и обутый,
Танк идет с исходной в бой.

Лесом, полем мимолетным,
Сам себе кладет мосты,
Только следом неохотно
Выпрямляются кусты.

В гору в гору, в гору рвется,
На дыбы встает вдали,
Вот еще, еще качнется,
Оторвется от земли! —

И уже за взгорьем где-то
Путь прокладывает свой,
Где в дыму взвилась ракета,
Где рубеж земли,
Край света —
Бой!..

1940

ЖЕРЕБЕНОК

Гнедой, со звездочкой-приметой,
Неровно вышедшей на лбу,
Он от своих отбился где-то,
Заслышав первую стрельбу.

И суток пять в снегу по брюхо
Он пробивался по тылам.
И чуть живой на дым от кухонь,
Как перебежчик, вышел к нам.

Под фронтовым суровым небом
Прижился он, привык у нас,
Где для него остатки хлеба
Бойцы посили про запас.

Бойцы ему попонку сшили —
Живи, расти, гуляй пока,
И наши лошади большие
Не обижали стригунка.

И он поправился отменно,
Он ласку знал от стольких рук,
Когда один из финских пленных
Его у нас увидел вдруг...

Худой, озябший, косоротый,
Он жеребенка обнимал,
Как будто вечером в ворота
Его шутливо загонял.

А тот стоит и вбок куда-то
Косит смущенно карий глаз.
Его, хозяина, солдатом
Он здесь увидел в первый раз.

1940

* * *

То к сыну старик, то к шинели сыновней,
То сядет за стол, то к порогу опять.
— Нет, шутка ли слово такое: полковник!
Полковник! Герой! Это надо понять.

И смотрит на сына с тревогой любовной,
И снова встает, не уймется отец.
— Полковник! А скажем и так: ну, полковник,
Ну, даже полковник! А я вот кузнец.

Ну что ж, повстречались. Ну, выпили вместе
За милого гостя в отцовской избе.
А то, что касается службы да чести,
Ты — сам по себе, я — сам по себе.

1940

* * *

Пускай до последнего часа расплаты,
До дня торжества — недалекого дня —
И мне не дожить, как и многим ребятам,
Что были нисколько не хуже меня.

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя.

1941

РАССКАЗ ТАНКИСТА

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.

Лет десяти — двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас, как дорогих гостей,

Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду ведрами — не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют...

Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперед.
А он гвоздит — не выглянуть из башен,—
И черт его поймет, откуда бьет.

Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился,— столько всяких дыр.
И вдруг к машине подбежал парнишка:
— Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду...
— Да где же, где?..— А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждет.— Влезай сюда, дружище! —
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка — мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырем.

Подъехали.— Вот здесь.— И с разворота
Заходим в тыл, и полный газ даем.
И эту пушку, заодно с расчетом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем.

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шел большой пожар.
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

1941

БОЙЦУ ЮЖНОГО ФРОНТА

Когда прочла твоя родная,
Что под Ростовом сломлен враг,
Прочла, быть может и не зная,
Что ты сражался в тех краях,—
То вновь к работе кропотливой
Она, наверно, взяв клубок,
Вернулась с мыслью горделивой:
«Не там ли нынче мой сынок?»

Когда прочла твоя подруга,
Как сотни тысяч наших жен,
Что на Дону войсками юга
Противник в бегство обращен,—
С волненьем искренним, сердечным,
Встречая день обычный свой,
Она подумала, конечно,
Не там ли ты и что с тобой?

Когда твой мальчик краснощекий
От школьных сверстников узнал,
Что где-то там, в степях далеких,
Разбит фашистский генерал,—
Он, твой любимец незабытый,
Твой сын и будущий боец,
Он так и понял,— немцы биты:
«Что ж, это бил их мой отец».

Когда твой друг на фронте где-то,
Как ты, мужающий в борьбе,
Читал в тот день свою газету,—
Он тоже вспомнил о тебе.

Не там ли ты, товарищ давний,
С кем он гулял, с кем чарку пил,
Не там ли ты, в той схватке славной
Под Таганрогом немца бил?

И вся родимая держава,
И весь наш тыл, и фронт любой
Несут хвалу и честь по праву
Тебе, товарищ боевой.
Москва и дальний заполярный,
В снега ушедший городок
С одною думой благодарной
Обращены к тебе, браток.

А ты в бою. И бородатый,—
Не до бритья коль взят разгон,—
Похож на русского солдата
Всех воин великих и времен.
На неостывшем вражьем танке,
Подбитом, может быть, тобой,
Ты примостился, чтоб портянки
Перевернуть — и снова в бой.

Хоть, спору нет, тебе досталось.
Не смыты копоть, кровь и пот,
Но та усталость — не усталость,
Когда победа жить дает.
Ты поработал не задаром:
Настанет срок — народ-герой
Сметет врага с земли родной,
И слава первого удара —
Она навеки за тобой.

1941

* * *

Отцов и прадедов примета,—
Как будто справдилась она:
Таких хлебов, такого лета
Не год, не два ждала война.
Как частый бор, колосовые
Шумели глухо над землей.
Не пешеходы — верховые
Во ржи скрывались с головой.

И были так густы и строги
Хлеба, подавшись грудь на грудь,
Что, по пословице, с дороги
Ужу, казалось, не свернуть.
И хлеба хлеб казался гуще,
И было так, что год хлебов
Был годом клубней, землю рвущих,
И годом трав в лугах и пущах,
И годом ягод и грибов.
Как будто все, что в почве было,—
Ее добро, ее тепло,—
С великой щедростью и силой
Ростки наружу выносило,
В листву, в ботву и колос шло.
В свой полный цвет входило лето,
Земля ломилась, всем полна...
Отцов и прадедов примета,—
Как будто справдилась она:

Гром грянул — началась война...

1942

БАЛЛАДА О ТОВАРИЩЕ

Вдоль развороченных дорог
И разоренных сел
Мы шли по звездам на восток,—
Товарища я вел.

Он отставал, он кровь терял,
Он пулю нес в груди
И всю дорогу повторял:
— Ты брось меня. Иди...

Наверно, если б ранен был
И шел в степи чужой,
Я точно так бы говорил
И не кривил душой.

А если б он тащил меня,
Товарища-бойца,
Он точно так же, как и я,
Тащил бы до конца...

Мы шли кустами, шли стернёй:
В канавке где-нибудь
Ловили воду пятерней,
Чтоб горло обмануть.

О пище что же говорить,—
Не главная беда.
Но как хотелось нам курить!
Курить — вот это да...

Где разживался огнем,
Мы лист ольховый жгли,
Как в детстве, где-нибудь в ночном,
Когда коней пасли...

Быть может, кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь.

Как трудно дух бойца беречь,
Чуть что скрываясь в тень.
Чужую, вражью слышать речь
Близ русских деревень.

Как зябко спать в сырой копне
В осенний холод, в дождь,
Спиной к спине — и все ж во сне
Дрожать. Собачья дрожь.

И каждый шорох, каждый хруст
Тревожит твой привал...
Да, я запомнил каждый куст,
Что нам приют давал.

Запомнил каждое крыльцо,
Куда пришлось ступать,
Запомнил женщин всех в лицо,
Как собственную мать.

Они делили с нами хлеб —
Пшеничный ли, ржаной,—
Они нас выводили в степь
Тропинкой потайной.

Им наша боль была больна,—
Своя беда не в счет.
Их было много, но одна...
О ней и речь идет.

— Остался б,— за руку брала
Товарища она,—
Пускай бы рана зажила,
А то в ней смерть видна.

Пойдешь да сляжешь, на беду,
В пути перед зимой.
Остался б лучше.— Нет, пойду,—
Сказал товарищ мой.

— А то побудь. У нас тут глушь,
В тени мой бабий двор.
Случись что немцы,— муж и муж,
И весь тут разговор.

И хлеба в нынешнем году
Мне не поесть самой,
И сала хватит.— Нет, пойду,—
Вздохнул товарищ мой.

— Ну, что ж, иди...— И стала вдруг
Искать ему белье,
И с сердцем как-то все из рук
Металось у нее.

Гремя, на стол сковороду
Подвинула с золой.
Поели мы.— А все ж пойду,—
Привстал товарищ мой.

Она взглянула на него:
— Прощайте,— говорит,—
Да не подумайте чего...—
Заплакала навзрыд.

На подоконник локотком
Так горько опершись,
Она сидела босиком
На лавке. Хоть вернись.

Переступили мы порог,
Но не забыть уж мне
Ни тех босых сиротских ног,
Ни локтя на окне.

Нет, не казалася дурней
От слез ее краса,
Лишь губы детские полней
Да искристей глаза.

Да горячее кровь лица,
Закрытого рукой.
А как легко сходить с крыльца,—
Пусть скажет кто другой...

Обоих жалко было мне,
Но чем тут пособить?
Хотела долю на войне
Молодка ухватить.

Хотела в собственной избе
Ее к рукам прибрать,
Обмыть, одеть и при себе
Держать — не потерять.

И чуять рядом по почам,—
Такую вел я речь.
А мой товарищ? Он молчал,
Не поднимая плеч...

Бывают всякие дела,—
Ну что ж, в конце концов
Ведь нас не женщина ждала —
Ждал фронт своих бойцов.

Мы пробирались по кустам,
Брели, ползли кой-как.
И снег нас в поле не застал,
И не заметил враг.

И рану тяжкую в груди
Осилил спутник мой.
И все, что было позади,
Занесено зимой.

И вот теперь по всем местам
Печального пути
В обратный путь досталось нам
С дивизией идти.

Что ж, сердце, вволю постучи,—
Настал и наш черед.
Повозки, пушки, тягачи
И танки — все вперед!

Вперед — погода хороша,
Какая б ни была!
Вперед — дождалася душа
Того, чего ждала!

Вперед дорога — не назад,
Вперед — веселый труд;
Вперед — и плечи не болят,
И сапоги не трут.

И люди — каждый молодцом —
Горят: скорее в бой.
Нет, ты назад пройди бойцом,
Вперед пойдет любой.

Привал — приляг. Кто рядом — всяк
Приятель и родня.
— Эй ты, земляк, тащи табак!
— Тащу. Давай огня!

Свояк, земляк, дружок, браток,
И все добры, дружны.
Но с кем шагал ты на восток —
То друг иной цены...

И хоть оставила война
Следы свои на всем,
И хоть земля оголена,
Искажена огнем,—

Но все ж знакомые места,
Как будто край родной.
— А где-то здесь деревня та? —
Сказал товарищ мой.

Я промолчал, и он умолк,
Прервался разговор.
А я б и сам добавить мог,
Сказать: — А где тот двор?

Где хата наша и крыльцо
С ведерком на скамье?
И мокрое от слез лицо,
Что снилося и мне?..

Дымком несет в рядах колонн
От кухни полевой.
И вот деревня с двух сторон
Дороги боевой.

Неполный ряд домов-калек,
Покинутых с зимы.
И там на ужин и ночлег
Расположились мы.

И два бойца вокруг глядят,
Деревню узнают,
Где много дней тому назад
Нашли они приют.

Где печь для них, как для родных,
Топили в ночь тайком.
Где, уважая отдых их,
Ходили босиком.

Где ждали их потом с мольбой
И мукой день за днем...
И печь с обрушенной трубой
Теперь на месте том.

Да сорванная, в стороне,
Часть крыши. Бедный хлам,
Да черная вода на дне
Оплывших круглых ям.

Стой! Это было здесь жилье,
Людской отрадный дом.
И здесь мы видели ее,
Ту, что осталась в нем.

И проводила, от лица
Не отнимая рук,
Тебя, защитника, бойца.
Стой! Оглянись вокруг...

Пусть в сердце боль тебе, как нож,
По рукоять войдет.
Стой и гляди! И ты пойдешь
Еще быстрей вперед.

Вперед, за каждый дом родной,
За каждый добрый взгляд,
Что повстречался нам с тобой,
Когда мы шли назад.

И за кусок и за глоток,
Что женщина дала,
И за любовь ее, браток,
Хоть без поры была.

Вперед — за час прощальный тот,
За память встречи той...
— Вперед, и только, брат, вперед,—
Сказал товарищ мой...

Он плакал горестно, солдат,
О девушке своей,
Ни муж, ни брат, ни кум, ни сват
И не любовник ей.

И я тогда подумал: «Пусть,
Ведь мы свои, друзья,
Ведь потому лишь сам держусь,
Что плакать мне нельзя.

А если б я,— случись так вдруг,—
Не удержался здесь,
То удержался б он, мой друг,
На то и дружба есть...»

И, постояв еще вдвоем,
Два друга, два бойца,
Мы с ним пошли. И мы идем
На запад. До конца.

1941—1942

ПАРТИЗАНАМ СМОЛЕНЩИНЫ

Ой, родная, отцовская,
Что на свете одна,
Сторона приднепровская,
Смоленская сторона,
Здравствуй!..

Слова не выдавить.
Край в ночи без огня.
Ты как будто за тридевять
Земель от меня.

За высокою кручею,
За чужою заставою,
За немецкой колючею
Проволокой ржавою.

И поля твои мечены
Рытым знаком войны,
Города покалечены,
Снесены, сожжены...
И над старыми трактами
Тянет с ветром чужим
Не дымком наших тракторов,—
Вонью вражьих машин.
И весна деревенская
Не красна, не шумна.
Песня на поле женская —
Край пройди — не слышна...
Ой, родная, смоленская
Моя сторона,

Ты, огнем опаленная
До великой черты,
Ты, за фронтом плененная,
Оскорбленная,—
Ты
Никогда еще ранее
Даже мне не была
Так больна, так мила —
До рыдания...

Я б вовеки грабителям
Не простил бы твоим,
Что они тебя видели
Вражьим оком пустым;
Что земли твоей на ноги
Зацепили себе;
Что руками погаными
Прикоснулись к тебе;
Что уродливым именем
Заменили твое;
Что в Днепре твоем вымыли
Воровское тряпье;
Что прошлися где по двору
Мимо окон твоих
Той походкою подлою,
Что у них у одних...

Сторона моя милая,
Ты ль в такую весну
Под неволей постылою
Присмиреешь в плену?
Ты ль березой подрубленной
Будешь никнуть в слезах
Над судьбою загубленной,
Над могилой неубранной,
Позабытой в лесах?

Нет, твой враг не похвалится
Тыловой тишиной,
Нет, не только страдалицей
Ты встаешь предо мной,
Земляная, колхозная,—
Гордой чести верна,—
Партизанская грозная
Сторона!

Знай, убийца без совести,
Вор, ограбивший дом,
По старинной пословице,
Не хозяин ты в нем.

За Починками, Глинками
И везде, где ни есть,

Потайными тропинками
Ходит зоркая месть.
Ходит, в цепи смыкается,
Обложила весь край,
Где не ждут, объявляется
И карает...
Карай!

Бей, семья деревенская,
Вора в честном дому,
Чтобы жито смоленское
Боком вышло ему.
Встань, весь край мой поруганный,
На врага!
Неспроста
Чтоб вороною пуганой
Он боялся куста;
Чтоб он в страхе сутулился
Пред бессонной бедой;
Чтоб с дороги не сунулся
И за малой нуждой;
Чтоб дорога трясиною
Пузырилась под ним;
Чтоб под каждой машиною
Рухнул мост и — аминь!
Чтоб тоска постоянная
Вражий дух извела,—
Чтобы встреча желанная
Поскорее была.

Ой, родная, отцовская
Сторона приднепровская,
Земли, реки, леса мои,
Города мои древние,
Слово слушайте самое
Мое задушевное.
Все верней, все заметнее
Близкий радостный срок.
Ночь короткую, летнюю
Озаряет восток.
Полстраны под колесами
Боевыми гудит.

Разве родина бросила
Край родной хоть один?
Хоть ребенка, хоть женщину
Позабыла в плену?
Где ж забудет Смоленщину —
Сторону!

Сторона моя милая,
Боевая родня,
Бей же силу постылую
Всей несчетною силою
Ножа и огня.
Бей! Вовек не утратится
Имя, дело твое,
Не уйдет в забытье,
Высшей славой оплатится.

Эй родная, смоленская,
Сторона деревенская,
Эй, веселый народ,
Бей!
Наша берет!

1942

АРМЕЙСКИЙ САПОЖНИК

В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.

Сидит без ремня, без пилотки,
Орудует в поте лица.
В коленях — сапог на колодке,
Другой — на ноге у бойца.
И пянчит и лечит сапожник
Сапог, что заляпан такой
Немыслимой грязью дорожной,
Окопной, болотной, лесной,—
Не взять его, кажется, в руки,
А доктору все нипочем,
Катает согласно науке
Да двигает лихо плечом.

Да щурится важно и хмуро,
Как знающий цену себе.
И с лихостью важной окурок
Висит у него на губе.

Все точно, движенья по счету,
Удар — где такой, где сякой.
И смотрит боец за работой
С одною разутой ногой.

Он хочет, чтоб было получше
Сработано, чтоб в аккурат.
И скоро сапог он получит,
И топай обратно, солдат.

Кто знает,— казенной подковки,
Подбитой по форме под низ,
Достанет ему до Сычевки,
А может, до старых границ.

А может быть, думою сходной
Он занят, а может — и нет.
И пахнет от кухни походной,
Как в мирное время, обед.

И в сторону гулкой, недальней
Пальбы — перелет, недолет,—
Неспешно и как бы похвально
Кивает сапожник:
— Дает?
— Дает,— отзывается здраво
Боец. И не смотрит. Война.
Налево война и направо.
Война поперек всей державы,
Давно не в новинку она.
У Волги, у рек и речушек,
У горных приморских дорог,
У северных хвойных опушек
Теснится колесами пушек,
Мильонами грязных сапог.
Наломано столько железа,
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.

А сколько разрушено крова,
Погублено жизни самой.
Иной — и живой и здоровый,—
Куда он вернется домой?
Найдет ли окошко родное,
Куда постучаться в ночи?
Все — прахом, все — пеплом-золою.
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.
Поник журавель у колодца,
И некому воду носить.
И что еще встретить придется —
Само не пройдет, не сотрется,—
За все это надо спросить...

Привстали, серьезные оба.
— Кури.
— Ну давай, закурю.
— Великое дело, брат, обувь.
— Молчи, я и то говорю.—
Беседа идет, не беседа,
Стоят они, курят вдвоем.
— Шагай, брат, теперь до победы.
Не хватит — еще подобьем.
— Спасибо.— И словно бы другу,
Который его провожал,
Товарищ товарищу руку
Внезапно и крепко пожал.
В час добрый. Что будет — то будет.
Бывало! Не стать привыкать!..
Родные великие люди.
Россия, родимая мать!

1942

* * *

Ветром, что ли, подунуло
С тех печальных полей,—
Что там с ней, как подумаю,
Стороною моей!

С тою русской сторонкою,
Захолустной, лесной,
Незавидной, негромкою,
А навеки родной.

Неужели там по небу
Тучки помнят свой шлях?
Неужели там что-нибудь
Зеленеет в полях?

На гнездовья те самые
За Днепром, за Десной
Снова птицы из-за моря
Прилетели весной?

И под небом ограбленной,
Оскорбленной земли
Уцелевшие яблони —
Срок пришел — расцвели?

Люди счетом уменьшены,
Молча дышат, живут.
И мужей своих женщины
Неужели не ждут?

И что было — оплакано,—
Смыло начисто след?
И как будто, что так оно,
И похоже... А — нет!..

1943

НОЯБРЬ

В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И, оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

1943

СО СЛОВ СТАРУШКИ

Не давали покоя они петуху,
Ловят по двору, бегают, слышу,
И загнали куда-то его под стреху,
И стреляли в беднягу сквозь крышу.

Но, как видно, и он не дурак был, петух,
Помирать-то живому не сладко.
Под стрехой, где сидел, затаил себе дух
И подслушивал — что тут — украдкой.

И как только учуял, что наша взяла,
Встрепенулся, под стать человеку,
И на крышу вскочил — как ударит в крыла:
— Ку-ка-реку! Ура! Кукареку!

1943

НАГРАДА

Два года покоя не зная
И тайной по-бабьи томясь,
Она берегла это знамя,
Советскую прятала власть.

Скрывала его одиноко,
Закутав отрезком холста,
В тревоге от срока до срока
Меняя места.

И в день, как опять задрожала
Земля от пальбы у села,
Тот сверток она из пожара
Спасла.

И полк под спасенное знамя
Весь новый, с иголочки, встал.
И с орденом «Красное Знамя»
Поздравил ее генерал.

Смутилась до крайности баба,
Увидев такие дела:
— Мне телочку дали хотя бы,
И то б я довольна была...

1943

ДВЕ СТРОЧКИ

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,—
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

1943

* * *

Когда пройдешь путем колонн
В жару, и в дождь, и в снег,
Тогда поймешь,
Как сладок сон,
Как радостен ночлег.

Когда путем войны пройдешь,
Еще поймешь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким путем
Не день, не два, солдат,
Еще поймешь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят.

Когда — науку всех наук —
В бою постигнешь бой,
Еще поймешь,
Как дорог друг,
Как дорог каждый свой.

И про отвагу, долг и честь
Не будешь зря твердить.
Они в тебе,
Какой ты есть,
Каким лишь можешь быть.

Таким, с которым, коль дружить
И дружбы не терять,
Как говорится —
Можно жить
И можно умирать.

1943

У СЛАВНОЙ МОГИЛЫ

Нам памятна каждая пядь
И каждая наша примета
Земли, где пришлось отступать
В пыли сорок первого лета.

Но эта опушка борка
Особою памятью свята:
Мы здесь командира полка
В бою хоронили когда-то.

Мы здесь для героя отца,
Меняясь по двое, спешили
Готовый окончик бойца
Устроить поглубже, пошире.

В бою — как в бою. Под огнем
Копали, лопатой саперной,
В песке рассекая с трудом
Сосновые желтые корни.

И в желтой могиле на дне
Мы хвои зеленой постлали,
Чтоб спал он, как спят на войне
В лесу на коротком привале.

Прости, оставайся, родной!..
И целых и долгих два года
Под этой смоленской сосной
Своих ожидал ты с восхода.

И ты не посетуй на нас,
Что мы твоей славной могиле
И в этот, и в радостный, час
Не много минут посвятили.

Торжествен, но краток и строг
Салют наш и воинский рапорт.
Тогда мы ушли на восток,
Теперь мы уходим на запад.

Над этой могилой скорбя,
Склоняем мы с гордостью знамя:
Тогда оставляли тебя,
А нынче родимый, ты с нами.

1943

В СМОЛЕНСКЕ

1

Два только года — или двести
Жестоких нищих лет прошло,
Но то, что есть на этом месте,—
Ни город это, ни село.

Пустырь угрюмый и безводный,
Где у развалин ветер злой
В глаза швыряется холодной
Кирпичной пылью и золой;

Где в бывшем центре иль в предместье
Одна в ночи немолчна песнь:
Гремит, бубнит, скребет по жести
Войной оборванная жесть.

И на проспекте иль проселке,
Что меж руин пролег, кривой,
Ручные беженцев двуколки
Гремят по древней мостовой.

Дымок из форточки подвала,
Тропа к колодцу в Чертов ров...
Два только года. Жизнь с начала —
С огня, с воды, с охапки дров.

2

Какой-то немец в этом доме
Сушил над печкою носки,
Трубу железную в проломе
Стены устроив мастерски.

Уютом дельным жизнь-времянку
Он оснастил, как только мог:
Где гвоздь, где ящик, где жестянку
Служить заставив некий срок.

И в разоренном доме этом
Определившись на постой,
Он жил в тепле, и спал раздетым,
И мылся летнею водой...

Пускай не он сгубил мой город,
Другой, что вместе убежал,—
Мне жалко воздуха, которым
Он год иль месяц здесь дышал.

Мне жаль тепла, угла и крова,
Дневного света жаль в дому,
Всего, что может быть здорово
Иль было радостно ему.

Мне каждой жаль тропы и стежки,
Где проходил он по земле,
Заката, что при нем в окошке
Играл вот так же на стекле.

Мне жалко запаха лесного,
Дровец, наколотых в снегу,
Всего, чего я вспомнить снова,
Не вспомнив немца, не могу.

Всего, что сердцу с детства свято,
Что сердцу грезилось светло
И что навеки, без возврата,
Тяжелой черною утратой
Отныне на сердце легло.

1943

* * *

Зачем рассказывать о том
Солдату на войне,
Какой был сад, какой был дом
В родимой стороне?
Зачем? Иные говорят,
Что нынче, за войной,
Он позабыл давно, солдат,
Семью и дом родной;
Он ко всему давно привык,
Войною научен;
Он и тому, что он в живых,
Не верит нипочем.
Не знает, он, иной боец,
Второй и третий год,—
Женатый он или вдовец,
И писем зря не ждет...
Так о солдате говорят.

И сам порой он врет:
Мол, для чего смотреть назад,
Когда идешь вперед?
Зачем рассказывать о том,
Зачем бередить нас,
Какой был сад, какой был дом,
Зачем?
Затем как раз,
Что человеку на войне,
Как будто назло ей,
Тот дом и сад вдвойне, втройне
Дороже и милей.
И чем бездомней на земле
Солдата тяжкий быт,
Тем крепче память о семье
И доме он хранит.
Забудь отца, забудь он мать,
Жену свою, детей,
Ему тогда и воевать
И умирать трудней.
Живем, не по миру идем,
Есть что хранить, любить.
Есть где-то, есть иль был наш дом,
А нет — так должен быть!

1943

У ДНЕПРА

Я свежо доныне помню
Встречу первую с Днепром,
Детской жизни день огромный —
Переправу и паром.

За неведомой, студеной
Полосой днепровских вод
Стороною отдаленной
Нам казался берег тот...

И не чудо ль был тот случай:
Старый Днепр средь бела дня
Оказался вдруг под кручей
Впереди на полконя.

И, блеснув на солнце боком,
Развернулся он внизу.
Страсть, как жутко и высоко
Стало хлопцу на возу.

Вот отец неторопливо
Заложил в колеса кол
И, обняв коня, с обрыва
Вниз, к воде тихонько свел.

Вот песок с водою вровень
Зашумел под колесом,
И под говор мокрых бревен
Воз взобрался на паром.

И паром, подавшись косо,
Отпихнулся от земли,
И недвижные колеса,
Воз и я — пошли, пошли...

И едва ли сердце знало,
Что оно уже тогда
Лучший срок из жизни малой
Оставляло навсегда.

1944

НОЧЛЕГ

Разулся, ноги просушил,
Согрелся на ночлеге,—
И человеку дом тот мил,
Неведомый вовеки.

Уже не первый, не второй,
Ни мой, ни твой, ничейный,
Пропахший обувью сырой,
Солдатским потом, да махрой,
Да смазкою ружейной.

И, покидая угол тот,
Солдат, жилец бездомный,
О нем, бывает, и вздохнет,
И жизнь пройдет, а вспомнит!

1944

НА ПОХОДЕ

Хорошо иметь в догадке
Ту примету на Руси,
Что в дому, где бабы гладки,
Там напиться не проси.

Там воды не будет свежей.
— Почему?
— А потому:
Норовят ходить пореже,
Держат теплую в дому.

— Что же, пейте на здоровье,
Если нравится вода.
Жаль, по вашему присловью,
Я, должно быть, так худа.

— Нет, не так, еще в порядке,
И сказать со стороны:
Ни к чему добреть солдатке,
Если мужа ждет с войны.

1944

* * *

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.

1944

МИНСКОЕ ШОССЕ

Все, как тогда, в то лето злое:
И жесткий шорох пыльных трав,
И ветер, дышащий золою,
И грохот бомб у переправ,

И блеклый хворост маскировки,
И жаркий, жадный ход машин,
И пеший раненый на бровке,—
И он, наверно, не один...

И вздох орудий недалекий,
И гул шоссейного моста,
И тот же стон большой дороги,
И те же самые места:
Низины, дробные сосенки,
Где, отмечая срок войны,
Трехлетней давности воронки
Меж новых, нынешних, видны.

И жженой жести тот же запах,
И пепелищ угарный дым.
Но только — мы идем на запад.
Мы наступаем. Мы громим.
Мы бьем *его,* что день, то пуще,
Что час, то злей и веселей,
В хвосты колонн его бегущих
Врываясь вдруг броней своей.
Ему ни отдыху, ни сроку,
Беги, куда бежать — гляди:
На пятки жмем, всыпаем сбоку,
И — стой! — встречаем впереди.

Идет, вершится суд суровый.
Священна месть, и казнь права.
И дважды, трижды в день громово
Войскам салюты шлет Москва.
И отзвук славы заслуженной
Гудит на тыщи верст вокруг.
И только плачут наши жены
От счастья так же, как от мук.

И только будто зов несмелый
Таят печальные поля,
И только будто постарела,
Как в горе мать, сама земля,
И рост, и доброе цветенье
Всего, что водится на ней,

Как будто строже и смиренней
И сердцу русскому больней.
Вот дождик вкрадчиво прокрапал.
Как топок грустный дух сенца!..

Войска идут вперед на запад.
Вперед на запад. До конца!..

1944

В ЛИТОВСКОЙ УСАДЬБЕ

Зернистый туман августовский
На утре погожего дня
Под стогом в усадьбе литовской
Заставил проснуться меня.

Холодной росою капустной
Он тек по соломе сухой.
И было так тихо и грустно,
Как будто войны никакой.

На самые малые сроки
Зашла она в это жилье,
Уже далеко по дороге
Катились колеса ее...

Я сел на подножке машины,
Курю, а пернатый юнец
Поет фистулой петушиной
Четвертому лету конец,

Поет он под крышей поветки,
И, сонно-угрюмый с лица,
В шляпенке и ветхой жилетке
Мужик соступает с крыльца,

Подошвой гремя деревянной,
Хозяин. Мужик — как мужик.
И слышать занятно и странно
Его «иностранный» язык...

1944

ВОЗМЕЗДИЕ

1

Мы сотни верст и тыщи верст земли,
Родной земли, завещанной отцами,
Топча ее, в страде войны прошли
С оглохшими от горечи сердцами.

Из боя в бой мы шли, из боя в бой,
И, отступая в страшный час разлуки,
Мы не могли, солдаты, взять с собой
Всех тех, что к нам протягивали руки.

Мы покидали милые поля,
Где провожал нас каждый колос хлеба
И каждый кустик сизый ковыля.
Да, то была родимая земля,
Хотя над ней чужое было небо,

Хотя над ней медовый вянул цвет,—
Так смертной гарью от дорог разило,
Хотя по ней прокладывала след
Чужих колес и гусениц резина.

Мы шли от рубежа до рубежа
Родной земли, прощаясь молча с нею,
Та боль тогда еще была свежа,
Но с каждым днем, как рана от ножа,
Она горела глубже и сильнее.

И все места, где немец проходил,
Куда вступал бедой неотвратимой,
Рядами вражьих и своих могил
Мы отмечали на земле родимой...

От стен Москвы в морозной жесткой мгле,
Живые мертвых на ходу сменяя,
Его мы гоном гнали по земле,
Но то земля была своя, родная.

У Сталинграда вещей битвы жар
Простерся в вечность заревом кровавым.
И, чуя гибель, враг от нас бежал,
Гонимый вспять оружьем нашим правым.

То был залог, порука из порук,
Что мы его угомоним навеки,
Но Дон, Донец, но старый Днепр и Буг —
Еще родные наши были реки.

В степи, в горах мы смерть ему несли
И в море опрокидывали с суши.
Но скорбь войной потоптанной земли,
Родной земли томила наши души.

Нам, только нам, горька она была,
Ее сынам, печаль земли родимой,
Земли, что столько горя приняла,
Чьи муки, может, невознаградимы...

Вперед, вперед бессонно шли войска,
Ее войска — вперед, презрев усталость...
И не одна нерусская река
Уже за нами позади осталась.

И гром гремел у старых стен Кремля
Во имя славы нашей запредельной,
Но то была не та еще земля,
Не та, с которой счет у нас отдельный.

В тяжелый воз нуждою впряжены,
Его везли мы в гору, не плошая.
Четвертый год! Четвертый год войны!..
И вот земля — та самая, чужая...

Вот крыша дома в виде корабля,
Вот садика притихшие верхушки,
Осенние смиренные поля.
Но то она — немецкая земля,
Чьи под Москвой месили землю пушки.

И ветер дышит жаркою золой,—
То час настал для исполненья гнева.
И низко виснет над чужой землей
Ревущее грозою наше небо.

Четвертый год! Четвертый год войны
Нам локти мажет желтой прусской глиной,
И тысячи стволов наведены
Указками дороги до Берлина.

И в этот грозный предреченный час,
У этих сел, фольварков и предместий,
О мести не расспрашивайте нас,
Спросите так: верны ль мы нашей чести?

Ее завет и краток и суров,
И с нами здесь никто не будет в споре:
Да, смерть — за смерть! Да, кровь — за кровь!
За горе — горе!..

2

Хрустит чужое под ногой
Стекло и черепица.
Вдали за нами край родной,
Земли родной граница.
Да, мы иных, чем ты, кровей,
Иных знамен солдаты,
И мы сегодня по твоей
Земле идем с расплатой.
Как занялся огнем твой дом,
Ты увидал впервые,
А нам тот запах так знаком,
И дым тот очи выел.
Прошло, сменилось три травы
Вдоль той дороги долгой:
От Верхней Волги, от Москвы,
Да что! — от Нижней Волги.
И память — боль,— на том стоим,—
Она не убавлялась,
Она от мертвых к нам, живым,
В пути передавалась.
И тот, кто нынче приведен
В твои края войною,
Двойною ношей нагружен,
А может быть, тройною.
И мы не с тем сюда пришли,
Чтоб здесь селиться хатой.
Не надо нам твоей земли,
Твоей страны проклятой.
Нас привела сюда нужда,
Неволя — не охота.
Нам только надо навсегда
Свести с тобою счеты.

И мы тревожим чуждый кров
Священной мести ради.
И суд наш праведный суров,
И места нет пощаде.
И не у нас ее проси,
Мы будем мертвых глуше.
Проси у тех, чьи на Руси
Сгубил безвинно души.
Проси у тех, кого ты сжег,
Зарыл в земле живыми —
Не шевельнется ли песок,
Притоптанный над ними?
Проси у тех, кому велел
Самим копать могилу,
Проси у тех, кого раздел
В предсмертный час постылый.
Проси у девочки у той,
Что, в дула ружей глядя,
Спросила с детской простотой:
— Чулочки тоже, дядя? —
У той, худое тельце чье
У края рва поставил.
Проси пощады у нее,
А мы щадить не вправе.
У нас оглохшие сердца
К твоим мольбам бесстыдным.
Мы справим суд наш до конца,
А после будет видно.

Четвертый год солдат в борьбе,
И сколько дней в чужбине!

Земля родная, о тебе
И сны и думы ныне!

1944

О СКВОРЦЕ

На крыльце сидит боец,
На скворца дивится:
— Что хотите, а скворец
Правильная птица.

День-деньской, как тут стоим,
В садике горелом,
Занимается своим
По хозяйству делом.

Починяет домик свой,
Бывший без пригляда.
Мол, война себе войной,
А плодиться надо!

1945

* * *

В поле, ручьями изрытом,
И на чужой стороне
Тем же родным, незабытым
Пахнет земля по весне:

Полой водой и — нежданно —
Самой простой, полевой
Травкою той безымянной,
Что и у нас под Москвой.

И, доверяясь примете,
Можно подумать, что нет
Ни этих немцев на свете,
Ни расстояний, ни лет.

Можно сказать: неужели
Правда, что где-то вдали
Жены без нас постарели,
Дети без нас подросли?..

1945

* * *

Перед войной, как будто в знак беды,
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.

И тяжко было сердцу удрученному
Средь буйной видеть зелени иной
Торчащие по-зимнему, по-черному
Деревья, что не ожили весной.

Под их корой, как у бревна отхлупшею,
Виднелся мертвенный коричневый нагар.
И повсеместно избранные, лучшие
Постиг деревья гибельный удар...

Прошли года. Деревья умерщвленные
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зеленые...

Прошла война. А ты все плачешь, мать.

1945

В ЧАС МИРА

Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог...

3 августа 1945 г.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЗИМА

В вагоне пахнет зимним хлевом,
Гремят бидоны на полу.
Сосет мороженое с хлебом
Старуха древняя в углу.

Полным-полно, народ в проходе
Бочком с котомками стоит.
И о лихой морской пехоте
Поет нетрезвый инвалид.

1946

КРЕМЛЬ ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Кремль зимней ночью над Москвой —
Рекой и городом Москвою —
С крутой Ивановой главой
И с тенью стен сторожевою.

Кремль зимней ночью при луне,
Ты чуден древностью высокой
И славен с нею наравне
Недавней памятью жестокой.

Недавней памятью ночей,
Когда у западной заставы
Курились дымы блиндажей
И пушки ухали устало;

Когда здесь были фронт и тыл,
И в дачных рощах Подмосковья
Декабрьский снег замешан был
Землей, золой и свежей кровью.

Кремль зимней ночью, на твоих
Стенах, бойницах, башнях, главах
И свет преданий вековых,
И свет недавней трудной славы.

На каждом камне с той зимы
Как будто знак неизгладимый
Всего того, чем жили мы
В тревожный час земли родимой.

Незримым заревом горят
На каждом выступе старинном
И Сталинград, и Ленинград,
И знамя наше над Берлином.

До дней далеких донеси
То отраженье, гордый камень,
И подвиг нынешней Руси
Да будет будущему в память!

Да будет славой вековой
Он озарен, как ты луною,
Кремль зимней ночью над Москвой —
Рекой и городом Москвою!

1946

О РОДИНЕ

Родиться бы мне по заказу
У теплого моря в Крыму,
А нет,— побережьем Кавказа
Ходить, как в родимом дому.

И славить бы море и сушу
В привычном соседстве простом,
И видеть и слышать их душу
Врожденным сыновним чутьем...

Родиться бы, что ли, на Волге,
Своими считать Жигули,
И домик в рыбачьем поселке,
Что с палубы видишь вдали...

Родиться бы в сердце Урала,
Чья слава допыне скрытна,
Чтоб в песне моей прозвучала
С нежданною силой она.

В Сибири, на Дальнем Востоке,
В краю молодых городов,
На некоей там новостройке,—
Везде я с охотой готов
Родиться.

Одно не годится:
Что, где ни случилось бы мне,
Тогда бы не смог я родиться
В родимой моей стороне —

В недальней, отцами обжитой
И дедами с давних времен,
Совсем не такой знаменитой,
В одной из негромких сторон;

Где нет ни жары парниковой,
Ни знатных зимой холодов,
Ни моря вблизи никакого,
Ни горных, конечно, хребтов;

Ни рек полноты величавой,
А реки такие подряд,
Что мельницу на два постава,
Из сил выбиваясь, вертят.

Ничем сторона не богата,
А мне уже тем хороша,
Что там наудачу когда-то
Моя народилась душа.

Что в дальней дали зарубежной,
О многом забыв на войне,
С тоской и тревогою нежной
Я думал о той стороне:

Где счастью великой, единой,
Священной, как правды закон,
Где таинству речи родимой
На собственный лад приобщен.

И с нею — из той незавидной
По многим статьям стороны,
Мне всю мою родину видно,
Как город с кремлевской стены.

Леса, ее горы, столицы,
На рейде ее корабли...
И всюду готов я родиться
Под знаменем этой земли.

А только и прежде и ныне
Милей мне моя сторона —
По той по одной лишь причине,
Что жизнь достается одна.

1946

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В нятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет,—
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,—
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Это грозное право
Нам навеки дано,—
И за нами оно —
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг,—

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе.
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали,—
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю,—
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1945—1946

МОСКВА

Зябкой ночью солдатской
В сорок первом году
Ехал я из-под Гжатска
На попутном борту.

Грохот фронта бессонный
Шел как будто бы вслед.
Редко встречной колонны
Скрытный вспыхивал свет.

Тьма предместий вокзальных
И — Москва. И над ней
Горделивый, печальный
Блеск зенитных огней.

И просились простые
К ней из сердца слова:
«Мать родная, Россия,
Москва, Москва...»

В эти горькие ночи
Ты поистине мать,
Та, что детям не хочет
Всей беды показать;

Та, что жертвой безгласной
Не смирится с судьбой;
Та, что волею властной
Поведет за собой.

И вовек не склонится
Твоя голова,
Мать родная, столица,
Москва, Москва!..

Память трудной годины,
Память боли во мне.
Тряский кузов машины.
Ночь. Столица в огне.

И, как клятва, святые
В тесном горле слова:
«Мать родная, Россия,
Москва, Москва...»

...Ехал я под Берлином
В сорок пятом году.
Фронт катился на запад,
Спал и ел на ходу.

В шесть рядов магистралью —
Не вмещает — узка!
Громыхаючи сталью,
Шли на запад войска.

Шла несметная сила,
Разрастаясь в пути,
И мосты наводила
По себе впереди.

Шла, исполнена гнева,
В тот, в решающий бой.
И гудящее небо,
Точно щит, над собой

Высоко проносила...
— Погляди, какова
Мать родная, Россия,
Москва, Москва!..

Память горя сурова,
Память славы жива.
Все вместит это слово:
«Москва! Москва!..»

Это имя столицы,
Как завет, повторим.
Расступились границы
Рубежи перед ним...

Стой, красуйся в зарницах
И огнях торжества,
Мать родная, столица,
Крепость мира — Москва!

1947

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что́ погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.

И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.

Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;

И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;

И с теми, что под самою Москвой,
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимою сорок первого; и с теми,

Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном не чуждою рукою.

Со всеми — пусть не равен их удел,—
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел:
Такой был срок ему отпущен малый.

Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ,—
Со всеми, до единого со всеми

Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.

Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут, и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.

И не затем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не затем, нет, не затем одним,
Что ветры войн шумят, не утихая,

И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были,—

Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли,
И слухом их не слышать мир отчасти?

И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов, у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека?

Что ж, мы — трава? Что ж, и они — трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.

К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.

Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы — мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.

В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.

Я ваш, друзья,— и я у вас в долгу,
Как у живых,— я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,

Скажу слова без прежней веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.

Суда живых не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.

1948

ПАМЯТИ ЛЕНИНА

1

В глухую, безвестную волость,
Где лес от села до села,
При мне эта страшная новость
По санному следу пришла.

Она перед тем на рассвете
Весь шар облетела земной
И все провода на планете
Успела заполнить собой.

А тут и не дальние дали,
Да глушь — заповедный удел.
Мы даже гудков не слыхали,
Лишь ветер по трубам гудел.

Но в тяжком негаданном горе
Была в это утро равна
Столицам деревня Загорье,
Лесная моя сторона.

Стояла над скопищем сонным
Снегами заваленных крыш,
Над миром, бедой потрясенным,
Морозная жесткая тишь.

И полоз, рыдающий в поле,
И утренний скрип журавля
Отчетливы были до боли,
Отсюда слышны до Кремля.

Зачем это снова и снова
Звучит их нещадная песнь,
Когда уже сказано слово,
Когда уже слышана весть?

И каждому было с той вестью
Не в силах сидеть одному,
Большие и малые, вместе
Собрались мы в школьном дому.

А в школе до этого часа,
Как начал сходиться народ,
Ребятам из старшего класса,
Нам было довольно хлопот.

Мы в ельник ходили гурьбою,
Что был на задах невдали,
Ломали морозную хвою,
Охапками в школу несли.

Недетской заботою — дети —
Мы были в то утро полны.
И ветки еловые эти
Не к празднику были нужны.

Не праздника ради мы сами
Спустили над школьной стеной
Знакомое красное знамя,
Подшив его черной каймой.

Помыла полы сторожиха,
И люди в назначенный срок
С надворья морозного тихо
Ступили на школьный порог.

И незачем было к порядку
Просить, как на сходке в селе,
Когда наш учитель тетрадку
Свою разложил на столе.

Никто не садился. Стояли.
И были, казалось, полны
Не только глубокой печали,
Но чувства какой-то вины.

Стояли в заплатанной грубо
Овчине, обвиснувшей с плеч.
Беззвучные двигались губы
У многих, что слушали речь.

А слушали с думой суровой
И строгостью горькой лица,
Чтоб всю, до единого слова,
Вместить бережливо в сердца.

Ту скорбную истовость схода
С годами я помню живей.
Великая сила народа
И вера мне видится в ней.

Не в ту ли годину прощанья
В своей ощутил он груди
Готовность на все испытанья,
Что ждали его впереди?

Не в горе ль своем молчаливом,
Поникнув тогда головой,
Уже он был полон порывом
На подвиг неслыханный свой?

Порывом на жертвы, на муку,
Что вряд ли под силу иным,
На трудную с прошлым разлуку,
На встречу с грядущим своим.

Порывом, исполненным страсти,
На чудо свершающий труд
И волей к нелегкому счастью
И славе, что с бою берут.

Не тем ли огнем устремленным
Горели сердца у людей
И в траурном зале Колонном,
И в школе далекой моей?

Да, в час, как навек провожали
Учителя, друга, отца,
В своей обрели мы печали
Решимость идти до конца.

2

Есть горе души одинокой,
Есть горе друзей и родни.
Живет оно в сердце до срока,
Хотя бы и долгие дни.

Но горе народа бессрочно,
И так велика его власть,
Что внукам оно правомочно
И правнукам на душу пасть.

Мы только в заботах о деле,
Завещанном нашей судьбе,
Печали предаться не смели
И боль подавляли в себе.

И если б мы были иными,
Согбенными горем своим,
Мы памяти б той изменили,
Которую свято храним.

А спросим друг друга, брат брата,
Товарищ товарища.— Нет!
Утрата осталась утратой,
И нету ей давности лет.

И может, что ближе мы к цели,
Указанной нам Ильичем,
Не меньше, чем прежде скорбели,
А больше мы будем о нем.

В трудах и боях возмужала
Советская наша земля,
Его мировая держава,
Свободных народов семья.

Ее благородным победам
История дань воздает.
И ею проложенным следом
Полмира сегодня идет.

Ей гимны слагают поэты
Всех сущих народов иных...
Ему бы увидеть все это,
Что видел он в думах своих.

Ему бы, ему бы, родному,
Подняться из гроба сейчас.
И горечь той мысли знакома,
Присуща любому из нас.

Не смеркнула скорбная дата,
Горит ее памятный свет.
Утрата осталась утратой,
И нету ей давности лет.

Бессрочна она и безмерна,
И мы ее в вечность несем.
Как Ленина дело бессмертно,
Так память бессмертна о нем.

3

Не тысяча лет миновала
С той памятной миру зимы,
Когда — от велика до мала —
Остались без Ленина мы;
Когда с ним столица прощалась
И каждое наше село.
Не тысяча лет насчиталась,
Но, может быть, больше прошло...

Я помню, в суровом молчанье,
С застывшею горечью лиц,
Из школьного зданья сельчане

В тот вечер домой разошлись.
И вот уже дверь сторожиха
Тихонько впотьмах заперла.
И стало пустынно и тихо
В том классе, где сходка была;
Где я по погоде жестокой
Остался один на почлег,
Тринадцатилетний, далекий
Теперь от меня человек —
В ушанке, в суконной поддевке,
Расчетливо сшитой на рост.
Но память об этой почевке
Я через все годы пронес...

Синели в окошке сугробы
Под лунным морозным лучом.
И вот я как будто у гроба
Остался один с Ильичем.

И страшным ничто не казалось
Мне в эти часы одному,
Но острая горькая жалость
Меня охватила к нему.

Пусть в давнюю эту годину
Я был еще попросту мал.
Я книжки его ни единой
Еще и в руках не держал.

Я видел его на портрете,
Я слышал от старших о нем
Не больше, чем сверстники-дети
В краю захолустном моем.

Но помню, от горя слабея,
Я с чувством единственным лег,
Что я его больше жалею,
Чем кто бы то ни было мог.
И что при нужде неминучей,
Как смерть ни страшна самому,
Уж лучше бы мне эта участь,
Но только б она не ему.
И если такою заменой
Уже не вернуть ничего,

Тогда я хочу непременно
Погибнуть за дело его.
Я буду служить ему честно,
Я всю ему жизнь посвящу,
Хотя и не будет известно
О том никогда Ильичу.

С горячей и чистой любовью
Я клятву свою произнес.
И сумка моя в изголовье
Намокла от радостных слез.
И к ней приникая устало,
Я так и уснул до утра.
Проснулся — уже рассветало,
Дрова принесли со двора.

А там свирепела погода,
Со стоном по улице шел
Январь незабвенного года...

В тот год я вступил в комсомол.

1948—1949

СВЕТ — ВСЕМУ СВЕТУ

Звонкой и жесткой
Осенью ранней
Видел я это
В лесном Предуралье.

Через отлогий
Увал каменистый
Просека вдаль
Уносилась, как выстрел.

И на далеком
Ее протяженье —
Дымы, дымки,
Копошенье, движенье.

Музыка, гомон,
Урчанье моторов.
Табор — не табор,
Город — не город.

Горное эхо
С гомоном слитно.
— Дай подойдем,
Поглядеть любопытно.

У котлованов —
Люди, повозки.
Черные, красные
С цифрами доски.

Радиорупор,
Сигнальные флаги.
Шумный рабочий
И праздничный лагерь.

Трактор и тачка,
Лом и лопата.
Бабий платок
И пилотка солдата.

Комбинезон
И треух деревенский.
Всяческий люд,
Но особенно женский.

Девушки в ватниках,
В обуви грубой.
Щеки пылают,
Обветрены губы.

С ними в ряду
За работой суровой
Мужние жены,
Солдатские вдовы.

Мерзлая глина
Звенит под киркою.
Дело не легкое,
Дело мужское.

Но, погляди,
Управляются быстро,
Искрами брызжется
Грунт каменистый.

Но погляди
На девчонок — не чудо ль?
Что за веселая,
Дружная удаль!

Вот на минутку
Спины расправят,
Прядки волос
Под косынку заправят,

Лица утрут —
И опять за лопаты.
— Хватит курить,
Мужики и ребята!

Головы в яме —
Вровень с краями.
Столб, как орудие,
Движется к яме.

Глина нарытая —
Груда на груде.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте,
Добрые люди.

Глазом окинь:
— Да откуда их столько?
— А из деревни,—
Народная стройка.

— Лихо копаете!
— Так и копаем.
Так и копаем,
Свет добываем.

Свет добываем,
Выводим на трассу.
Что-то мы вас
Не видали ни разу?

— Может, артисты?
Спойте!
Спляшите!
Ах, журналисты!
Ну, так пишите!

Вот и пишите,
Как мы копаем,
Лес прорубаем,
Свет добываем.

Все чтобы точно.
А мы почитаем,
Как мы копаем,
Свет добываем.

И, повторенное
Тысячеустно,
Слово гремит
По горам захолустным.

Слово звучит
Над разбуженным краем:
— Свет добываем!
— Свет добываем!

Селам, и школам,
И сельсовету.
И всему свету!
И всему свету!

1949

СЫНУ ПОГИБШЕГО ВОИНА

Солдатский сын, что вырос без отца
И раньше срока возмужал заметно,
Ты памятью героя и отца
Не отлучен от радостей заветных.

Запрета он тебе не положил
Своим посмертным образом суровым
На то, чем сам живой с отрадой жил,
Что всех живых зовет влекущим зовом...

Но если ты, случится как-нибудь,
По глупости, по молодости ранней
Решишь податься на постыдный путь,
Забыв о чести, долге и призванье:

Товарища в беде не поддержать,
Во чье-то горе обратить забаву,
В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать.
С недобрым другом поравняться славой,—

То прежде ты — завет тебе один,—
Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

1949—1951

МОСТ

В рассветный час во мгле сухой,
Одетый инеем Сибири,
Мост пробудился над рекой,
Одной из самых славных в мире.

И, бережно приняв экспресс,
С великой справившийся далью,
Под ним он грянул, как оркестр,
Своей озвученною сталью.

Гремела, пела эта сталь
Согласно и многоголосо.
И шла, как под резец деталь,
Громадой цельной под колеса.

И, над рекою вознесен,
Состав столичный медлил будто,
И из вагона тек в вагон
Озноб торжественной минуты...

А звон, а грохот возрастал.
Казалось, в этот мост певучий
Вмещал свой голос весь Урал,
Нет, весь металл страны могучей:

И гром иных ее мостов,
И горделивый скрежет кранов,
И пенье в поле проводов,
И тяжкий гул прокатных станов.

И стук движка в глухом краю,
Где стала жизнь людей светлее,
И танков рокот, что в строю
Проходят мимо Мавзолея.

Со всех концов родной земли
Все голоса, что есть в металле,
Сюда, казалось, дотекли
По чутким рельсам магистрали,—

Чтоб прозвучать им над рекой,
Загроможденной ледоставом,
Над берегами, над тайгой
В победном ритме величавом...

Великих лет бессмертный труд,
Твои высокие свершенья
Как будто песнь в себе несут
От нас в иные поколенья.

Как будто в завтра нашу весть
Несут — и с ней сегодня краше —
О том, что мы в грядущем есть:
Мосты, дворцы и песни наши!

...Еще один, другой пролет.
Река теснится в берег льдами.
И поезд по земле идет,
Но и земля поет под нами.

1950

ЖЕСТОКАЯ ПАМЯТЬ

Повеет в лицо, как бывало,
Соснового леса жарой,
Травою, в прокосах обвялой,
Землей из-под луга сырой.

А снизу, от сонной речушки,
Из зарослей — вдруг в тишине —
Послышится голос кукушки,
Грустящей уже о весне.

Июньское свежее лето,
Любимая с детства пора.
Как будто я встал до рассвета,
Скотину погнал со двора.

Я все это явственно помню:
Росы ключевой холодок,
И утро, и ранние полдни —
Пастушеской радости срок;

И солнце, пекущее спину,
Клонящее в сон до беды,
И оводов звон, что скотину
Вгоняют, как в воду, в кусты;

И вкус горьковато-медовый,—
Забава ребячьей поры,—
С облупленной палки лозовой
Душистой, прохладной мездры,

И все это юное лето,
Как след на росистом лугу,
Я вижу. Но памятью этой
Одною вздохнуть не могу.

Мне память иная подробно
Свои предъявляет права.
Опять маскировкой окопной
Обвялая пахнет трава.

И запах томительно тонок,
Как в детстве далеком моем,
Но с дымом горячих воронок
Он был перемешан потом;

С угарною пылью похода
И солью солдатской спины.
Июль сорок первого года,
Кипящее лето войны!

От самой черты пограничной —
Сражений грохочущий вал.
Там детство и юность вторично
Я в жизни моей потерял...

Тружусь, и живу, и старею,
И жизнь до конца дорога,
Но с радостью прежней не смею
Смотреть на поля и луга;

Росу обивать молодую
На стежке, заметной едва.
Куда ни взгляну, ни пойду я —
Жестокая память жива.

И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война.

1951

ЗА ОЗЕРОМ

За озером долго играла гармонь,
Как будто бы жалуясь кротко
На то, что еще неохота домой,
Что рано уснула слободка.

Там юность грустила, собою полна,
Своей непочатою силой,
Зеленая юность, чье детство война
Огнем на корню опалила.

Та юность, которой, казалось, не быть,
А вот она к сроку настала,
Чтоб жить, и желать, и дерзать, и любить,
И все — начиная сначала.

Та самая юность грустила. И — пусть,
Завидная, в сущности, доля,
Когда эта сладкая, краткая грусть
За сердце берет молодое.

Завидная доля — на том берегу,
С улыбкой, ко всем благодарной,
Устав танцевать на дощатом кругу,
Сидеть на скамейках попарно.

Попарно бродить в предрассветном дыму
За озером в парке старинном.
А грустно, по правде, лишь мне одному
И то — по особым причинам.

1951

* * *

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руке стоявшей криво.

Мы с ним дружили. Он любил меня.
Я тосковал, когда он был в отлучке,
И пряничного ждал себе коня,
Что он обычно приносил с получки.

И вот он умер, и в гробу своем,
Накрытом крышкой, унесен куда-то.
И нет его, а мы себе живем,—
То первая была моя утрата...

И словно вдруг за некоей чертой
Осталось детства моего начало.
Я видел смерть, и доля смерти той
Мне на душу мою ребячью пала.

И с той поры в глухую глубь земли,
Как будто путь туда открыт был дедом,
Поодиночке от меня ушли
Уже другие проторенным следом...

В январский холод, в летнюю жару,
В туман и дождь, с оркестром, без оркестра —
Одних моих собратьев по перу
Я стольких проводил уже до места.

И всякий раз, как я кого терял,
Мне годы ближе к сердцу подступали,
И я какой-то частью умирал,
С любым из них как будто числясь в паре.

И если б так же было на войне,
Где счет потерям более суровый,
Наверно б, жизни не хватило мне
И всем, что ныне живы и здоровы.

Но речь о том, что неизбежный час,
Как мне расстаться — малой части — с целым,
Как этот мир мне потерять из глаз,—
Не может быть моим лишь частным делом.

Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участье призовет —
И я один со смертью не останусь.

1951

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Что-то я начал болеть о порядке
В пыльном, лежалом хозяйстве стола:
Лишнее рву, а иное в тетрадки
Переношу, подшиваю в «дела».

Что ж, или все уж подходит к итогу
И затруднять я друзей не хочу?
Или опять я собрался в дорогу,
Выбрал маршрут, но покамест молчу?

Или гадаю, вступив на развилок:
Где меня ждет озаренье и свет
Радости той, что, быть может, я в силах
Вам принести, а быть может, и нет?..

Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму.
Только за мной остается решенье,
Что не принять за меня никому.

Я его принял с волненьем безвестным
И на себя, что ни будет, беру.
Дайте расчистить рабочее место
С толком, с любовью — и сразу к перу.

Но за работой, упорной, бессрочной,
Я моей главной нужды не таю:
Будьте со мною, хотя бы заочно,
Верьте со мною в удачу мою.

1951

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

На новых землях, в стороне, открытой
Для счастья людям, долго жизнь трудна.
И кажется она им необжитой,
И помнится иная сторона.

И нужен срок, чтоб здесь окорениться,
Чтоб жизнь иною памятью облечь,
И новым детям нужно здесь родиться,
И должно дедам в эту землю лечь...

Мы на себя по доброй воле взяли
Тот самый трудный новоселья срок,
Что все вмещает беды и печали
И радости нехоженых дорог.

Земле своей мы посвятили годы
Труда, терпенья, и давным-давно
Ее сады, поля, дворцы, заводы
И все, что нами здесь возведено,—

Все то, чему мы отдавали силы,
Чтоб устоять и победить на ней,
И наших братьев и отцов могилы —
Ее бойцов, ее богатырей,—

Навек сроднили нас с землею нашей.
И мы ей служим, чтоб и после нас
Ей все цвести зазывнее и краше,
Чтоб свет ее для мира не погас;

Чтоб, добытый в борьбе, в труде суровом,
Тот свет светил вперед, на много лет
И чтоб за нами поселенцам новым
Не все сначала повторять вослед.

1951

САМОМУ СЕБЕ

Пускай сегодняшний вчерашним
День обернется трудовой.
Он на счету твоем всегдашнем.
Он — жизнь, и ты при нем живой.

Пускай другой иначе судит —
Что жизнь на малый срок дана...
На тот же срок она да будет
Лишь делом избранным полна!

А если сил и жизни целой,
Готовой для любых затрат,
Не хватит вдруг, чтоб кончить дело,
То ты уже не виноват.

1951

О ПРОПИСКЕ

По всему Советскому Союзу,
Только б та задача по плечу,
Я мою уживчивую Музу
Прописать на жительство хочу.

Чтобы мне не ведать той печали,
Как ответят у иных ворот:
— Нет, не проживает. Не слыхали.
Номер дома, может быть, не тот.

Чтоб везде по селам и столицам
Отвечали на вопрос о ней:
— Как же, есть. Давнишняя жилица,—
И улыбки были б у людей.

Чтоб глаза у стариков яснели,
Чтобы к слову вставил не один:
— Мы еще на фронте были с нею,
Вместе помним Вязьму и Берлин.

Чтоб детишки из любого дома,
Если к ним случайно обращусь,
Говорили б:
— Как же, мы знакомы
И немножко знаем наизусть.

Чтобы не с почтеньем, а с любовью
Отзывалось каждое жилье:
— Здесь она. На доброе здоровье
Здесь живет. А как же без нее?

Вот тогда, как отзыв тот желанный,
Прозвучит о ней, моей родной,
Я и сам пропиской постоянной
Обеспечен буду под луной.

1951

* * *

Весенний, утренний, тоненький
Ледок натянуло сеткой,
Но каплет с каждой соломинки,
С каждой ветки.

Поет по-зимнему улица,
Но свету — что летним днем.
И, как говорится, курица
Уже напилась под окном.

И звонкую, хрупкую,
Набравшись силы в ночи,
Чуть солнце — уже скорлупку
Проклюнули ручьи.

Весна сугробы подвинула,
Плотнее к земле примяв.
И зелень коры осиновой —
Предвестье зелени трав.

Апрельским ветром подунуло,
Запахли водой снега.
И дело свое задумала
Река, упершись в берега.

Ей грезится даль раздольная,
Ее минута близка...
Грохочет крылечко школьное,
Едва дождавшись звонка.

Давай, начинай, разламывай
Натоптанный лед рябой...

А что, если снова заново,
С начала самого
Начать нам жить с тобой?..

1951

ПРИЗНАНИЕ

Я не пишу давно ни строчки
Про малый срок весны любой;
Про тот листок из зимней почки,
Что вдруг живет, полуслепой;
Про дым и пух цветенья краткий,
Про тот всегда нежданный день,
Когда отметишь без оглядки,
Что отошла уже сирень;
Не говорю в стихах ни слова
Про беглый век земных красот,
Про запах сена молодого,
Что дождик мимо пронесет,
Пройдясь по скошенному лугу;
Про пенье петушков-цыплят,
Про журавлей, что скоро к югу
Над нашим летом пролетят;
Про цвет рябиновый заката,
Про то, что мир мне все больней,
Прекрасный и невиноватый
В утрате собственной моей;

Что доля мне теперь иная,
Иной, чем в юности, удел,—
Не говорю, не сочиняю.
Должно быть — что ж? — помолодел!

Недаром чьими-то устами
Уж было сказано давно
О том, что молодость с годами
Приходит. То-то и оно.

1951

О ЮНОСТИ

Мы знаем грядущему цену
И знаем, что юность права,
Не как молодая трава,
Что старой приходит на смену,
Чтоб так же отжить до зимы.

Нет, юность с другою задачей
В наш след заступает горячий,
В то дело, что начали мы,
К заветной направившись цели.

Дано ей на том же пути
За нами, но дальше идти,
Исполнить, что мы не успели,
И вспомнить, возможно, о нас
С вершины иных пятилеток —
О наших героях, поэтах,
Министрах — с улыбкой подчас.

Но пусть она, юность родная,
Поднявшись стремительно ввысь,
Не вздумает там занестись,
Отметки отцам выставляя.

Нет, пусть она в душу возьмет,
Что в славе ее безграничной
Мы все же повинны частично
И знали о ней наперед.

И знали о ней и мечтали,
Когда еще были юнцы,
А ранее — наши отцы
Смотрели в те самые дали.

И, подвиг свершая один
За времени навесью дымной,
Без нас они брали свой Зимний,
А мы еще с ними — Берлин.

Ей, юности, также известно,
Что мы без нее для Земли
Урало-Кузбасс возвели,
А Волгу впрягаем совместно.

И пусть еще юность учтет,
Что следом за нею иная,
Грядущая юность идет,
Ее на работе сменяя,
Неся назначенье свое.

А нам — так и той не завидно,
А нам и ее уже видно,—
И мы не старее ее.

1951

НОВОСЕЛЬЕ

— Новоселье! Дом — картинка.
Жаль, что мне-то, старику,
Новоселье не в новинку,
Не впервые на веку.

Как пришли еще с гражданской,
Тотчас с батькой за топор.
Под боком лесок был панский,—
Вот и хата и простор:

Брату каждому окошко.
Раздается вширь семья,
То да се, пошла дележка,—
Стройка новая моя.

Год, другой, — опять потеха:
Хутора пошли у нас.
Надо с хатой в поле ехать —
Новоселье в третий раз.

Поугрелось место в поле,
Под окошком сад подрос,
Пообвык на волчьей воле,—
Вдруг колхоз. Ну что ж,— в колхоз.

И опять в дорогу хата.
Разобрали — соберем.
А мои уже ребята
Подросли. И что им дом!

Остаемся со старухой,
Тоже праздник не велик.
А пришла война — разруха,—
Стройся заново, старик.

Запрягайся в ту же лямку.
Ну да что ж, куда ни шло.
Дом не дом, пускай землянку
Оборудовал. Тепло.

Год, другой — в земле, в потемках.
Подтащил леску, досок.
Оборудовал хатенку —
В два оконца свет потек.

По годам не до иного,
Как угрелся, так и рай.
Глядь, пошел поселок новый,—
Вылезай, переезжай.

Спору нету: дом — картинка,
Только жаль, что старику
Новоселье не в новинку,
Не впервые на веку.

А для радости-веселья,
Это верные слова,
Лучше нет, как новоселье
В жизни раз. От силы два.

Хоть кому прикинуть, взвесить:
Хата, вроде как жена:
Для чего их пять да десять,
Будь хорошая одна?

Дом — как дом. Крылечко. Сени.
Все не на день — на года.
Все мне в жизни новоселье.
Это — да. А жить когда?

Впрочем, что же: дом — хозяйство.
Есть завет на случай сей:
Ты хоть завтра собирайся
Помирать, а жито сей!

1955—1959

* * *

Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока:
Моя задолженность меня
Преследует жестоко.

У стольких душ людских в долгу,
Живу, бедой объятый:
А вдруг сквитаться не смогу
За все, что было взято!

За то добро, за то тепло,
Участье и пристрастье,
Что в душу мне от них вошло,
Дало изведать счастье.

Сдается часом: заплачу,
Покрою все до строчки;
А часом: нет, не по плечу,
И вновь прошу отсрочки.

И вновь становятся в черед
Сомненье, сил упадок.
Беда! А выйду на народ:
— Ну, как? — Бодрюсь: — Порядок...

И устаю от той игры,
От горького секрета,
Как будто еду до поры
В вагоне без билета.

Как будто я какой злодей,
Под страхом постоянным,
Как будто лучших я друзей
К себе привлек обманом.

От мысли той невмоготу
И тяжелей усталость.
Вот подведут они черту,
И — вдруг — один останусь.

И буду, сам себе ровня́,
Один, в тоске глубокой.
Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока.

За что же мне такой удел,
Вся жизнь — из суток в сутки?..

...А что ж ты, собственно, хотел?
Ты думал: счастье — шутки?

1955

* * *

Час рассветный подъема,
Час мой ранний люблю.
Ни в дороге, ни дома
Никогда не просплю.

Для меня в этом часе
Суток лучшая часть:
Непочатый в запасе
День, а жизнь началась.

Все под силу задачи,
Всех яснее одна.
Я хитер, я богаче
Тех, что спят допоздна.

Но грустнее начало
Дня уже самого.
Мне все кажется, мало
Остается его.

Он поспешно убудет,
Вот и на бок пора.
Это молодость любит
Подлинней вечера.

А потом, хоть из пушки
Громыхай под окном.
Со слюной на подушке
Спать готова и днем.

Что, мол, счастье дневное —
Не уйдет, подождет.
Наше дело иное,
Наш скупее расчет.

И другой распорядок
Тех же суток у нас.
Так он дорог, так сладок,
Ранней бодрости час.

1955

* * *

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок.

Недвижной гладью прикинутся,
И разом — в сырой ночи́
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.

И, сонная, талая,
Земля обвянет едва,
Листву прошивая старую,
Пойдет строчить трава.

И с ветром нежно-зеленая
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесенная,
Как тень, коснется лица.

И сердце почует заново,
Что свежесть поры любой
Не только была, да канула,
А есть и будет с тобой.

1955

* * *

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.

И за твоею мглой безгласной,
Мы — здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны,—
Иного смерти не дано.

И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.

И как бы ни был провод тонок —
Между своими связь жива.

Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..

1955

* * *

Не много надобно труда,
Уменья и отваги,
Чтоб строчки в рифму, хоть куда,
Составить на бумаге.

То в виде елочки густой,
Хотя и однобокой,
То в виде лесенки крутой,
Хотя и невысокой.

Но бьешься, бьешься, так и сяк —
Им не сойти с бумаги.
Как говорит старик Маршак:
— Голубчик, мало тяги...

Дрова как будто и сухи,
Да не играет печка.
Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка.

Пеняешь ты на неуспех,
На козни в этом мире:
— Чем не стихи? Не хуже тех
Стихов, что в «Новом мире».

Но совесть, та исподтишка
Тебе подскажет вскоре:
Не хуже — честь невелика,
Не лучше — вот что горе.

Покамест молод, малый спрос:
Играй. Но бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.

1955

* * *

Спасибо, моя родная
Земля, мой отчий дом,
За все, что от жизни знаю,
Что в сердце ношу своем.

За время, за век огромный,
Что выпал и мне с тобой,
За все, что люблю и помню,
За радость мою и боль.

За горечь мою и муку,
Что не миновал в пути.
За добрую науку,
С которой вперед идти.

За то, что бессменно, верно
Тебе служить хочу,
И труд мне любой безмерный
Еще как раз по плечу.

И дерзкий порыв по праву,
И сил не занимать,
И свято на подвиг право
Во имя твое, во славу
И счастье, отчизна-мать.

1955

* * *

В свеченье славы самобытной
Москва со временем в ладу,
Она печать его не скрытно
Издревле носит на виду.

На ней черты его и вехи,
И в камне — песнь о городах,
Чьи имена в иные веки
У мира были на устах.

В самолюбивом этом стане
Столиц — верна своей судьбе,
Она и то́, и то́ местами,
Сама, однако, по себе.

Сама — своя, сама — большая,
Стоит, растет и вширь и ввысь,
Порой и недругу внушая
О пей не мелочную мысль.

1955

МОИМ КРИТИКАМ

Всё учить вы меня норовите,
Преподать немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная: что можно, что нет.

Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?..

1956

* * *

Не просто случай славы тленной
С иными случаями в счет —
Ступить за тот порог Вселенной,
Что вечность глухо стережет;

Где дальних солнц теснятся чащи,
Миров безмолвных тьмы и тьмы...
Всего людского рода счастье,
Что этот шаг ступили мы.
Недаром в мире планетарном
На этот мирный позывной
Глубоким вздохом благодарным
Ты отозвался, шар земной.

1957

* * *

Та кровь, что пролита недаром
В сорокалетний этот срок,
Нет, не иссякла вешним паром
И не ушла она в песок.

Не затвердела год от года,
Не запеклась еще она.
Та кровь подвижника-народа
Свежа, красна и солона.

Ей не довольно стать зеленой
В лугах травой, в садах листвой,
Она живой, нерастворенной
Горит, как пламень заревой.

Стучит в сердца, владеет нами,
Не отпуская ни на час,
Чтоб наших жертв святая память
В пути не покидала нас.

Чтоб нам, внимая славословью,
И в праздник нынешних побед
Не забывать, что этой кровью
Дымится наш вчерашний след.

И знать, что к бою правомочна
Она призвать нас вновь и вновь...

Как говорится: «Дело прочно,
Когда под ним струится кровь».

1957

ДВЕ ОКИ

Река Ока,
Но не эта,—
Другая река,
В другой части света.

Кругом тайга,
Глухи берега,
Угрюмы воды.
А эта Ока
Далека-далека,
Как детства годы.

В дали своей
Течет, мелея.
Она и теплей,
И теплей, и светлей,
И куда милее.

И весь он мил
До малой приметы
Тот край, тот мир,
Обжитый, угретый,
В песнях воспетый.

В пойме Оки —
Луга, ивняки;
Повыше — нивы;
В селе, в городке
Сбегают к реке
Вишни, сливы.

Ее берега
Светлы, привольны.
А тут — тайга,
Тайга и тайга
В притеми хвойной.

У этой реки
В глубине Сибири,
У этой Оки,
Безвестной в мире,

Всего и есть
Вся ее слава
И вся ее честь —
Пора лесосплава...

Так мало людей
В стране огромной,
Кто бы о ней,
Как о родной, вспомнил.

О родной реке,
Сибирской Оке,
Полноводной, могучей,
Что шумит вдалеке,
В иркутской тайге,
Под береговой кручей.

Чтоб в иной стороне
Теплее стало,
Как нынче мне
При мысли о старой
Оке, чьи воды
От этой реки
Далеки-далеки,
Как детства годы...

1957

РАЗГОВОР С ПАДУНОМ

Ты все ревешь, порог Падун,
Но так тревожен рев:
Знать, ветер дней твоих подул
С негаданных краев.
Подул, надул — нанес людей:
Кончать, старик, с тобой,
Хоть ты по гордости твоей
Как будто рвешься в бой.

Мол, сила силе не ровня:
Что — люди? Мол. Мошка́.
Им, чтоб устать, довольно дня,
А я не сплю века.

Что — люди? Кто-нибудь сравни,
Затеяв спор с рекой.
Ах, как медлительны они,
Проходит год, другой...
Как мыши робкие, шурша,
Ведут подкоп в земле
И будто нянчат груз ковша,
Качая на стреле.
В мороз — тепло, в жару им — тень
Подай: терпеть невмочь,
Подай им пищу, что ни день,
И крышу, что ни ночь.
Треть суток спят, встают с трудом,
Особо если тьма.
А я не сплю и подо льдом,
Когда скует зима.
Тысячелетья песнь мою
Пою горам, реке.
Плоты с верховья в щепки бью,
Встряхнувшись налегке.
И за несчетный ряд годов,
Минувших на земле,
Я пропустил пять-шесть судов,—
Их список на скале...
И челноку и кораблю
Издревле честь одна:
Хочу — щажу, хочу — топлю,—
Все в воле Падуна.
О том пою, и эту песнь
Вовек не перепеть:
Таков Падун, каков он есть,
И был и будет впредь.
Мой грозный рев окрест стоит,
Кипит, гремит река...

Все так. Но с похвальбы, старик,
Корысть невелика.
И есть всему свой срок, свой ряд,
И мера, и расчет.
Что — люди? Люди, знаешь, брат,
Какой они народ?
Нет, ты не знаешь им цены,
Не видишь силы их,

Хоть и слова твои верны
О слабостях людских...
Все так: и краток век людской,
И нужен людям свет,
Тепло, и отдых, и покой,—
Тебе в них ну́жды нет.
Еще не все. Еще у них,
В разгар самой страды,
Забот, хлопот, затей иных
И дела — до беды.
И полудела, и причуд,
И суеты сует,
Едва шабаш,—
Кто — в загс,
Кто — в суд,
Кто — в баню,
Кто — в буфет...
Бегут домой, спешат в кино,
На танцы — пыль толочь.
И пьют по праздникам вино,
И в будний день не прочь.
И на работе — что ни шаг,
И кто бы ни ступил —
Заводят множество бумаг,
Без них им свет не мил.
Свой навык принятый храня
И опыт привозной,
На заседаньях по три дня
Сидят в глуши лесной.
И буквы крупные любя,
Как будто для ребят,
Плакаты сами для себя
На соснах громоздят.
Чуть что — аврал: «Внедрить! Поднять —
И подвести итог!»
И все досрочно,— не понять:
Зачем не точно в срок?..
А то о пользе овощей
Вещают ввысоке
И славят тысячи вещей,
Которых нет в тайге...
Я правду всю насчет людей

С тобой затем делю,
Что я до боли их, чертей,
Какие есть, люблю.

Все так. И тот мышиный труд —
Не бросок он для глаз.
Но приглядись, а нет ли тут
Подвоха про запас?
Долбят, сверлят — за шагом шаг —
В морозы и жары.
И под Иркутском точно так
Все было до поры.
И там до срока все вокруг
Казалось — не всерьез.
И под Берлином — все не вдруг,
Все исподволь велось...
Ты проглядел уже, старик,
Когда из-за горы
Они пробили бечевник
К воротам Ангары.
Да что! Куда там бечевник! —
Таежной целиной
Тысячеверстный — напрямик —
Проложен путь иной.
И тем путем в недавний срок,
Наполнив провода,
Иркутской ГЭС ангарский ток
Уже потек сюда.
Теперь ты понял, как хитры,
Тебе не по нутру,
Что люди против Ангары
Послали Ангару.
И та близка уже пора,
Когда все разом — в бой.
И — что Берлин,
Что Ангара,
Что дьявол им любой!
Бетон, и сталь, и тяжкий бут
Ворота сузят вдруг...
Нет, он недаром длился, труд
Людских голов и рук.
Недаром ветер тот подул.
Как хочешь, друг седой,

Но близок день, и ты, Падун,
Умолкнешь под водой...
Ты скажешь: так тому и быть;
Зато удел красив:
Чтоб одного меня побить —
Такая бездна сил
Сюда пришла со всех сторон;
Не весь ли материк?
Выходит, знали, что силен,
Робели?.. Ах, старик,
Твою гордыню до поры
Я, сколько мог, щадил:
Не для тебя, не для игры,—
Для дела — фронт и тыл.
И как бы ни была река
Крута — о том не спор,—
Но со всего материка
Трубить зачем же сбор!
А до тебя, не будь нужды,
Так люди и теперь
Твоей касаться бороды
Не стали бы, поверь.
Ты присмирел, хоть песнь свою
Трубишь в свой древний рог.
Но в звуках я распознаю,
Что ты сказать бы мог.

Ты мог бы молвить: хороши!
Всё на одни весы:
Для дела всё. А для души?
А просто для красы?
Так — нет?.. Однако не спеши
Свой выносить упрек:
И для красы и для души
Пойдет нам дело впрок...
В природе шагу не ступить,
Чтоб тотчас, так ли, сяк,
Ей чем-нибудь не заплатить
За этот самый шаг...
И мы у этих берегов
Пройдем не без утрат.
За эту стройку для веков
Тобой заплатим, брат.

Твоею пенной сединой,
Величьем диких гор.
И в дар Сибири свой — иной
Откроем вдаль простор.
Морская ширь — ни дать ни взять —
Раздвинет берега,
Байкалу-батюшке под стать,
Чья дочь — сама река.
Он добр и щедр к родне своей
И вовсе не беда,
Что, может, будет потеплей
В тех берегах вода.
Теплей вода,
Светлей места,—
Вот так, взамен твоей,
Придет иная красота,—
И не поспоришь с ней...
Но кисть и хитрый аппарат
Тебя, твой лик, твой цвет
Схватить в натуре норовят,
Запечатлеть навек.
Придет иная красота
На эти берега.
Но, видно, людям та́ и та́
Нужна и дорога́.

Затем и я из слов простых
И откровенных дум
Слагаю мой прощальный стих
Тебе, старик Падун.

1958

О СУЩЕМ

Мне славы тлен — без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна моя на свете часть;
От уходящей в детство стежки
В бору пахучей конопли;
От той березовой сережки,
Что майский дождь прибьет в пыли;

От моря, моющего с пеной
Каменья теплых берегов;
От песни той, что юность пела
В свой век — особый из веков;
И от беды и от победы —
Любой людской — нужна мне часть,
Чтоб видеть все и все изведать,
Всему не издали учась...
И не таю еще признанья:
Мне нужно, дорого до слез
В итоге — твердое сознанье,
Что честно я тянул мой воз.

1957—1958

СОБРАТЬЯМ ПО ПЕРУ

В деле своем без излишней тревоги
Мы затвердили с давнишней поры
То, что горшки обжигают не боги,
Ну, а не боги, так — дуй до горы.

Только по той продвигаясь дороге,
Нам бы вдобавок усвоить пора:
Верно, горшки обжигают не боги,
Но обжигают их — мастера!

1958

* * *

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых,— знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

1958

МОСКОВСКОЕ УТРО

Москва по утрам
обновляется чудно:
Еще не шумна,
не пыльна, малолюдна;
Подернута дымкой
в разводах белесых,
Где дождь по асфальту
прошел на колесах;
Насыщена запахом
булочных ранних,
Где белый — как сдоба,
и черный — как пряник;
Остужена тенью
своих корпусов;
Озвучена боем
кремлевских часов.

И весь этот мир,
этот утренний город,
Мне нынче особенно
близок и дорог.
Надев мои новые
брюки в полоску,
К газетному я
направляюсь киоску.
Газету мне почта
доставит и на́ дом,
Но мне ее видеть
на улице надо,
В случайном составе
того коллектива,
Где очередь я
занимаю учтиво.

И скукой томиться
там нету причины:
Газету как раз
выгружают с машины.
А что там сегодня
на третьей странице,
Еще никому
не известно в столице.
А я хоть и знаю
от строчки до строчки,
Но скромно молчу,
продвигаясь в цепочке.
Хотя эта скромность —
признаться ли в том? —
Она мне дается
с немалым трудом.

Давно я немолод,
но, странное дело,
В одном остаюсь я
парнишкой всецело,
Тем самым, что где-то,
далеко отсюда,
Впервые познал
это сладкое чудо —
Увидеть свой вымысел,
скрытно рожденный,
Печатными буквами
вдруг утвержденный
И распространенный,
объявленный разом
С уборочной сводкой,
Верховным указом,
Ученой статьей
и последнею самой
Парижской ли,
лондонской там телеграммой,
Итоговым счетом
футбольных работ...
Но что это? Нет?
Или номер не тот?

Уже впереди
развернули газету,
На третьей странице —
стихов моих нету.
Да, так-таки нету.
И сердце упало...
А люди вокруг —
как ни в чем не бывало:
Тот прячет газету
в портфель для утехи —
В служебное время
прочесть без помехи;
А этой серьезной,
порывистой тете —
Ей некогда будет
читать на работе,—
Она, как и многие,
мигом, на месте,
Срывает верхушки
последних известий,
Себя сберегая
для нынешних дел...
Зачем же я новые
брюки надел?..

И чувство вины,
и стыда, и просчета
Меня охватило.
Какого же черта!..
Как будто свой поезд
прохлопав ушами,
Остался дурак
на перроне в пижаме:
За поездом, что ли,
бежать ему вслед?
Он думал, что едет,
а вышло, что нет...
Какого же черта!..
Ведь ночью недавней
Звонил мне редактор,
не просто, а главный.
Я к трубке приникнул —
не часто такое,—

И слышу: — Простите,
что вас беспокою.
Хоть службу ночную
мы сами несем,
Но знаем, как дорог
ваш творческий сон.—
И против обычных
редакторских правил
С удачей меня
троекратно поздравил.
Мол, знаете сами,
не мастер хвалить я,
Но это в поэзии —
просто событье.
Этап. И ступень.
И значительный шаг...

Слова эти
так и горели в ушах.
Хотя, если вспомнить,—
я с первой минуты
Почуял, что главный
подводит к чему-то;
И вот уже вывел
на самую кромку,
Внизу для меня
подстеливши соломку:
— Печатаем, как же!
За мелочью дело...—
И трубка в руке
у меня запотела.
Я слышу, как главный
закашлял неловко:
— Вы знаете, все-таки...
эта концовка...
Прочтите-ка сами —
не слева направо,
А справа налево:
двусмысленно, право...

Мой голос дрожит
от обиды и гнева:
— Простите, зачем же
мне справа налево

Читать эти строчки,
размысливши здраво,
Когда полагается —
слева направо?
— Конечно, конечно,—
и главный согласен,
Что смысл, если так,
безупречен и ясен.
— Но мы о читателе
думать должны.
(Как будто читатель —
он прибыл с луны!)
Мол, этот вопрос —
он возник мимоходом,
Поскольку мы тут
совещались с народом.

Я диву даюсь:
ну зачем он мне врет?
Какой там сейчас
в кабинете народ!
И мне ли не знать,
что на самом-то деле
Народ по ночам
пребывает в постели.
А тот, что на вахте
иль в смене ночной,
Он занят своею
задачей прямой.

Но именно данную
часть разговора
Я как-то из памяти
выпустил скоро.
А то, что я в трубке
услышал сначала,
В душе моей внятно
и сладко звучало:
«Печатаем, как же!
За мелочью дело...»
Но мелочь, я думал,
сама отлетела...

И утром поднялся,
доволен и светел,
И новыми брюками
дату отметил.
И бодрой походкой
на улицу вышел,
А как обернулось —
рассказано выше...
Но утро есть утро,
и день — это дело.
Москва поднялась,
зашумела, запела,
Затмилась пыльцой
и дымком зачадила,
Но жизни полна,
величава на диво!..

Досада моя
рассосалась помалу.
К столу! — как другие к станку
иль штурвалу.
К труду! — и забудь
в горделивом терпенье
Про все те «этапы»,
«шаги» и «ступени».
Но строки души
и любви не лукавой
Пиши, как положено,—
слева направо.
И помни в работе,
единой со всеми,
Что главный редактор —
великое время,—
Не в далях иных,
за посмертной страницей,
А время, что нынче —
в селе и в столице.
И ты не считай,
что, родившись в сорочке,
Ему не обязан
от строчки до строчки.
Обязан кругом —
и завидной планидой,

И славой своей,
и минучей обидой.
Оно и обиду
по чести рассудит,
А если не вдруг,
так тебя не убудет.
Не так ты уж беден
и в нынешнем разе:
Не все на прилавке,
а есть и на базе!..

Ах, время, родное,
великое время,
Солгу по расчету —
лупи меня в темя!
А если подчас
оступлюсь пенароком —
Учи меня мудрым
уроком-упреком.
Приму его сердцем,
учту его честно,
В строю не замедлю
занять свое место.
Когда я с тобою,
мне все по плечу,
Ты скажешь —
я горы тебе сворочу.

1957—1959

* * *

Не хожен путь
И не прост подъем,
Но будь ты большим иль малым.
А только — вперед,
За бегущим днем,
Как за огневым валом,

За ним, за ним,—
Не тебе одному
Бедой грозит передышка,—
За валом огня.

И плотней к нему.
Сробел и отстал —
Крышка!

Такая служба твоя, поэт,
И весь ты в ней без остатка.
— А страшно все же?
— Еще бы — нет!
И страшно порой.
Да — сладко!

1959

* * *

Жить бы мне век соловьем-одиночкой
В этом краю травянистых дорог,
Звонко выщелкивать строчку за строчкой,
Циклы стихов заготавливать впрок.

О разнотравье лугов непримятых.
Зорях пастушьих, угодьях грибных.
О лесниках-добряках бородатых.
О родниках и вечерних закатах.
Девичьих косах и росах ночных...

Жить бы да петь в заповеднике этом,
От многолюдных дорог в стороне,
Малым, недальним довольствуясь эхом —
Вот оно, счастье. Да, жаль, не по мне.

Сердцу иному причастно всецело,
Словно с рожденья кому подряжен
Браться с душой за нелегкое дело,
Биться, беситься и лезть на рожон.

И воспевать, надрываясь до страсти,
С болью, с тревогой за нынешним днем.
И обретать беспокойное счастье
Не во вчерашнем, а именно в нем...

Да! Но скажу я: без этой тропинки,
Где оставляю сегодняшний след,
И без росы на лесной паутинке —
Памяти нежной ребяческих лет,—
И без иной — хоть ничтожной — травинки
Жить мне и петь мне? Опять-таки — нет...

Не потому, что особой причуде
Дань отдаю в этом тихом краю.
Просто — мне дорого все, что и людям,
Все, что мне дорого, то и пою.

1959

* * *

Некогда мне над собой измываться,
Праздно терзаться и даром страдать.
Делом давай-ка с бедой управляться,
Ждут сиротливо перо и тетрадь.

Некогда. Времени нет для мороки,—
В самый обрез для работы оно.
Жесткие сроки — отличные сроки,
Если иных нам уже не дано.

1959

ДОРОГА ДОРОГ

Дорога дорог меж двумя океанами,
С тайгой за окном иль равнинами голыми,
Как вехами, вся обозначена кранами —
Стальными советского века глаголями.

Возносят свое многотонное кружево
Они над землей — не вчера ли разбуженной,
Сибирью, по фронту всему атакуемой,
С ее Погорюй — Потоскуй — Покукуями.
Встают над тылами ее необжитыми,
Что вдруг обернулись «Магнитками» новыми,
Над стройками, в мире уже знаменитыми,
И теми, что даже не наименованы.

Краина, что многих держав поместительней,
Ты вся, осененная этими кранами,
Видна мне единой площадкой строительной,
Размеченной грубо карьерами рваными;
Вразброс котлованами и эстакадами,
Неполными новых проспектов порядками,
Посадками парков, причалами, складами,
Времянками-арками и танцплощадками.

В места, по прозванью, не столь отдаленные,
Хотя бы лежали за дальними далями,
И нынче еще не весьма утепленные
Своими таежными теплоцентралями,—
В места, что под завтрашний день застолбованы,
Вступает народ, богатырь небалованный.

Ему — что солдату на фронте — не в новости
Жары и морозы железной суровости,
Приварок, в поэмах и песнях прославленный,
И хлеб, тягачами на место доставленный.

Не стать привыкать — за привалами редкими —
Ему продвигаться путями неторными.
Он для семилетки взращен пятилетками
И целой эпохи походными нормами;
Годами труда, переменами столькими;
Краями, для дел богатырских привольными;
Своими большими и малыми стройками —
В прослойку с большими и малыми войнами.

Какие угрюмые горы с ущельями
В снегах прогревая бивачными дымами,
Прошел он навылет стволами-тоннелями,
Мостами сцепив берега нелюдимые!
В какие студеные дебри суровые
Врубаясь дорог протяженными клиньями,
Он ввез города на колесах готовые,
К столицам своим подключив их на линии!

Он знает про силу свою молодецкую,
Народ, под великий залог завербованный,
Все может! И даже родную советскую
Словцом помянуть, с топора окантованным.

Хозяин! А время крутое, рабочее —
Не время для слов умилительной кротости.
Вселенная — пусть она встала на очередь,
Забот на Земле остается до пропасти.
Простора довольно для нынешних подвигов.
Что в завтрашнем блеске со счету не сбросятся.

...А где мое слово, что было бы подлинным,
Тем самым, которое временем спросится?

Пускай оно будет не самое громкое,
Но только бы правдой бестрепетной емкое.

Пускай не из стали оно, не навечное,
Но только бы слово от сердца, сердечное.

Простое, земное — пускай не надзвездное,
Веселое к месту и к месту серьезное.

Но только бы даль в нем была богатырская,
Как русское это раздолье сибирское;

Как эта моя, осененная кранами,
Дорога дорог меж двумя океанами.

1959

ГОРНЫЕ ТРОПЫ

Горные тропы моложе
Ныне исчезнувших рек,
Чье отслужившее ложе
В дебрях обрел человек.

Но до него, следопыта,
Задолго — всякой тропой
Лапы зверей и копыта
След обозначили свой.

Правда, при первой разведке
Он для маршрутов своих
Разные сделал отметки —
Звери не ведали их.

Следом за ним поколенья
Долгим тянулись гуськом,
Чтобы с дороги каменья
Сдвинуть в сторонку рядком.

И, применяя расчеты,
Где подсказала нужда,
С толком спрямить повороты,
Что навихляла вода.

Тысячелетья успели
В эти улечься пласты,
Чтобы пробить здесь тоннели,
Вымахнуть резко мосты...

Так что — какой бы тропою
Ты по земле ни ступил,
Ведай, что перед тобою
Здесь уже кто-нибудь был.

Некие знаки оставил —
Память разведки своей.
Пусть он себя не прославил,
Сделал тебя он сильней.

Знай и в работе примерной:
Как бы ты ни был хорош,
Ты по дороге не первый
И не последний идешь.

1960

КОСМОНАВТУ

Когда аэродромы отступленья
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой
Впервые новичкам из пополненья
Давали старт на вылет боевой,—

Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век,—
Там тоже, отправляясь на заданье,
В свой космос хлопцы делали разбег.

И пусть они взлетали не в ракете
И не сравнить с твоею высоту,
Но и в своем фанерном драндулете
За ту же вырывался черту.

За ту черту земного притяженья,
Что ведает солдат перед броском,
За грань того особого мгновенья,
Что жизнь и смерть вмещает целиком.

И может быть, не меньшею отвагой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоил подвиг в будний день войны.

Но не затем той памяти кровавой
Я нынче вновь разматываю нить,
Чтоб долею твоей всемирной славы
И тех героев как бы оделить.

Они горды, они своей причастны
Особой славе, принятой в бою,
И той одной, суровой и безгласной,
Не променяли б даже на твою.

Но кровь одна, и вы — родные братья,
И не в долгу у старших младший брат.
Я лишь к тому, что всей своею статью
Ты так похож на тех моих ребят.

И выправкой, и складкой губ, и взглядом,
И этой прядкой на вспотевшем лбу...
Как будто миру — со своею рядом —
Их молодость представил и судьбу.

Так сохранилась ясной и нетленной,
Так отразилась в доблести твоей
И доблесть тех, чей день погас бесценный
Во имя наших и грядущих дней.

1961

* * *

Оркестры смолкли, отзвучали речи,
Парадных флагов свернут пестрый фронт.
И этот гром неповторимой встречи,
Как гром грозы, ушел за горизонт.

И новый подвиг совершился в мире,
И новый праздник грянул на порог.
Он был еще торжественней и шире
И только первым быть уже не мог.

1961

СЛОВО О СЛОВАХ

Когда серьезные причины
Для речи вызрели в груди,
Обычной жалобы зачина —
Мол, нету слов — не заводи.

Все есть слова — для каждой сути,
Все, что ведут на бой и труд,
Но, повторяемые всуе,
Теряют вес, как мухи мрут.

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь — до дна,
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

Вот почему, земля родная,
Хоть я избытком их томим,
Я, может, скупо применяю
Слова мои к делам твоим.

Сыновней призванный любовью
В слова облечь твои труды,
Я как кощунства — краснословья
Остерегаюсь, как беды.

Не белоручка и не лодырь,
Своим кичащийся пером,—
Стыжусь торчать с дежурной одой
Перед твоим календарем.

Мне горек твой упрек напрасный.
Но я в тревоге всякий раз:
Я знаю, как слова опасны,
Как могут быть вредны подчас;

Как перед миром, потрясенным
Величьем подвигов твоих,
Они, слова, дурным трезвоном
Смущают мертвых и живых;

Как, обольщая нас окраской,
Слова-труха, слова-утиль
В иных устах до пошлой сказки
Низводят сказочную быль.

И я, чей хлеб насущный — слово,
Основа всех моих основ,
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал;
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал;

Чтоб не мешать зерна с половой,
Самим себе в глаза пыля;
Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял,—
Нет, слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

1962

* * *

Есть книги — волею приличий
Они у века не в тени.
Из них цитаты брать — обычай —
Во все положенные дни.

В библиотеке иль читальне
Любой — уж так заведено —
Они на полке персональной
Как бы на пенсии давно.

Они в чести.
И не жалея
Немалых праздничных затрат,
Им обновляют в юбилеи
Шрифты, бумагу и формат.

Поправки вносят в предисловья
Иль пишут на́ново, спеша.
И — сохраняйтесь на здоровье,—
Куда как доля хороша.

Без них чредою многотомной
Труды новейшие, толпясь,
Стоят у времени в приемной,
Чтоб на глаза ему попасть;
Не опоздать к иной обедне,
Не потеряться в тесноте...

Но те,—
С той полки:
«Кто последний?» —
Не станут спрашивать в хвосте.

На них печать почтенной скуки
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время,
Обожжешься вдруг...

Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдешь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь.

1963

* * *

Дробится рваный цоколь монумента,
Взвывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчета,
И так нагляден нынешний урок:
Чрезмерная о вечности забота —
Она, по справедливости, не впрок.

Но как сцепились намертво каменья,
Разъять их силой — выдать семь потов.
Чрезмерная забота о забвенье
Немалых тоже требует трудов.

Все, что на свете сделано руками,
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень,—
Он не бывает ни добром, ни злом.

1963

* * *

На новостройках в эти годы
Кипела главная страда:
Вставали в заревах заводы,
Росли под небо города.

И в отдаленности унылой
За той большой страдой село,
Как про себя ни гомонило,
Уже угнаться не могло.

Там жизнь неслась в ином разгоне,
И по окраинам столиц
Вовсю играли те гармони,
Что на селе перевелись.

А тут — притихшие подворья,
Дворы, готовые на слом,
И где семья, чтоб в полном сборе
Хоть в редкий праздник за столом?

И не свои друзья-подружки,
А, доносясь издалека,
Трубило радио частушки
Насчет надоев молока...

Земля родная, что же сталось,
Какая странная судьба:
Не только юность, но и старость —
Туда же, в город, на хлеба.
Туда на отдых норовила
Вдали от дедовских могил...

Давно, допустим, это было,
Но ты-то сам когда там был?

1964

* * *

А ты самих послушай хлеборобов,
Что свековали век свой у земли,
И врать им нынче нет нужды особой,—
Все превзошли,
А с поля не ушли.

Дивиться надо: при Советской власти—
И время это не в далекой мгле —
Какие только странности и страсти
Не объявлялись на родной земле.

Доподлинно, что в самой той России,
Где рожь была святыней от веков,
Ее на корм, зеленую, косили,
Не успевая выкосить лугов.

Наука будто все дела вершила.
Велит, и точка — выполнять спеши:
То — плугом пласт
Ворочай в пол-аршина,

То — в полвершка,
То — вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней,
Такой же строгой, шла наперерез:
Вдруг — сад корчуй
Для расширенья пашни,
Вдруг — клеверище
Запускай под лес...

Бывало так, что опускались руки,
Когда осенний подведен итог:
Казалось бы —
Ни шагу без науки,
А в зиму снова —
Зубы на полок.

И распорядок жизни деревенской,
Где дождь ли, ведро — не бери в расчет,—
Какою был он мукою-мученской,—
Кто любит землю, знает только тот...

Науку мы оспаривать не будем,
Науке всякой —
По заслугам честь,
Но пусть она
Почтенным сельским людям
Не указует,
С чем им кашу есть.

1965

* * *

Посаженные дедом деревца,
Как сверстники твои, вступали в силу,
И пережили твоего отца,
И твоему еще предстанут сыну
Деревьями.
То в дымке снеговой,
То в пух весенний только что одеты,
То полной прошумят ему листвой,
Уже повеяв ранней грустью лета...

Ровесниками века становясь,
В любом от наших судеб отдаленье,
Они для нас ведут безмолвно связь
От одного к другому поколенью.

Им три-четыре наших жизни жить.
А там другие сменят их посадки.
И дальше связь пойдет в таком порядке.

Ты не в восторге?
Сроки наши кратки?
Ты что иное мог бы предложить?

1965

* * *

Мне сладок был тот шум сонливый
И неусыпный полевой,
Когда в июне, до налива,
Смыкалась рожь над головой.

И трогал душу по-другому,—
Хоть с детства слух к нему привык,—
Невнятный говор или гомон
В вершинах сосен вековых.

Но эти памятные шумы —
Иной порой, в краю другом,—
Как будто отзвук давней думы,
Мне в шуме слышались морском.

Распознавалась та же мера
И тоны музыки земной...
Все это жизнь моя шумела,
Что вся была еще за мной.

И все, что мне тогда вещала,
Что обещала мне она,
Я слышать вновь готов сначала,
Как песню, даром что грустна.

1964

* * *

Все сроки кратки в этом мире,
Все превращенья — на лету.
Сирень в году дня три-четыре,
От силы пять кипит в цвету.

Но побуревшее соцветье
Сменяя кистью семенной,
Она, сирень, еще весной —
Уже в своем дремотном лете.

И даже свежий блеск в росе
Листвы, еще не запыленной,
Сродни той мертвенной красе,
Что у листвы вечнозеленой.

Она в свою уходит тень.
И только, пета-перепета,
В иных стихах она все лето
Бушует будто бы, сирень.

1965

ПАМЯТИ МАТЕРИ

* * *

Прощаемся мы с матерями
Задолго до крайнего срока —
Еще в нашей юности ранней,
Еще у родного порога,

Когда нам платочки, носочки
Уложат их добрые руки,
А мы, опасаясь отсрочки,
К назначенной рвемся разлуке.

Разлука еще безусловней
Для них наступает попозже,
Когда мы о воле сыновней
Спешим известить их по почте.

И, карточки им посылая
Каких-то девчонок безвестных,
От щедрой души позволяем
Заочно любить их невесток.

А там — за невестками — внуки...
И вдруг назовет телеграмма
Для самой последней разлуки
Ту старую бабушку мамой.

* * *

В краю, куда их вывезли гуртом
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.

Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать,—
Уж очень было кладбище немилое.

Кругом леса без края и конца —
Что видит глаз,— глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.

Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то — могилки сразу за бараками.

И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справами,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
— Проснусь, проснусь,— рассказывала мать,—
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно.
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых — их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

* * *

Как не спеша садовники орудуют
Над ямой, заготовленной для дерева:
На корни грунт не сваливают грудою,
По горсточке отмеривают.

Как будто птицам корм из рук,
Крошат его для яблони.
И обойдут приствольный круг
Вслед за лопатой граблями...

Но как могильщики — рывком —
Давай, давай без передышки,—
Едва свалился первый ком,
И вот уже не слышно крышки.

Они минутой дорожат,
У них иной, пожарный на́вык:
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек.

Спешат,— меж двух затяжек срок,—
Песок, гнилушки, битый камень
Кой-как содвинуть в бугорок,
Чтоб завалить его венками...

Но ту сноровку не порочь,—
Оправдан этот спех рабочий:
Ведь ты им сам готов помочь,
Чтоб только все — еще короче.

* * *

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Из песни

— Ты откуда эту песню,
Мать, на старость запасла?
— Не откуда — все оттуда,
Где у матери росла.

Все из той своей родимой
Приднепровской стороны,
Из далекой-предалекой
Деревенской старины.

Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Давней молодости слезы.
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозы
В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая —
Шире нашего Днепра.

В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней.

Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезенные слова.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.

Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону
Сторону — домой...

1965

* * *

Изведав жар такой работы,
Когда часы быстрей минут,
Когда забудешь, где ты, что ты,
И кто, и как тебя зовут;

Когда весь мир как будто вновь
И дорога до смерти жизнь,—
От сладких слез, что наготове,
По крайней мере, удержись.

Года обязывают строже,
О прежних вспышках не жалей.
Не штука быть себя моложе,
Труднее быть себя зрелей.

1965

* * *

Как неприютно этим соснам в парке,
Что здесь расчерчен, в их родных местах,
Там-сям, вразброс, лесные перестарки,
Стоят они — ни дома, ни в гостях.

Прогонистые, выросшие в чаще,
Стоят они, наружу голизной,
Под зимней стужей и жарой палящей
Защиты лишены своей лесной.

Как стертые метелки, их верхушки
Редеют в небе над стволом нагим.
Иные похилились друг ко дружке,
И вновь уже не выпрямиться им...

Еще они, былую вспомнив пору,
Под ветром вдруг застонут, заскрипят,
Торжественную песнь родного бора
Затянут вразнобой и невпопад.

И оборвут, постанывая тихо,
Как пьяные, мыча без голосов...
Но чуток сон сердечников и психов
За окнами больничных корпусов.

1965

* * *

Как глубоко ни вбиты сваи,
Как ни силен в воде бетон,
Вода бессонная, живая
Не успокоится на том.

Века пройдут — не примирится,—
Ей не по нраву взаперти.
Чуть отвернись — как исхитрится
И прососет себе пути.

Под греблей, сталью проплетенной,
Прорвется — прахом все труды —
И без огня и без воды
Оставит город миллионный.

Вот почему из часа в час
Там не дозор, а пост подводный,
И стража спит поочередно,
А служба не смыкает глаз.

1965

* * *

Чернил давнишних блеклый цвет,
И разный почерк разных лет
И даже дней — то строгий, четкий,
То вроде сбивчивой походки —
Ребяческих волнений след,
Усталости иль недосуга
И просто лени и тоски.
То — вдруг — и не твоей руки
Нажимы, хвостики, крючки,
А твоего былого друга —
Поводыря начальных дней...
То мельче строчки, то крупней,
Но отступ слева все заметней
И спуск поспешный вправо, вниз,
Совсем на нет в конце страниц —
Строки не разобрать последней.
Да есть ли толк и разбирать,
Листая старую тетрадь
С тем безысходным напряженьем,
С каким мы в зеркале хотим
Сродниться как-то со своим
Непоправимым отраженьем?..

1965

* * *

Ночью все раны больнее болят,—
Так уж оно полагается, что ли,
Чтобы другим не услышать, солдат,
Как ты в ночи подвываешь от боли.

Словно за тысячи верст от тебя
Все эти спящие добрые люди
Взапуски, всяк по-другому храпя,
Гимны поют табаку и простуде,—

Тот на свистульке, а тот на трубе.
Утром забудется слово упрека:
Не виноваты они, что тебе
Было так больно и так одиноко...

1965

* * *

День прошел, и в неполном покое
Стихнул город, вдыхая сквозь сон
Запах свежей натоптанной хвои —
Запах праздников и похорон.

Сумрак полночи мартовской серый.
Что за ним — за рассветной чертой —
Просто день или целая эра
Заступает уже на постой.

1966

* * *

Как после мартовских метелей,
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле —
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок.
Еще одни, другие сутки,
И под корой проснется сок.
И зимний пень березовый
Зальется пеной розовой.

1966

* * *

Такою отмечен я долей бедовой:
Была уже мать на последней неделе,
Сгребала сенцо на опушке еловой,—
Минута пришла — далеко до постели.

И та закрепилась за мною отметка,
Я с детства подробности эти усвоил,
Как с поля меня доставляла соседка
С налипшей на мне прошлогоднею хвоей.

И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки, и всякие толки,—
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки,
Не трогают волки.

Увы, без вниманья к породе особой,
Что хвойные те означали иголки,
С великой охотой,
С отменною злобой
Едят меня всякие серые волки.

Едят, но недаром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.

1966

* * *

...И жаворонок, сверлящий небо
В трепещущей голубизне,
Себе и миру на потребу
Оповещает о весне.

Все как тогда. И колокольня
Вдали обозначает даль,
Окрест лежащую раздольно,
И только нету сумки школьной,
Да мне сапог почти не жаль —

Не то что — прежних, береженых,
Уже чиненых не впервой
Моих заветных сапожонок,
Водой губимых снеговой.

1966

* * *

Погубленных березок вялый лист,
Еще сырой, еще живой и клейкий,
Как сено из-под дождика, душист.
И духов день. Собрание в ячейке,
А в церкви служба. Первый гармонист
У школы восседает на скамейке,
С ним рядом я, суровый атеист
И член бюро. Но миру не раскрытый —
В душе поет под музыку секрет,
Что скоро мне семнадцать полных лет
И я, помимо прочего, поэт,—
Какой хочу, такой и знаменитый.

1966

* * *

Июль — макушка лета,—
Напомнила газета,
Но прежде всех газет —
Дневного убыль света;
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет,—
Ку-ку, ку-ку — макушка —
Отстукала кукушка
Прощальный свой привет.
А с липового цвета,
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет,—
Июль — макушка лета.

1966

* * *

Просыпаюсь по-летнему
Ради доброго дня.
Только день все заметнее
Отстает от меня.

За неясными окнами,
Словно тот, да не тот,
Он над елками мокрыми
Неохотно встает.

Медлит высветить мглистую
Дымку — сам не богат.
И со мною не выстоит,
Первым канет в закат.

Приготовься заранее
До конца претерпеть
Все его отставания,
Что размечены впредь.

1966

* * *

Есть имена и есть такие даты,—
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,—
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.

1966

* * *

Листва отпылала,
опала, и запахом поздним
Настоян осинник —
гарькавым и легкоморозным.
Последними пали
неблеклые листья сирени.
И садики стали
беднее, светлей и смиренней.
Как пот,
остывает горячего лета усталость.
Ах, добрая осень,
такую бы добрую старость:
Чтоб вовсе она
не казалась досрочной, случайной
И все завершалось,
как нынешний год урожайный;
Чтоб малые только
ее возвещали недуги
И шла бы она
под уклон безо всякой натуги.
Но только в забвенье
тревоги и боли насущной
Доступны утехи
и этой мечты простодушной.

1966

* * *

Многоснежная зима,
Снег валит за снегом следом,
Снег, как сказывали деды,
Все заполнил закрома.

Стародавняя примета
По зиме равняет лето;
Неизменный обиход,
Вековой расчет природный:
Мало снегу — год голодный,
Вдоволь снегу — сытый год.

И от имени науки
Вторят ныне дедам внуки:
Снег заполнил закрома —
Хлеб в избытке и корма.

Лишь в примете чрезвычайной
Не примкнуть бы к старине,
Что отменно урожайный
Выпадает год к войне.

1966

* * *

Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного — не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красы,

Когда над изгибом тропинки
С разлатых недвижных ветвей
Снежинки, одной порошинки,
Стряхнуть опасается ель.

За тихое, легкое счастье —
Не знаю, чему иль кому —
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня — себе самому.

1966

* * *

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Речь не о том, но все же, все же, все же...

1966

БЕРЕЗА

На выезде с кремлевского двора,
За выступом надвратной башни Спасской,
Сорочьей черно-белою раскраской
Рябеет — вдруг — прогиб ее ствола.

Должно быть, здесь пробилась самосевом,
Прогнулась, отклоняясь от стены,
Угадывая, где тут юг, где север,
Высвобождая крону из тени...

Ее не видно по пути к царь-пушке
За краем притемненного угла.
Простецкая — точь-в-точь с лесной опушки,
С околицы забвенной деревушки,
С кладбищенского сельского бугра...

А выросла в столице ненароком,
Чтоб возле самой башни мировой
Ее курантов слушать мерный бой
И города державный рокот.

Вновь зеленеть, и вновь терять свой лист,
И красоваться в серебре морозном,
И на ветвях качать потомство птиц,
Что здесь кружились при Иване Грозном.

И вздрагивать во мгле сторожевой
От гибельного грохота и воя,
Когда полосовалось над Москвой
Огнями небо фронтовое.

И в кольцах лет вести немой отсчет
Всему, что пронесется, протечет
На выезде, где в памятные годы
Простые не ходили пешеходы;

Где только по звонку, блюдя черед,
Машины — вниз — на площадь, на народ,
Ныряли под ступенчатые своды
И снизу вырывались из ворот.

И стольких здесь она перевидала,
Встречая, провожая всякий раз,
Своих, чужих — каких там ни попало,—
И отразилась в стольких парах глаз,
По ней скользнувших мимолетным взглядом
В тот краткий миг, как проносились рядом...

Нет, не бесследны в мире наши дни,
Таящие надежду иль угрозу.
Случится быть в Кремле — поди взгляни
На эту неприметную березу.

Какая есть — тебе предстанет вся,
Запас диковин мало твой пополнит,
Но что-то вновь тебе напомнит,
Чего вовеки забывать нельзя...

1966

* * *

Я сам дознаюсь, дощусь
До всех моих просчетов.
Я их припомню наизусть,—
Не по готовым нотам.

Мне проку нет,— я сам большой,—
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.

1967

* * *

Стой, говорю: всему помеха —
То, что, к перу садясь за стол,
Ты страсти мелочной успеха
На этот раз не поборол.

Ты не свободен был. И даже
Стремился славу подкрепить,
Чтоб не стоять у ней на страже,
Как за жену, спокойным быть.

Прочь этот прах, расчет порочный,
Не надо платы никакой —
Ни той, посмертной, ни построчной,—
А только б сладить со строкой.

А только б некий луч словесный
Узреть, не зримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.

И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом все больней.

1967

ПАМЯТИ ГАГАРИНА

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.

Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней...

В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть, родней.

Ах, этот день, невольно или вольно
Рождавший мысль, что за чертой такой —
На маленькой Земле — зачем же войны,
Зачем же все, что терпит род людской?

Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной
Земных своих достигнув берегов,
Какую весть, какой залог бесценный
Доставил нам из будущих веков?

Почуял ли в том праздничном угаре,
Что, сын Земли, ты у нее в гостях,
Что ты тот самый, но другой Гагарин,
Чье имя у потомков на устах?

Нет, не родня российской громкой знати,
При княжеской фамилии своей,
Родился ты в простой крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.

Фамилия — ни в честь она, ни в почесть,
И при любой — обычная судьба:
Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.

А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,
Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять;

Что сын родной, безгласных зон разведчик,
Там, на переднем космоса краю,
Всемирной славой, первенством навечным
Сам озаглавит молодость свою.

И неизменен жребий величавый,
На нем горит печать грядущих дней.
Что может смерть с такой поделать славой? —
Такая даже неподсудна ей.

Она не блекнет за последней гранью,
Та слава, что на жизненном пути —
Не меньшее, чем подвиг — испытанье,—
Дай бог еще его перенести.

Все так, все так. Но где во мгле забвенной
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,
Не тот, венчанный славою нетленной,
А просто человек среди людей;

Тот свойский парень, озорной и милый,
Лихой и дельный, с сердцем не скупым,
Кого еще до всякой славы было
За что любить,— недаром был любим.

Ни полуслова, ни рукопожатья,
Ни глаз его с бедовым огоньком
Под сдвинутым чуть набок козырьком...

Ах, этот день с апрельской благодатью.
Цветет ветла в кустах над речкой Гжатью,
Где он мальчонкой лазал босиком...

1967

НА СЕНОВАЛЕ

Ты помнишь, ночью предосенней,—
Тому уже десятки лет,—
Курили мы с тобой на сене,
Презрев опасливый запрет.

И глаз до света не сомкнули,
Хоть запах сена был не тот,
Что в ночи душные июля
Заснуть подолгу не дает...

То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далекий
Из первой юности своей.

В ту пору не было, пожалуй,
Беды иль радости такой —
С одним из нас — хотя бы малой,—
Чтоб неучастен был другой.

И вот мы вместе покидали
Глухие отчие места,
И столько нам завидных далей
Сулила общая мечта.

Мы не испытывали грусти,
Друзья — мыслитель и поэт,
Кидая наше захолустье
В обмен на целый белый свет.

Мы жили замыслом заветным
Дорваться вдруг
До всех наук —
Со всем запасом их несметным —
И уж не выпустить из рук.

Сомненья дух нам был неведом;
Мы с тем управимся добром
И за отцов своих и дедов
Еще вдобавок доберем.

Мы повторяли, что напасти
Нам никакие нипочем,
Но сами ждали только счастья,—
Тому был возраст обучен.

Мы знали, что оно сторицей
Должно воздать за наш порыв,
В премудрость мира с ходу врыться,
До дна ее разворотив.

Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:

Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать.

Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?

Такими были наши дали,
Как нам казалось, без прикрас.
Когда в безудержном запале
Мы в том друг друга убеждали,
В чем спору не было у нас.

И всласть толкуя о науках,
Мы вместе грезили о том,
Ах, и о том, в каких мы брюках
Домой заявимся п о т о м.

Дивись, отец, всплакни, родная,
Какого гостя бог нанес,
Как он пройдет, распространяя
Московский запах папирос.

Москва, столица — свет не ближний,
А ты, родная сторона,
Какой была, глухой, недвижной,
Нас на побывку ждать должна.

И хуторские посиделки,
И вечеринки чередом,
И чтоб загорьевские девки
Глазами ели нас потом,
Неловко нам совали руки,
Пылая краской до ушей.

А там бы где-то две подруги,
В стенах столичных этажей,
С упреком нежным ожидали
Уже тем часом нас с тобой,
Как мы на нашем сеновале
Отлет обдумывали свой...

И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашею спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной...

Ты не забыл, как на рассвете
Оповестили нас, дружков,
Об уходящем в осень лете
Запевы юных петушков.

Их голосов надрыв цыплячий
Там, за соломенной стрехой,—
Он отзывался детским плачем
И вместе удалью лихой.

В какой-то сдавленной печали,
С хрипотцей истовой своей
Они как будто отпевали
Конец ребячьих наших дней.

Как будто сами через силу
Обрядный свой тянули сказ
О чем-то памятном, что было
До нас.
И будет после нас.

Но мы тогда на сеновале
Не так прислушивались к ним,
Мы сладко взапуски зевали,
Дивясь, что день, а мы не спим.

И в предотъездном нашем часе
Предвестий не было о том,
Какие нам дары в запасе
Судьба имела на потом.

И где, кому из нас придется,
В каком году, в каком краю
За петушиной той хрипотцей
Расслышать молодость свою.

Навстречу жданной нашей доле
Рвались мы в путь не наугад,—
Она в согласье с нашей волей
Звала отведать хлеба-соли.
Давно ли?
Жизнь тому назад.

1967

«Снега потемнеют синие...»

* * *

Отыграли по дымным оврагам
Торопливые воды весны.
И пошла она сбавленным шагом
В междуречье Пахры и Десны.

Где прямою дорогой, где кружной —
Вдоль шоссе, по закрайкам полей.
И помятые, потные дружно
Зеленя потянулись за ней.

1967

* * *

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:

Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

1967

* * *

Огромный, грузный, многоместный
И тесный — через всю страну
Тянул в пустыне поднебесной
Свою тяжелую струну.

С натугой ровной делал дело,
Тянул — ни кренов, ни толчков.
И небо нижнее синело
Кой-где в разрывах облаков.

По стрелкам выверенным правил —
Видна земля иль не видна.
И, как канат на переправе,
Брунжала басом та струна.

1967

* * *

Чуть зацветет иван-чай,—
С этого самого цвета —
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.

Липа в ночной полумгле
Светит густой позолотой,
Дышит — как будто в дупле
Скрыты горячие соты.

От перестоя трава
Никнет в сухом оперенье.
Как жестяная, мертва
Темная зелень сирени.

Где-то уже позади
День равноденствие славит.
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.

Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.

Все их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку...
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.

1967

* * *

Там-сям дымок садового костра
Встает над поселковыми задами.
Листва и на земле еще пестра,
Еще не обесцвечена дождями.

Еще земля с дернинкою сухой
Не отдает нимало духом тленья,
Хоть наизнанку вывернув коренья,
Ложится под лопатой на покой.

Еще не время непогоди сонной,
За сапогом не волочится грязь,
И предается по утрам, бодрясь,
Своим утехам возраст пенсионный.

По крайности — спасибо и на том,
Что от хлопот любимых нет отвычки.
Справляй дела и тем же чередом
Без паники укладывай вещички.

1967

* * *

Полночь в мое городское окно
Входит с ночными дарами:
Позднее небо полным-полно
Скученных звезд мирами.

Мне еще в детстве, бывало, в ночном,
Где-нибудь в дедовском поле
Скопища эти холодным огнем
Точно бы в темя кололи.

Сладкой бессонницей юность мою
Звездное небо томило:
Где бы я ни был, казалось, стою
В центре вселенского мира.

В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.

1967

* * *

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа,
Но ни при чем природа и погода:
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни.

Безветренны, теплы — почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

1968

* * *

Допустим, ты свое уже оттопал
И позади — остался твой предел,
Но при тебе и разум твой, и опыт,
И некий срок еще для сдачи дел
Отпущен — до погрузки и отправки.

Ты можешь на листах ушедших лет
Внести еще какие-то поправки,
Чертой ревнивой обводя свой след;

Самозащите доверяясь шаткой,
Невольно прихорашивать итог...
Но вдруг подумать:
— Нет,— спасибо в шапку,
От этой сласти береги нас бог.

Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.

1968

* * *

Время, скорое на расправу,
В меру дней своих скоростных,
Власть иную, иную славу
Упраздняет — и крест на них.

Время даже их след изгладит
Скоростным своим утюжком.
И оно же не в силах сладить
С чем, подумаешь! — со стишком.

Уж оно его так и этак
Норовит забвенью предать
И о том объявить в газетах
И по радио...
Глядь-поглядь,

За каким-то минучим сроком —
И у времени с языка
Вдруг срывается ненароком
Из того же стишка —
Строка.

1968

* * *

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участье добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,—
Взялся за гуж — не говори: не дюж.

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

1968

ГЛАВА 1

С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху — облака.

Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят,— а что тут на земле,
Не знают журавли...

У перевоза стук колес,
Сбой, гомон, топот ног.
Идет народ, ползет обоз,
Старик паромщик взмок.

Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком.
Уполномоченный спешит,
И баба с сундучком.

Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины.
Гармошку плотничья артель
Везет на край страны...

Гудят над полем провода,
Столбы вперед бегут.
Гремят по рельсам поезда,
И воды вдаль текут.

И шапки пены снеговой
Белеют у кустов,
И пахнет смолкой молодой
Березовый листок.

И в мире — тысячи путей
И тысячи дорог.
И едет, едет по своей
Никита Моргунок.

Бредет в оглоблях серый конь
Под расписной дугой,
И крепко стянута супонь
Хозяйскою рукой.

Дегтярку сзади привязал,
Засунул кнут у ног,
Как будто в город, на базар,
Собрался Моргунок.

Умытый в бане, наряжен
В пиджак и сапоги,
Как будто в гости едет он,
К родне на пироги.

И двор — далеко за спиной,
Бегут вперед столбы.
Ни хаты не видать родной,
Ни крыши, ни трубы...

По ветру тянется дымок
С ольхового куста.
— Прощайте,— машет Моргунок,—
Отцовские места!..

ГЛАВА 2

Из-за горы навстречу шло
Золотоглавое село.

Здесь проходил, как говорят,
В Москву Наполеон.
Здесь тридцать восемь лет назад
Никита был крещен.

Здесь бухали колокола
На двадцать деревень,
Престол и ярмарка была
В зеленый духов день.

И первым был из всех дворов
Двор — к большаку лицом,
И вывеска «Илья Бугров»
Синела над крыльцом...

Никита ехал прямиком.
И вдруг — среди села —
Не то базар, не то погром,—
Веселые дела!

Народ гуляет под гармонь,
Оглобель — лес густой,
Коней завидя сбился конь...
Выходят люди:
— Стой!...

— Стой, нет пощады никому,
И честь для всех одна:
Гуляй на свадьбе, потому —
Последняя она...

Кто за рукав,
Кто за полу,—
Ведут Никиту
В дом, к столу.

Ввели и — чарку — стук ему!
И не дыши — до дна!
— Гуляй на свадьбе, потому —
Последняя она...

И лез хозяин через стол:
— Моя хата —
Мой простор.
Становись, сынок, на лавку,
Пей, гуляй,
Справляй престол!..

Веселитесь, пейте, люди,
Все одно:
Что в бутылке,
Что на блюде —
Чье оно?

Чья скотинка?
Чей амбар?
Чей на полке
Самовар?..

За столом, как в бане, тесно,
Моргунок стирает пот,
Где жених тут, где невеста,
Где тут свадьба? — Не поймет.

А хозяин без заминки
Наливает по другой.
— Тут и свадьба и поминки —
Все на свете, дорогой.

С неохотой, еле-еле
Выпил чарку Моргунок.
Гости ели, пили, пели,
Говорили, кто что мог...

— Что за по́мин?
— Помин общий.
— Кто гуляет?
— Кулаки!
Поминаем душ усопших,
Что пошли на Соловки.

— Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки,—
Милицейские ребята
Выводили под руки...

— Будет нам пить,
Будет дурить...

— Исус Христос
Чудеса творил...

— А кто платил,
Когда я да не платил?..

— Отчего ты, божья птичка,
Хлебных зерен не клюешь?
Отчего ты, невеличка,
Звонких песен не поешь?

Отвечает эта птичка:
— Жить я в клетке не хочу.
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу...

— Будет нам пить,
Будет дурить.
Пора бы нам одуматься,
Пойти домой, задуматься:
Что завтра пропить?

— Исус Христос
По воде ходил...

— А кто платил,
Когда я не платил?
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привез,
За собачий хвост,
За кошачий хвост,
За тень от избы,
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И за просто, и за так...

— Знаем! Сам ты не дурак,
Хлеб-то в воду почью свез:
Мол, ни мне, ни псу под хвост.
Знаем! Сами не глупей.
Пей да ешь, ешь да пей!

— Сорок лет тому назад
Жил да был один солдат.
Тут как раз холера шла,
В день катала полсела.
Изо всех один солдат
Жив остался, говорят.
Пил да ел, как богатырь,
И по всем читал псалтырь,
Водку в миску наливал,
Делал тюрьку и хлебал,
Все погибли, а солдат
Тем и спасся, говорят.

— Трулля-трулля-трулля-ши!..
Пропил батька лемеши.
А сынок —
Топорок,
А дочушка —
Гребенек,
А матушка,
Того роду,
Пропила
Сковоро́ду.
Па-алезла под печь:
«Сынок, блинов нечем печь...»

— Все кричат, а я молчу:
Все одно — безделье.
А Илье-то Кузьмичу —
Слезки, не веселье...

— Подноси, вытаскивай,
Угощенье ставь!

— До чего он ласковый,
Добродушный стал.

Дескать, мы ж друзья-дружки,
Старые соседи.
Мол, со мной на Соловки
Все село поедет...

— Слышь, хозяин, не жалей
Божью птичку в клетке.
Заливай, пои гостей,
Дыхай напоследки!..

Загудели гости смутно,
Встал, шатаясь, Моргунок,
Будто пьян, на воздух будто,
Потихоньку — за порог.

Над дорогой пыль висела,
Не стихал собачий лай.
Ругань, песни...

— Трогай, Серый.
Где-нибудь, да будет край...

ГЛАВА 3

Далеко стихнуло село,
И кнут остыл в руке,
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.

И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком,
И глухо, как огромный мост,
Простукал где-то гром.

И дождь поспешный, молодой
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землей, как год назад...

И по-ребячьи Моргунок
Вдруг протянул ладонь.
И, голову склонивши вбок,
Был строг и грустен конь.

То конь был — нет таких коней!
Не конь, а человек.
Бывало, свадьбу за пять дней
Почует, роет снег.

Земля, семья, изба и печь,
И каждый гвоздь в стене,
Портянки с ног, рубаха с плеч —
Держались на коне.

Как руку правую, коня,
Как глаз во лбу, берег
От вора, мора и огня
Никита Моргунок.

И в ночь, как съехать со двора,
С конем был разговор,
Что все равно не ждать добра,
Что без коня — не двор;
Что вместе жили столько лет,
Что восемь бед — один ответ.

А конь дорогою одной
Везет себе вперед.
Над потемневшею спиной
Белесый пар идет.

Дождь перешел. Следы копыт
Наполнены водой.
Кривая радуга висит
Над самою дугой...

День на исходе. Моргунку
Заехать нужно к свояку:
Остановиться на ночлег,
Проститься как-никак.
Душевной жизни человек
Был Моргунков свояк.
Дружили смолоду, с тех пор,
Как взяли замуж двух сестер.

Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один...

Хозяин грустный гостю рад,
Встречает у ворот:
— Спасибо, брат. Уважил, брат.—
И на крыльцо ведет.

— Перед тобой душой открыт,
Друг первый и свояк:
Весна идет, земля горит,—
Решаться или как?..

А Моргунок ему в ответ:
— Друг первый и свояк!
Не весь в окошке белый свет,
Я полагаю так...

Но тот Никите говорит:
— А как же быть, свояк?
Весна идет, земля горит,
Бросать нельзя никак.

Сидят, как прежде, за столом.
И смолкли. Каждый о своем.

Забились дети по углам.
Хозяйка подает
С пчелиным «хлебом» пополам
В помятых сотах мед.

По чарке выпили. Сидят,
Как год, и два, и три назад.

Сидят невесело вдвоем,
Не поднимают глаз.
— Ну что ж, споем?..
— Давай споем
В последний, может, раз...

Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один.

Посоловелые слегка,
На стол облокотясь,
Сидят, поют два мужика
В последний, значит, раз...

О чем поют? — рука к щеке,
Забылись глубоко.
О Волге ль матушке-реке,
Что где-то далеко?..

О той ли доле бедняка,
Что в рудники вела?..
О той ли жизни, что горька,
А все-таки мила?..

О чем поют, ведя рукой
И не скрывая слез?
О той ли девице, какой
Любить не довелось?..

А может, просто за столом
У свояка в избе
Поет Никита о своем
И плачет о себе.

У батьки, у матки
Родился Никита,
В церковной сторожке
Крестился Никита.

Семнадцати лет
Оженился Никита.
На хутор пошел,
Отделился Никита.

— В колхоз не желаю,—
Бодрился Никита.
До синего дыму
Напился Никита.

Семейство покинуть
Решился Никита...
Куда ж ты поехал,
Никита, Никита?

ГЛАВА 4

От деда слышал Моргунок —
Назначен срок всему:
Здоровью — срок, удаче — срок,
Богатству и уму.

Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи:

— Как в двадцать лет
Силенки нет,—
Не будет, и не жди.
— Как в тридцать лет
Рассудка нет,—
Не будет, та́к ходи.
— Как в сорок лет
Зажитка нет,—
Так дальше не гляди...

Сам Моргунок, как все, сперва
Не верил в дедовы слова.

Хватился — где там двадцать лет! —
А богатырской силы нет.
И, может быть, была б она,
Когда б харчи да не война.

Глядит, проходят тридцать лет,—
Ума большого тоже нет.
А был бы ум, так по уму —
Богатство было бы ему.

Глядит, и скоро — сорок лет,—
Богатства нет, зажитка нет:
Чтоб хлебу на год вволю быть,
За сало салу заходить;

Чтоб быть с Бугровым запросто,
Всего того опричь:
«Здоров, Никита Федорыч!..» —
«Здоров, Илья Кузьмич!..»

А угостить,— так дым трубой,
Что хочешь ешь и пей!
Чтоб рядом он сидел с тобой
На лавке на твоей;

Чтоб толковать о том о сем,
Зажмурясь песни петь,
Под ручку чтоб, да с ним вдвоем
Пойти хлеба смотреть...

И предсказанью скоро срок,
А жил негромко Моргунок.

Был Моргунок не так умен,
Не так хитер и смел,
Но полагал, что крепко он
Знал то, чего хотел...

Ведет дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна.

И в стороне далекой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
Как кустик, хуторок.

Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.

И все твое перед тобой,
Ходи себе, поплевывай.
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.

Весь год — и летом и зимой,
Ныряют утки в озере.
И никакой, ни боже мой,—
Коммунии, колхозии!..

И всем крестьянским правилам
Муравия верна.
Муравия, Муравия!
Хо-рошая страна!..

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху — облака.

По склонам шубою взялись
Густые зеленя,
И у березы полный лист
Раскрылся за два дня.

И розоватой пеной сок
Течет со свежих пней.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем поле зеленей.

И день по-летнему горяч,
Конь звякает уздой.
Вдали взлетает грузный грач
Над первой бороздой.

Пласты ложатся поперек
Затравеневших меж.
Земля крошится, как пирог,—
Хоть подбирай и ешь.

И над полями голубой
Весенний пар встает.
И трактор водит за собой
Толпу, как хоровод.

Белеют на поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики посевщики
Становятся рядком.

Молитву, речь ли говорят
У поднятой земли,
И вот, откинувшись назад,
Пошли, пошли, пошли...

За плугом плуг проходит вслед,
Вдоль — из конца в конец.
— Тпру, конь!.. Колхозники ай нет?..
— Колхозники, отец...

Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем радостней земля.

Земля!..
От влаги снеговой
Она еще свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.

Земля!..
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про нее поет.

Земля!
Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет,— на ней
До самой смерти жить.

Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок,
Да не хватает рук...

В пути проходит новый день.
Конь перепал и взмок.
Уже ни сел, ни деревень
Не знает Моргунок.

ГЛАВА 5

Большаком, по правой бровке,
Направляясь на восход,
Подпоясанный бечевкой
Шел занятный пешеход.

Добела забиты пылью
Сапожонки на плечах,
И лопатки, точно крылья,
Под подрясником торчат.

Из сапог глядят онучки,
За спиной гремит ларец...
— А, видать, тебя до ручки
Раскулачили, отец?..

Слово за слово. О боге
Речь заводит Моргунок.
Отпрягают у дороги,
Забираются в тенек.

— Эх, да по такой погоде
Зря ты ходишь-бродишь, поп.
Собирал бы дань в приходе,
Пчел глядел бы, сено греб...

— Где ж приход? Приходов нету.
Нету службы, нету треб.
Расползлись попы по свету,
На другой осели хлеб.

Тот на должности на писчей,
Тот иной нашел приют.
Ничего, довольны пищей.
Стихли, сникли и живут.

Ну, а я... Иду дорогой.
Не тяжел привычный труд:
Есть кой-где, что верят в бога,—
Нет попа,
А я и тут.

Там жених с невестой ждут,—
Нет попа,
А я и тут.

Там младенца берегут,—
Нет попа,
А я и тут.

Нет купели,
Есть камья,
Нет попа,
А вот он я!..

Что калужского портного,
За неделю ждут меня.
Мне бы только, право слово,
Заиметь теперь коня...

Хорошо в тени, прохладно.
Поп кошелку шевелит.
Развязал — и этак складно
Припевает-говорит:

— Тут селедочка
Была, была, была,
Что молодочка
Дала, дала, дала...

Тут и соточка
Лежит — не убежит...
Эх ты, сукин сын
Камаринский мужик!..

Моргунок, уставясь косо,
Ладно, думает, молчи.
Ничего, что батя босый,—
Подходящие харчи...

Не святой и не угодник,
Не подвижник, не монах,—
Был он просто поп-отходник,
Яко наг и яко благ.

— На гумне служу обедню,
Постным маслом мажу лоб.
Николай был царь последний,
Митрофан — последний поп.

Занимаю под приходом
Всю епархию кругом.
Хочешь так: твоя — подвода,
Мой — инструмент?..
Проживем!..

Моргунок утерся строго:
— Не гляди, что выпил я...
У тебя своя дорога,
У меня, отец,— своя.

На своем коне с дугой
Ехать подходяще:
Всякий видит, кто такой,—
Житель настоящий.

На своем коне с дугой
Ехать знаменито.
Остановят: — Кто такой?
— Моргунов Никита.

В чужедальней стороне
Едешь, смотришь смело:
Раз ты едешь на коне,
Значит, едешь делом.

Самому себе с конем
Позабыться впору.
Будто в гости едешь — днем,
Ночью — будто в город.

Не охотник яйца я
Собирать на бога.
У меня, отец, своя
Дальняя дорога...

ГЛАВА 6

От ночлега до ночлега
Едет ровно Моргунок.
У дороги, под телегой
Своя хата-потолок.

На огне трещит валежник
Робко, будто под ногой.
Двое возчиков проезжих
Сонно смотрят на огонь.

С неизвестным разным людом
Сводит ночью огонек.
Кто такие и откуда —
Знать не знает Моргунок.

Спит не спит, лежит Никита,
Слышен скрип и хруст травы.
Глухо тукают копыта
Возле самой головы.

Поправляет головешки
Освещенная рука.
Голос тянется неспешный,
Как шаги издалека:

— Окна — в землю,
Крыша — набок,
Гнезда галочьи в трубе.
Как бы в сказке, дед да баба
Жили век в своей избе.

Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шел,
И была в хозяйстве кошка,
Курочка да петушок.

Жили старые помалу
На отлете от села.
А весною небывало
Высока вода была.

Шла весна в могучей силе,
По ночам крошила снег.
Разлились по всей России
Воды всех морей и рек...

Спит не спит, лежит Никита,
Дрема поверху идет.
Голос ровный, домовитый
Сказку бережно ведет:

— Все — в колхозы.
Дед — ни с места
На тринадцатом году:
«Из своей избы, известно,
Никуда я не пойду».
Что, мол, жить мне на народе,
И какой мне в этом прок?..

А вода к крыльцу подходит,
Бьет волною о порог.
Поплыли плетни, солома,
Огородов — будто нет.

День за днем проводит дома,
Очищает лыки дед.

И случилась эта сказка
Возле нашего села:
Подняла вода избушку,
Как кораблик, понесла.
Поднимает выше, выше,
Гонит окнами вперед.
Петушок кричит на крыше,
Из трубы дымок идет.
И качаются, как в зыбке,
Дед и баба за стеной.

Принесло избу под липки —
К нам в усадьбу —
Тут и стой...

Спали воды. Стало сухо.
Смотрит дед — на солнце дверь:
«Ну, тому бывать, старуха,
Жить нам заново теперь...»

Спит не спит Никита, дремлет
С картузом под головой.
Теплым телом греет землю
Под примятою травой.

На армяк роса осела.
Гаснут звезды в вышине.
И тепло вздыхает Серый
За кустами в стороне.

Тянет свежестью рассвета.
Спит дорога. Тишина.
Далеко-далеко где-то
Спит Муравская страна...

ГЛАВА 7

Как с юга к северу трава
В кипучий срок весны,
От моря к морю шла молва
По всем краям страны.

Молва растет, что ночь, что день,
Катится в даль и глушь.
И ждут сто тысяч деревень,
Сто миллионов душ.

Нет, никогда, как в этот год,
В тревоге и борьбе,
Не ждал, не думал так народ
О жизни, о себе...

Росла, невнятная сперва,
Неслась, как радио, молва,
Как отголосок по лесам,
Бежала по стране,
Что едет Сталин, едет сам
На вороном коне.

Вдоль синих вод, холмов, полей,
Проселком, большаком,
В шинели, с трубочкой своей,
Он едет прямиком.

В одном краю,
В другом краю
Глядит, с людьми беседует
И пишет в книжечку свою
Подробно все, что следует.
И будто он невдалеке
Коня того поил в реке.

А то еще у старика
Спросил он ночью огонька.
А этот сторож-старичок
Увидел — кто, а сам молчок:
Порасспросить его хотел
Насчет войны и прочих дел...

За гатью — мост,
За взгорьем — склон,
Дымок по ветерку...
И, может, прямо едет он
Навстречу Моргунку.

И все, что на душе берег,
С чем в этот год заснуть не мог,
С чем утром встал и на ночь лег,
С чем ел не впрок
И пил не впрок,—
Все вновь обдумал Моргунок...

— Товарищ Сталин!
Дай ответ,
Чтоб люди зря не спорили:
Конец предвидится ай нет
Всей этой суетории?..

И жизнь — на слом,
И все на слом —
Под корень, подчистую.
А что к хорошему идем,
Так я не протестую.

Ты слушай, выслушай меня,
Коснемся, например, коня.

И склад хорош, и стать легка,
В монету весь одет.
Под Ворошиловым конька
Такого, может, нет.

На конной в Ельне куплен был,
С дороги перепал,
Стоит — и шею опустил,—
Ну, думаю, попал!..

Блестит в корытечке вода,
Свищу, свищу — не пьет,
Не ест. И вижу я тогда,
Что дело не поет...

А как я вышел поутру,
С постели — босиком,
Иду, а он впотьмах: хруп-хруп...
Стой, думаю, живем!..

Теперь мне тридцать восемь лет,
Два года впереди.
А в сорок лет — зажитка нет,
Так дальше не гляди.

И при хозяйстве, как сейчас,
Да при коне —
Своим двором пожить хоть раз
Хотелось мне.

Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

Пожить бы так чуть-чуть...
А там —
В колхоз приду,
Подписку дам!

И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная.
И у меня к тебе одна
Имелась просьба личная.

Вот я, Никита Моргунок,
Прошу, товарищ Сталин,
Чтоб и меня и хуторок
Покамест что... оставить.

И объявить: мол, так и так,—
Чтоб зря не обижали,—
Оставлен, мол, такой чудак
Один во всей державе...

В пути, в незнаемом краю,
Забыв про все, Никита
Слагал, как песню, речь свою
Душевно и открыто...

Страна родная велика.
Весна! Великий год!..
И надо всей страной — рука,
Зовущая вперед.

ГЛАВА 8

И деревням и верстам счет
Оставил человек,
И конь покорно воду пьет
Из неизвестных рек.

Дорога тянется вдали.
И грусть теснит в груди:
Как много неба и земли
Осталось позади.

И весь в пыли, как хлеб в золе.
Никита Моргунок.
На всей планете, на Земле,
Один такой ездок.

И порыжел на нем пиджак,—
Дорога далека.
Днем едет, терпит кое-как,
А к вечеру — тоска.

Сквозь тишину и холодок
Повеет почь жильем.
И куст — он дома, и пенек
На месте на своем.

А ты скитайся, разъезжай,
Сам при себе, один...
Вдруг слышит:
— Добрый гражданин,
А, добрый гражданин!..

И видит: нищий, чуть прикрыт,
Почти что босиком.
— Подвез бы, что ли,— говорит
Обиженным баском.

И мальчик, точно со слепым,
Идет по праву руку с ним.

И нищий злобно смотрит вслед:
— Забогател, сосед?..
Глядит — и обмер Моргунок:
— Илья Кузьмич! Ай нет?..

— Годов полсотни был Илья,
Да нынче стал не я.
Что видишь, только ма́лец мой,
А шапка не моя.
Вот, брат. Такая, брат, пора.
Кромешный год такой...

— Тпру!.. Правду говорят, гора
Не сходится с горой...

Коня стреножил Моргунок,
Прибрал хомут, дугу.
Оглобли — кверху. Огонек
Заговорил в кругу.

«Страна Муравия»

— Эх, холодна небось земля,
Погреться будет впрок.—
И достает из кошеля
Литровку Моргунок.

— Ну что ж, Илья Кузьмич, начнем?
Что есть. Прошу простить.
Тебя когда-то за столом
Мечтал я угостить.

Пей, грейся, гость. Как другу верь,—
Соседи были все ж...
А вот откуда ж ты теперь,
Илья Кузьмич, бредешь?..

— Бреду *оттуда*...
— Что ж там? Как?
— Да так. Хороший край.
В лесу, в снегу, стоит барак,
Ложись и помирай.

— Так, так, Илья Кузьмич...
А все ж —
Тут злость своя нужна:
Что скажут — делай, — дескать, врешь,
Работа не страшна.

— Нет, брат, спасибо за совет.
Не страшен был бы труд,
Да смысла нет.
— А ты начни!
— Да мочи нет.
— А ты тяни!
— Да руки не берут.

Никита слушал и коня
Из вида не терял.
Мальчишка, млея у огня,
Тихонько засыпал.

Куда он, малец, гол и бос,
Шел по свету с отцом,
Суму на перевязи нес
С жестяным котелком?..

— А что,— пожал отец плечом,—
Не страшно до зимы.
Где так попросим, где споем,—
Петь научились мы.

Эх, брат,— вздохнул, ложась, Бугров,—
В последний этот год
Еще б таких наделать дров,—
Земли переворот!..

На колокольни встать бы, брат,
И сверху б — в добрый час —
На всю Россию бить набат!
— Да не во что как раз...

Спал Моргунок и знал во сне,
Что рядом спит сосед.
И, как сквозь воду, в стороне
Конь будто ржал под свет...

Вскочил, закоченелый весь,
Глядит — пропал сосед.
Телега здесь, и мальчик здесь.
А конь?.. Коня и нет...

Никита бросился в кусты,
Высматривая след.
Туда-сюда. И след простыл.
Коня и вправду нет.

И место видно у огня,
Где ночью спал сосед,
В траве окурки. А коня
И нет. И вовсе нет.

И заняла дыханье боль,
И точно высох рот.
Позвать попробовал:
— Псель-псель...—
И губ не соберет.

— Псель-псель...—
И тишина кругом.
Туман. Глухой рассвет...
Вот бросил он семью и дом,
Уехал в белый свет.

Вот все, что думал,— все не в счет.
Вот прожил столько лет...

Туман встает,
Роса ползет.
День. А коня-то нет...
Коня-то нет...
— Вставай, пострел!
Замерз небось, беглец.
Пока ты спал да сны смотрел,
Сменял тебя отец.
Сменял — и серого коня
С уздечкой получил.
Тебя обидел, а меня
Навеки научил.
Я угощал его, любя,
Считал — в беде сосед...
А ты не бойся: бить тебя
Теперь мне пользы нет...

Короток день, а путь далек,
А солнце — где уже!..
Переобулся Моргунок,
И легче на душе.
Собрал шлею, кошель и кнут,
Переменил чеку;
Колеса смазал, подоткнул
Поклажу к передку.

Короток день, а путь далек,
Хоть воз не так тяжел.
И влез в оглобли Моргунок,
А мальчик вслед пошел...

ГЛАВА 9

Под уклон, гремя с разбега,
Едет — просто чудеса! —
Без коня сама телега,
Все четыре колеса.

И, кого ни встретит, всякий
Долго-долго смотрит вслед.
А увяжутся собаки —
Три версты отбою нет.

Моргунок гремит с телегой
В неизвестной стороне:
— Не видали ль человека
На копейчатом коне?

Моргунок волочит ноги
Тяжело, и, как назло,
Растянулось вдоль дороги
Бесконечное село.

Никуда от глаз не скрыться,
На виду мужик у всех.
По окошкам липнут лица.
Лай собачий,— смех и грех.

Моргунок везет понуро,
Не ворочаться ж назад.
Шум, смятенье, даже куры
Растревоженно кричат.

Дальше — к мосту — скат крутой,
Поскорей бы с глаз долой!
И пошел, пошел с разбега,
Только грохот поднялся.
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса.

За мостом дорога в гору,
Позади, в пыли густой:
— Стой! — кричат, как будто вору.—
Стой! Стой!..

Подбегают:
— Стой-ка, дед!
Заворачивай в Совет.

И народ кругом посыпал,
Рассуждая горячо:
— Мало, что ли, всяких типов,
Поглядишь, а тут еще...

— На поселке нищий в бане
Двое суток ночевал:
С золотыми был зубами —
Вроде бывший генерал...

И, упершись в грядки, миром
Помогают Моргунку.
— Только ты не бегай, милый...
— Да куда я побегу?..

В сельсовете председатель
Предложил на лавку сесть
И сказал учтиво:
— Дайте
Документы, если есть.

Из-за ворота рубахи
Тащит целый узелок,
Достает свои бумаги
Никита Моргунок.

Бумаги пожелтелые,
Как деньги — еле целые,
Зацапанные, мазаные,
Крест-накрест перевязанные.

— Вот при одной коровке
Семья моя — семь душ.
И хлебозаготовки,
И лесозаготовки,
И страх,
И труд,
И гуж.
И двор со всей скотиной,
И хата в три окна.
Единый —
Семь с полтиной,—
Уплаченный сполна.

Деревня Васильково,
Касплянский сельсовет,
И карточка конева,
А вот коня — и нет...

— Ну что ж, понятно в целом,
Одно неясно мне:
Без никакого дела
Ты ездишь по стране.
Вот, брат! — И председатель
Потер в раздумье нос: —
Ну, был бы ты писатель,
Тогда другой вопрос.
Езжай! И в самом деле,
Чего с тебя возьмешь?
— А что ж, у вас — артели?
— Кругом артели. Сплошь.

И гремит телега снова,
Застилая пылью след...

— Не видали ль верхового?..—
Отвечают:
— Что-то нет...

Моргунок телегу тянет.
Плечи стертые горят...
— Братцы! Где тут есть цыгане?
— Вон, в колхозе,— говорят.

ГЛАВА 10

Знал Никита Моргунок
Правило простое,
Что медведь блинов не пек,
Волк двора не строил.

Удивился Моргунок,
Видит: на поляне
Ходят вдоль и поперек
С косами цыгане.

Косят, словно мужики,
Ряд за рядом ходят.
Только носят оселки
Не по форме вроде.

Пахнет медом и росой,
Добрая работа!
Самому пройти с косой
Моргунку охота.

Хороша, густа трава,
Самый срок и время,
Да забита голова
Думами не теми.

Так и так. Иду полдня.
Карточка в кармане...
— Воротите мне коня,
Граждане цыгане.

— Так и быть,— сказал один,—
Ты — мужик хороший.
Заявляю — отдадим,
Как признаешь лошадь.

Сено свежее пока
На покосе вянет,
На конюшню Моргунка
Привели цыгане.

Попросили Моргунка
Чуть посторопиться,—
Конь выходит из станка,
Гладкий, точно птица.

Конь невиданной красы,
Уши ходят, как часы.

Конь хорош и, что хорош,
Сам об этом знает.
— Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин!

Попросили Моргунка
Постоять снаружи.
И выходит из станка
Конь второй — не хуже.

На спине играет дрожь,
Шея — вырезная.
— Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин!

Попросили Моргунка
Отойти немного.
И выводят из станка
Жеребца, как бога.

Корпус, ноги — все отдай,
Шерсть блестит сквозная.
— Ну, хозяин, признавай,
Признавай, хозяин!

— Извиняюсь, не могу,—
Врать, мол, нет расчета.
— То-то,— пальцем Моргунку
Погрозили,— то-то...

Он оглобли подвязал
Кверху, для ночлега:
— Завтра, малец, на базар
За конем. С телегой.

— Дядь, зовут нас. Слышишь, дядь?
Дескать, места хватит.
— Не желаю ночевать
Я в цыганской хате.

Ночь. Затих в загоне скот.
Пахнет пыль золою.
И цыганское встает
Солнце над землею.

И звенит во тьме комар
Тоненько, знакомо,
Как остывший самовар
После бани, дома.

И, вздохнув, на правый бок
Повернулся Моргунок.

Но не спится Моргунку
И на правом на боку.

Комариный звон в тиши,
Замирая, тонет...
«До чего же хороши,
Боже ты мой, кони!»

И, вздохнув, на левый бок
Повернулся Моргунок.

Но не спится Моргунку
И на левом на боку.

И, подумав, Моргунок
Бородою к звездам лег.

Кони рядом. И спроста
Ненадежно спрятаны:
Из соломы ворота
Лыком запечатаны.

Моргунок лежит, сопя,
Рассуждает про себя:
— Лошадей цыгане крали?
— Крали.

— Испокон веков у всех?
— У всех.
— А у них теперь нельзя ли?
У цыган? Не грех?
— Не грех...

Не лежится на спине,
Точно спит на бороне.
Встал и бережно пошел
За сарай. До ветру, мол...

Слышит — близко за спиной
Осторожный шорох.
— Что за люди? Кто такой? —
Спрашивает сторож.

— Я до ветру,— как урок,
Отвечал Никита.
И для виду все, что мог,
Справил деловито.

— Значит, ходишь по часам?
— Надо, милый, надо...

— Эхе-хе-хе-хе! — А сам —
Задом,
задом,
задом...

Сапоги надел скорей,
Хоть на босу ногу,
И с телегою своей
Тронулся в дорогу...

ГЛАВА 11

Большаком три ночи и три дня
Ехала телега без коня.

И шутил невесело мужик,
Что к коневой должности привык.

— Подучусь, как день еще пройду,
Все, что надо, делать на ходу.

А овсом питаться — не беда:
Попадала в хлеб и лебеда.

Стоя спать — уменья мало здесь.
Приходилось спать — и лапти плесть!

В неизвестный город большаком
Шла телега вслед за мужиком...

От куста идут и до куста,
От моста до нового моста.

От пятьсот девятого столба
До пятьсот десятого столба.

Далека родная сторона!
Что там баба делает одна?..

Ждет она хозяина с конем,
Знать она не знает ни о чем,
Как идет с телегой Моргунок
По одной из тысячи дорог...

Вышел в поле тракторный отряд,
По путям грохочет скорый поезд,
Самолеты по небу летят,
Ледоколы огибают полюс...

И, по-конски терпелив и строг,
Волокет телегу Моргунок.

Мальчик — ни на шаг от мужика...
Пусть идет — дорога широка.

Так идут, идут и слышат вдруг
Впереди, вдали копытный стук,
Будто в ступе коноплю толкут,
Будто бабы где-то кросна бьют.

Отголосок стороной идет,
И ездок покажется вот-вот...

Гоп-та-тах!..— И перед Моргупком
На коне,
На сером,
Поп верхом!..

Поп назад откинулся, сдержал,
Конь узнал хозяина, заржал.

Но в одну минуту Моргупок
Из оглобель выскочить не мог.
Он ремни распутывал, а поп —
Повернул коня и дал в галоп.

То ли поп коня того купил,
То ли вор у вора утащил...

— Стой!..— бежит Никита за конем,
Сапоги, пиджак горят на нем.

Сбилась шапка мокрая на лоб,
Вверх и вниз в глазах ныряет поп.

— Стой!..— кричит, бежит Никита вслед,
Голосу в груди и духу нет.

Он бежит, и замирает «сто-й!»
На дороге пыльной и пустой.

И, как рану, зажимая бок,
Падает на землю Моргунок.

Он лежит, как мертвый, недвижим,
Но земля сама бежит под ним.

Обернулись реки и мосты,
Вверх ногами — травы и кусты.

Но уже далече скачет поп,
Пропадает за холмами топ.

Тише, тише движется земля,
По местам становятся поля...

И лежит Никита Моргунок
На одной из тысячи дорог...

Пыль по-над дорогой незаметнее,
Вечер начинается вдали.
И березы старые, столетние
Опустили ветви до земли.
Тишина хорошая кругом...

— Дядь, вставай,
А, дядь?..
Вставай. Пойдем...

ГЛАВА 12

Деловито, не сердито
Меж палаток, меж подвод
Пробирается Никита:
— Дайте, граждане, проход.

И, встречая, обступая,
Любопытствует народ:
То ль коня он покупает,
То ль телегу продает?

— Погодите, не толкуйте,
Братцы, горе у меня:
На базар служитель культа
Моего угнал коня...

К конной привязи, в тенек
Заезжает Моргунок.

И пошел бродить на счастье
По базару взад-вперед.
Что ни лошадь серой масти,—
Сердце дрогнет и замрет.

Много серых и красивых,
Только равных нет коней:
То подсеченная грива,
То монета покрупней...

На лотках блестят селедки,
Солнце жарит пирожки.
Старичок с лихой бородкой
Кнутовьем звонит в горшки:

— Николаевская глина,
Отдаю за просто так:
С одноличницы — полтина,
С коммунарки — четвертак!..

Площадь залита народом,
Площадь ходит хороводом,
Площадь до краев полна,
Площадь пляшет, как волна.

— Расступись, давай проход,—
Жеребца артель ведет.
Как на выставке — проводят,
Уходи, живые, прочь!
Двое виснут на поводьях,
Трое ладятся помочь.

Мундштуки в горячем мыле,
Благородный карий глаз...
— Кто купил?
— Мы купили.
— Сколько дали?
— Хватит с нас.

Гомонит, гудит базар,
Девки, бабы — по возам.

Подбирают кони сено,
Шевелят сухой овес;
И шумит парная пена,
Остывая у колес.

В сюртуке старик усатый
За рога ведет козу.
Жарко дышат поросята
В тесной клетке на возу.

И идет от воза к возу,
Не смолкает говор, гам.
Пахнет сеном и навозом,
С «центроспиртом» пополам.

От жары укрыт, от пыли,
У ограды нищий ряд.
Тут остатние слепые
И убогие сидят.

Песня слышится сквозь гомон,
Оборвется — и опять...
Голос будто бы знакомый,
Только слов не разобрать.

Подошел, с другими рядом
Стал и видит Моргунок:
Грузный нищий — у ограды,
Шапка с медью — между ног.

Поводырь с восковым личиком
Сидит плечо к плечу:
— ...Отвечает эта птичка:
«Жить я в клетке не хочу.
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу...»

У певца глаза закрыты,
Голос набожно-суров.
Ахнул, чуть не сел Никита:
— Сукин сын! Илья Бугров!

И, точно сами, две руки
Вперед рванулись:
— Стой!..—
И раскатились пятаки,
Гремя по мостовой.

И Моргунок, как мех сопя,
Подмял слепого под себя.
Народ бежит со всех сторон:
— Слепого бьют... Разбой!..
— Да как же, братцы,— зрячий он.
— Ей-богу, был слепой.

Бугров, карабкаясь, хрипит:
— Пусти!.. Пусти меня.
Пусти, сосед. Скажу, Никит,
Чего-то про коня...

— Скажи,— нагнулся Моргунок,—
Скажи, пока не бью.
— Пусти, Никит... Скорей!.. Свисток!..
Обоих — в Гепею.

— Скажи — пущу.
— Скажу потом.
— Давай сейчас, злодей!
— Скажу. В сторонку отойдем,
Чтоб без чужих людей.

Не дома в праздничный денек
На хуторе своем,
Идет под ручку Моргунок
С Ильею Кузьмичом.

Ведет Бугрова Моргунок:
— Дорогу дай, народ.—
Ведет, и шапку, как залог,
Слепецкую несет.

Идут, шатаясь, вразнобой,
Пьяны средь бела дня.
Грозит им пальцем постовой:
— Глядите у меня!..

И говорит Илья Бугров
Тихонько Моргунку:
— Чудак ты, конь твой жив-здоров,
Поклясться в том могу.

И вдруг, не ахнул Моргунок.
— Стой! — закричал Бугров
И сквозь толпу рванулся вбок:
— Стой! Стой! Держи воров!..

— Стой!
— Братцы, братцы! — вскрикнул вслед
И всхлипнул Моргунок.
И ни коня, ни вора нет,—
В руках один залог.

Туда-сюда. Базар кругом,
Колышется народ.
Уже о чем-то о другом
Толкует и орет.

—Ну что ж... Спасибо, сукин сын:
Последний дал урок.—
И шмякнул шапку что есть сил
Никита Моргунок.

ГЛАВА 13

Вдоль дороги рожь бежала,
Над дорогой пыль дрожала,
Плыл дымок...
Ехал парень моложавый,
Кучерявый паренек.

Кучерявый паренек,
На затылке козырек.

Ехал парень хватом,
Девкам песни вез,
В елку след печатал
Шпорами колес.

Получил на курсах трактор
Кучерявый паренек,
Изучил *четыре такта,*
Заводить и править мог.

И смешно, да не до смеха,
Хорошо, да сам не рад,
Посадили — и поехал:
— Крой до места, трогай, брат.
Бога нету, говорят.

Не ломай деревья,
Не ворочай пни,
По пути в деревне
Угол не сверни.

Все в порядке. Едет парень.
За верстой идет верста.
Проезжает без аварий
Две деревни, три моста.

Руль одной рукою
Держит, как шофер.
Едет — что такое?
Смотрит — что за черт!

На припеке у дороги
Под телегой спит мужик.
Рядом мальчик босоногий
Кверху пятками лежит.

Слева, справа — нелюдимо,
Луговеет рыжий пар...
Проезжает парень мимо:
— Эй ты, дед, коня проспал!..

Спохватился Моргунок:
— А?.. Давно проспал, сынок.

И лежит он под телегой,
Как лежал.
Дескать, крой, а нам не к спеху,
Не пожар.

— Извиняюсь, бога нет.
Кто такой, откуда, дед?..

— Так и так. Длинна дорога.
Вот как выбился из сил...

— Ладно, дед. Нету бога,
Прицепляйся на буксир.

— Я не прочь, пожалуй,
Но одна статья:
За телегу, малый,
Опасаюсь я...

— Отговариваться нечем,
Делай дед. Решен вопрос...
За телегу сам отвечу,—
Своя кузня, свой колхоз.

Прицепились, едут.
Хороши дела.
И телега следом
Здорово пошла.

Едут, едут, едут,
Дым да стук кругом.
Едет парень с дедом,
Правит прямиком.

Руль одной рукою
Держит, как шофер.
Едет — что такое?
Слышит — что за черт?..

Слышит перебои,
Непохожий стук.
Трактор сам собою
Тормозится вдруг.

Парню до смерти неловко.
Эх ты, черт ее дери!
— Извиняюсь, остановка!
Зайчик выскочил внутри...

Пот на лбу открытом
Выступил. Беда!
— Та-ак,— сказал Никита.—
Добрая езда...

Достает инструмент парень,
Сам заходит сторопой,
Боязливо приступает,
Точно к лошади дурной.

Лезет парень под машину,
Об дорогу чешет спину,
Рукавом стирает пот,
В кепку болтики кладет.

Глубоко синеет небо,
Золотой стоит денек.
Двадцать лет монтером не был
Кучерявый паренек.

Не был батька, не был дед,
Не был прадед, бога нет!..

Бога нету,— несомненно:
Лет пяток —
Недолгий срок.
Будет летчиком отменным
Этот самый паренек.

Головным в могучей стае
Будет править на восток.
Высоко летать он станет,
Кучерявый паренек!

Кучерявый паренек,
Желтой кожи козырек!..

Ты забудешь ли, товарищ,
Наш любимец и герой,
Как лежал ты на дороге,
На дороге под горой.

Как кругом, шумя хлебами,
Длился день страды большой,
И кряхтел мужик тоскливо,
Ожидая над душой.

Мужику — оно не к спеху.
Он бы плюнул и повез
На себе свою телегу
И тащил бы тыщу верст.

Он бы вез ее дорогой,
Проклиная белый свет...

— Ну-ка, дед. Крутни немного.
Ну-ка, разом, бога нет!..

— Дай-ка,— плюнул в руку,
Взялся Моргунок.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка,
Ну, еще разок!..

Отскочил Никита,—
Задрожал мотор,
Нехотя, сердито
Тронулся, попер.

По мостам грохочет,
Правит паренек,
Придержать не хочет,
Сбавить хоть чутóк.

Кроет по увалам,
Только пыль хвостом...
— Малый, эй ты, малый,
Придержи, постой!

— Три версты осталось, дед.
— Дальше ехать мочи нет.
За провоз тебе спасибо.
Посоветуй лучше мне,
Где б конька какого-либо
Взять по сходственной цене?

Повернувшись на сиденье,
Смотрит тот на Моргунка:
— Нет, в колхозе и за деньги
Не купить тебе конька.

То ли делом, то ли смехом
Рассуждает паренек:
— Ну, прощай. Пора, брат, ехать.
Кто куда, а я — на ток...

Лошадь, не иначе,
В Островах найдешь.
Правда, кони — клячи,
Ну, да кони все ж...

Крой по ме́жам, это близко,
Дуй пешком, тебе видней.
Сдай телегу под расписку —
Довезу. И ма́льца с ней.

Ну, пока! Не опоздать бы...
Погоди, постой ты, дед:
Жду тебя к себе на свадьбу,
Приглашаю, бога нет!..

ГЛАВА 14

Вразброс под солнцем, как дрова,
Лежит селенье Острова.

Ни крыши целой, ни избы,
Что угол — то дыра.
И ровным счетом — три трубы
На тридцать три двора.

Встает, медлителен и глух,
Нерадостный рассвет.
На все село один петух —
И тот преклонных лет.

Поет, как вздумает певень,—
Ослабла голова.
Который час, который день,
Не знают Острова.

Который век, который год
Течет речушка Царь!
На колокольне в косу бьет
К обедне пономарь.

Кругом шумят моря хлебов,
Поля большой страны.
Худые крыши Островов
За ними чуть видны.

Солома преет у ворот.
Повалены плетни.
И курит попусту народ
На бревнышках в тени.

Строгает что-то ножиком,
Как бубен, лысый дед,
Скоблит...
— Бог помощь, граждане,
Колхозники ай нет?..

И отвечают медленно,
Недружно мужики.
Один:
— Мы — люди темные...
Другой:
— Мы индюки...

И подхватила женщина,
Припав к щеке рукой:
— Индусы называемся,
Индусы, дорогой...

— Выходит, бесколхозные.—
Вздохнул с усмешкой дед.—
Сошлись жуки навозные,
Гудят, а кучи нет...
Косить еще успеется,
На все у бога дни...

— Ты что строгаешь?
— Дудочки.
— А для чего они?..

— А дам по дудке каждому,
И дело как-никак.
— А не кулак ты, дедушка?
— А как же не кулак!

Богатством я, брат, славился
В деревне испокон:
Скота голов четыреста
И кнут пяти сажен.

Я гостем в каждой был избе,—
Где ужин — там ночлег.
Коня?.. Чего?.. Коня тебе?
Чудак ты, человек!..

Вот все хозяева сидят.
Продай коня, сосед...

— Продать,— оно не штука, брат,
Да вот коня-то нет.

— А хоть и есть,— вздохнул другой,—
Да конь-то больно дорогой:
За грудь, за складку вдоль спины,
За вороную масть
Полжизни плачено. Цепы
Такой никто не даст.

— А я как раз продать бы мог,
Да баба встанет поперек.
Что со слезами, что без слез
Толкует об одном:
Идти по крайности в колхоз,
Так со своим конем.

— Слыхал? — толкает Моргунка
Старик тихонько в бок.—
Эх, уступлю уж я конька,
Тому и быть, сынок.
Идем...

Старик заторопил
И Моргунка провел
В худой, без сошек и стропил,
С собачью будку, двор.

Там конь, не вскинув головы,
Стоял, как на мели.
И был он бел до синевы
И слеп, хоть глаз коли.

Толкает дед его рукой,
Глядит со стороны:
— Эх, конь! Царевой масти конь!
Ему, брат, нет цены.

И сам носился петушком:
— А? Что? Плохой конек?..
— Нет, лучше век ходить пешком.
— Ну, сам гляди, сынок.
Таков и конь, каков купец.
Соседи, чем не конь?

— Понятно, конь. Не жеребец.
— Ну, что там! Конь — огонь!..
Как побежит — земля дрожит,
Как упадет — три дня лежит,
И ни вожжа тогда, ни кнут
Ему не вставят ног...

— Да, вот как люди здесь живут,-
Причмокнул Моргунок.

— Сынок! Ты вот чего скажи,—
Опять пустился дед.—
А чем плохая наша жизнь?
По-мойму — лучше нет.

Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай.
Поехал — поезжай...

— Живете не богато вы,—
Смутился Моргунок.
— А счастье не в богачестве.
Зачем оно, сынок?

Нам бы хлебушка кусок,
Да водицы голоток,
Да изба с потолком,
Да старуха под боком.

— Верно.
— Правильно.
— Привычка...
Вот прохожий баял тож:
Отчего ты, дескать, птичка,
Хлебных зерен не клюешь?

В том как раз и заковычка —
От природы людям зло.
Отвечает будто птичка:
Жить, мол, в клетке тяжело.

— Кабы больше было воли,
Хочешь — здесь ты, хочешь — там...
— Кабы жалованье, что ли,
Положили мужикам.

— Кабы нам душа одна бы...
— Кабы жить нам не вразлад...
— Кабы если бы не бабы,
Бабы слушать не хотят!..

— Ты про баб молчи, пустыня,
Сами скажем про свое.
Вот хожу с грудьми пустыми
За хорошее житье.

У людей, людей — пшеничка
Наклонилась по ветру.
А у не́людей солома
Раскидалась по двору.

У людей, людей — ребятки
День гуляют на площадке,
За столом за общим в ряд,
Как горлачики, сидят.

А мои живут на свете
Хуже сивых поросят.
Невиновны мои дети —
Ихний батька виноват!

Погляжу на ту картину,
Как сидишь ты день-деньской,
Плюну, кину-запокину,
Убегу — и черт с тобой!..

Глядит, растерян и смущен,
Никита Моргунок.

Что скажет он?
Что понял он
За долгий путь и срок?..

— Ну вот,— снял шапку Моргунок,—
Понятно — жесткий год.
Все, братцы, вдоль и поперек,
Крест-накрест все идет.

И ваша жизнь — не жизнь, друзья,
Одна тоска и боль.
Гляжу на вас: так жить нельзя.
Решаться надо, что ль...

А что касается меня,
Возьмите то в расчет:
Поскольку я лишен коня,—
Ни взад мне, ни вперед.

Осиротил меня злодей,
Под самый корень ссек.
А конь был — нет таких коней!
Не конь, а человек.

Бывало, корочку из рук,
Как со стола, возьмет.
В ночном — чуть что — затихнет вдруг,
Как спросит: кто идет?

Прилечь на землю не могу.
Ни сна, ни дремы мне.
Вот будто ходит по лугу,
Ступает в стороне.

Как будто слышу стук копыт,
Вздыхает конь живой.
Трава росяная скрипит,
И пахнет той травой...

И стихли все... И Моргунок
Вдруг смолк понуро сам,
И смятой шапкой проволок
Неспешно по глазам...

Молчит на бревнышках народ,
Все сказаны слова.
Берет старик две дудки в рот,
Чуть набок голова.

Поймали пальцы нужный лад,
И тонкий звук потек:
«Пойду, пойду в зеленый сад,
Сорву я орешок».

Поет старик об орешке,
Играет оберучь.
Висит на ветхом пояске
Мужицкий медный ключ.

Ползет рубаха с плеч долой,
На ней заплатки сплошь.
А в песне — «парень удалой,
Куда меня ведешь!..»

Ту песню про зеленый сад,
Про желтый орешок
Слыхал лет двадцать пять назад
От деда Моргунок.

— Ну, что ж, пора. Сижу я тут
Без барышей полдня.
А там телега и хомут
И сбруя у меня.

ГЛАВА 15

Из всех излюбленных работ
Любил Никита обмолот.
И где и кто молотит,— мог
Узнать по стуку Моргунок.

У богачей да у попов
Ходили в дюжину цепов.
И все цепы колотят в лад
И соблюдают счет.
И на току — что полк солдат
Под музыку пройдет.

А сам Никита Моргунок
Вдвоем с женой ходил на ток.

До ночи хлеб свой выбивал
Не разгибая рук.
И, как калека, колдыбал
Хромой унылый стук.

Но любо было Моргунку,
Повесив теплый цеп,
Сидеть и веять на току
Набитый за день хлеб.

Кидай по горсточке одной
Навстречу ветерку,
И полумесяц золотой
Ложится на току.

Кидал бы так за возом воз
До нового утра,
И полумесяц все бы рос
И рос бы, как гора...

По стуку трактора на ток
Пришел Никита Моргунок.

Дрожит под пятками земля,
Стук, ветер, вой и свист,
И наклонился у руля
Тот самый тракторист.

А пыль, а дым несет в глаза,
И все зашлось в ушах.
Ни поздороваться нельзя,
Ни подойти на шаг.

Легка солома, колос чист,
Зерно шумит, как град.
— Снимай пиджак да становись,
Чего стесняться, брат!..

— А, дай! — Разделся Моргунок,
Рогатки в руки взял,
Покрылся ношей, поволок,
Знай наших! — доказал.

— Да я ж!.. Да господи спаси,
Да боже сохрани!..
Скажи — коси, скажи — носи,
Скажи — ворочай пни!..

Да я ж не лодырь, не злодей,
Да я ж не хуже всех людей.

Как хватит, хватит Моргунок,
Как навернет рогатками...
Сопит, хрипит, до нитки взмок,
Колотье под лопатками.

Солома — валом. Спасу нет.
Но вскоре из ворот
Мужчина Моргунковых лет
На выручку идет.

Тверд на ногах, что в землю врыт,
По голосу — добряк.
«А ты вот этак, говорит,
Ты, говорит, вот так!..»

И, пошу взяв с бобыльский воз,
Оп! — смотрит Моргунок —
Подсел, не крякнул и понес.
Раз! — и взмахнул на стог.

И, отряхнув с накидки ость,
Радушно говорит:
— Пойдем-ка мы отсюда, гость,
Охота покурить.

— А председатель как у вас,
Позволит он уйти?..
— А председатель я как раз,
Со мной, брат, не шути.

Держи табак. Бери, бери,
Верти своей рукой,
Устал, брат?.. Ну-ка, говори,
Откуда, кто такой?..
Издалека?
— Издалека.
От Ельни...
— В добрый час.

Сидят в тени два мужика,
Толкуют в первый раз.

Развеял ветер и унес
Махорочный дымок...
— Ну что ж, взгляни на наш колхоз,
Товарищ Моргунок.

Все разом, показать готов,
Усадьба велика.
Ведет Андрей Ильич Фролов
Под ручку Моргунка.

Ведет, ведет на новый двор,—
Он светел и смолист.
И бревна старые в забор
Меж новых улеглись.

В загон к скоту идет Фролов
С Никитою вдвоем
И гладит, хвалит всех коров,
Как на дворе своем.

Любую ногу подает
Ему в конюшне конь.
Теленок зеркальце сует
В хозяйскую ладонь.

Идут вперед, идут назад,
И видит Моргунок:
Взбегает малолетний сад
Рядами на припек.

Вдоль по усадьбе до ворот
Проходит гость, глядит.
Кол вбит,— попробует, качнет:
Всерьез ли в землю вбит.

Но все — не в шутку, все — всерьез.
Для жизни — в самый прок.
Один-единственный вопрос
Имеет Моргунок:

— Я полагаю, спору нет,
Вам все ж видней, партейному:
Скажите мне, на сколько лет
Такая жизнь затеяна?..

— А вот, товарищ Моргунок,
Ударят на обед,
Прикину, подведу итог —
И дам тебе ответ.

А заодно теперь позволь
Позвать тебя на хлеб да соль.

— Мой дед родной — Мирон Фролов —
Нас, молодых, бодрей.
Шестнадцать пережил попов
И четырех царей.

Мы, как подлесок, все под ним
Росли один перед другим.

И, приподнявшись от земли,
Все кланялись ему.
И шли в заводы, в шахты шли,
В солдаты и в тюрьму.

Шли, заполняли белый свет,—
Жить не при чем в семье.
Брели,— и где нас только нет,
Фроловых, на земле!

Живут в Москве и под Москвой,
В Сибири от годов.
Есть машинист, есть летчик свой,
Профессор есть Фролов.

Есть агроном, есть командир,
Писатель даже есть один.

И все — один перед другим,—
Хоть на меня смотри,
Росли под дедом под своим,
В него — богатыри.

Шесть ран принес с гражданской я,
Шесть дырок, друг родной.
Когда б силенка не моя,—
Хватило бы одной.

По всем закопам — инвалид,
Не плуг бы мне — костыль...
А после здесь уж был я бит,
Добро, что богатырь.

Делил луга, взимал налог
И землю нарезал.
И свято линию берег,
Что Ленин указал.

Записки мне тогда под дверь
Подсовывал Грачев:
«Земли себе сажень отмерь
И доски заготовь».

Фроловы были силачи,
Грачевы были богачи.

Грачевы — в лавку торговать,
Фроловы — сваи загонять.

Грачевы — сало под замок,
Фроловы — зубы на полок.

Мой враг до гроба и палач,
Вот в этот день и час,
Где ты на свете, Стенка Грач,
И весь твой подлый класс?!

И в смертный срок мой вспомню я,
Как к милости твоей
Просить ходила мать моя
Картошек для детей;

Как побирушкой робко шла
По дворне по твоей,
Полкан Иванычем звала
Собаку у дверей...

Да я и не про то теперь...
За землю мстил Грачев.
Земли, так и писал, отмерь
И доски заготовь.

Подстерегли меня они
В ночь под успеньев день —
Грачевы, целый взвод родни
Из разных деревень.

Жилье далеко в стороне,
Ночь, ветки — по глазам.
И только палочка при мне,—
Для сына вырезал.

И первый крикнул Степка Грач:
— Стой тут. И — руки вверх!
Не лезь в карман, не будь горяч,—
Засох твой револьвер.

Сдавай бумаги, говорят,
Давай, отчитывайся, брат!

Стою. А все они с дубьем,
Я против банды слаб.
Ну, шли б втроем, ну, вчетвером,
Ну, впятером хотя б...

Лощинка, лес стоит немой,
Тишь-тишина вокруг.
Кричать? Кричать характер мой
Не позволяет, друг.

А тени сходятся тесней,
Минута настает.
И тех, которые пьяней,
Пускают наперед.

Троих я сбил. А сзади — раз!
И полетел картуз...
И только помню, как сейчас,
За голову держусь.

Лежу лицом в сырой траве,
И звон далекий в голове.

И Грач толкает сыновей:
— Скорей! Грех, господи... Скорей!.

Да помню, точно сквозь туман,
Прощался я: «Сынок!..
Прости, что палочку сломал,
Подарок не сберег.

Прощай, сынок. Расти большой.
Живи, сынок, учись,
И стой, родной, как батька твой,
За нашу власть и жизнь!..»

Потом с полночи до утра
Я полз домой, как мог.
От той лощинки до двора
Кровавый след волок.

К крыльцу отцовскому приполз,
И не забуду я,
Как старый наш фроловский пес
Залаял на меня!

Хочу позвать: «Валет! Валет!..»
Не слушается рот.
...Ты говоришь, на сколько лет
Такая жизнь пойдет?..

Так вот, даю тебе ответ.
Открытый и сердечный:
Сначала только на пять лет.
— А там?..
— А там — на десять лет.
— А там?..
— А там — на двадцать лет.
— А там?..
— А там — навечно.
— И это твердо, значит?
— Да.
— Навечно, значит?
— Навсегда!..

Эх, друг родной, сказать любя,
Без толку носит черт тебя!..

Да я б на месте на твоем,
Товарищ Моргунок,—
Да отпусти меня райком —
Я б целый свет прошел пешком,
По всей Европе прямиком,
Прополз бы я, проник тайком,

Без тропок и дорог.
И правду всю рабочий класс
С моих узнал бы слов:

Какая жизнь теперь у нас,
Как я живу, Фролов.
И где б не мог сказать речей,
Я стал бы песню петь:
«Душите, братья, палачей,
Довольно вам терпеть!»

И шел бы я, и делал я
Великие дела.
И эта проповедь моя
Людей бы в бой вела.
И если будет суждено
На баррикадах пасть,
В какой земле — мне все равно,—
За нашу б только власть.

И где б я, мертвый, ни лежал,
Товарищ Моргунок,
Родному сыну завещал:
Иди вперед, сынок.

Иди, сынок. Расти большой.
Живи, сынок, учись.
И стой, родной, как батька твой,
За нашу власть и жизнь!

ГЛАВА 17

Ходит сторож, носит грозно
Дулом книзу ружьецо.
Ночью на земле колхозной
Сторож — главное лицо.

Осторожно, однотонно
У столба отбил часы.
Ночь давно. Армяк суконный
Тяжелеет от росы.

И по звездам знает сторож,—
По приметам, как всегда,—
Тень двойная станет скоро
Проходить туда-сюда.

Молодым — любовь да счастье,
На поре невеста дочь.
По двору Васек и Настя
Провожаются всю ночь.

Проведет он до порога:
— Ну, прощай, стучись домой.
— Нет, и я тебя немного
Провожу, хороший мой.

И доводит до окошка:
— Ну, прощай, хороший мой.
— Дай же я тебя немножко
Провожу теперь домой.

Дело близится к рассвету,
Ночь свежеет — не беда!
— Дай же я тебя за это...
— Дай же я тебя тогда...

Под мостом курлычет речка,
Днем неслышная совсем.
На остывшее крылечко
Отдохнуть старик присел.

Свесил голову, как птица,
Ружьецо стоит у ног.

— Что-то, брат, и мне не спится.—
Смотрит сторож — Моргунок.
— Ну, садись. А мне привычно.
Тем и должность хороша,—
Обо всем на белом свете
Можно думать не спеша:

О земле, о бывшем боге,
О скитаниях людей,
О твоей хотя б дороге,
О Муравии твоей.

Люди, люди, человеки,
Сколько с вами маяты!
Вот и в нашей был деревне
Дед один, такой, как ты.

Посох вырезал дубовый,
Сто рублей в пиджак зашил.
В лавру, в Киев снарядился:
— Поклонюсь, покамест жив.

И стыдили и грозили...
«Все стерплю, терпел Исус.
Может, я один в России
Верен богу остаюсь».

«Ладно. Шествуй-путешествуй,—
Говорит ему Фролов,—
А вернешься жив-здоров,
Все как есть расскажешь честно
Про святых и про попов».

И пошел паломник в лавру.
Пешим верстам долог счет.

Мы вот здесь сидим с тобою,
Говорим, а он идет...

А дорог на свете много,
Пролегли и впрямь и вкось.
Много ходит по дорогам —
И один другому рознь.

По весне в газете было,—
Может, сам слыхал о том,—
Как идет к границе нашей
Человек один пешком.

Он идет, работы нету,
Без куска его семья.
На войне он окалечен,
Оконтужен, как вот я.

По лесам идет, по тропам,
По долинам древних рек.
Через всю идет Европу,
Как из плена человек.

Он идет. Поля пустые.
Редко где дымит завод.
Мы вот здесь сидим с тобою,
Говорим, а он идет...

Слухам верить не пристало,
Но и слух не всякий зряшц.
Говорят, домой с канала
Волокется Степка Грач.

Он идет и тешит злобу,
Знает, с кем свести расчет.
Днями спит, идет ночами.
Вот сидим, а он идет...

А смотри-ка, друг прохожий!..
— Вижу,— вздрогнул Моргунок.
На звезду меж звезд похожий,
Плыл на запад огонек.

С ровным рокотом над ними,
Забирая ввысь, вперед,
Над дорогами земными
Правил в небе самолет.

— Высоко идет, красиво,
Хорошо, хоть песню пой!
Это тоже, братец, сила,
Тоже сторож наш ночной.

Он встает. Светло и строго
Утомленное лицо.
Где-то близко у калитки
Тихо звякнуло кольцо.

И бредет гармонь куда-то.
Только слышится едва:
«В саду мята,
Да не примята,
Да неподкошенная
Трава...»

Стоят столы кленовые.
Хозяйка, нагружай!
Поспела свадьба новая
Под новый урожай.

Поспела свадьба новая
Под пироги подовые,
Под свежую баранину,
Под пиво на меду,
Под золотую, раннюю
Антоновку в саду.

И над крыльцом невестиным,
Как первомайский знак,
Тревожно и торжественно
Похлопывает флаг.

Притихшая, усталая,
Заголосила старая.
Заголосила, вспомнила
Девичество бездомное,
Колечко обручальное,
Замужество печальное.

— Лети, лети, ластынька,
Лети за моря.
Прости-прощай, Настенька,
Дочушка моя.

Лети, сиротливая,
В чужие края.
Живи, будь счастливая,
Кровинка моя.

Надень бело платьице,
Пройдись по избе.
А что же да не плачется,
Не горько тебе?

Поплачь, поплачь, Настенька,
Дочушка моя.
Лети, лети, ластынька,
Лети за моря.

Гармонь, гармонь, бубенчики.
— Тпру, кони! Стой, постой!..
Идет жених застенчивый
Через девичий строй.

— Эх, Настя, нас обидела,
Кого взяла — не видела:
Общипанного малого,
Кривого, куцепалого.

А что ж тебя заставило
Выйти замуж за старого,
За старого, отсталого,
Худого, полинялого?

У твоего миленочка
Худая кобыленочка.
Он не доехал до горы,
Ее заели комары.

Дверь — настежь. Гости — на порог,
Гармонь. И кто-то враз
В сенях рассыпал, как горох,
Поспешный, дробный пляс.

И вот за стол кленовый
Идут, идут Фроловы.

Идут, идут — брат в брата,
Грудь в грудь, плечо в плечо.

Седьмой, восьмой, девятый,
А там еще! Еще!..

Стоят середь избы —
Богатыри.
Дубы!

И — даром, что ли, славятся —
Идут, красой грозя,
Ударницы-красавицы —
Жестокие глаза.

А впереди — затейная
Аксюта Тимофеевна:
— Где стала я, где села я —
Со мной бригада целая.

Три раза премированный,
Идет Фролов Иван —
Лошадник патентованный,
До свадьбы чутку ньян.

Идет, торжествен и суров,
Как в светлый день одет,
Ста восемнадцати годов,
Мирон Васильевич Фролов —
Белоголовый дед.

На свадьбу гостем приглашен,
Где правнуки сидят.
Сам в первый раз женился он
Сто лет тому назад.

И вот встает Андрей Фролов:
— Деды, позвольте пару слов.

Деды! В своей усадьбе
И на своей земле,
Когда, на чьей мы свадьбе
Гуляли здесь в селе?

Не в сытости, не в холе мы
Росли, и, как везде,
Шли замуж поневоле мы,
Женились — по нужде.

Деды! Своею властью
Мы здесь, семьею всей,
Справляем наше счастье
На свадьбе на своей.

За пару новобрачную,
За их любовь удачную,
За радость нашу пьем.
За то, что по-хорошему,
По-новому живем!

И свадьба дружно встала,
Сам сторож речь ведет:

— За молодых и старых,
За весь честной народ!
За дочь мою, за Настю,
И за дружка ее!
За их совет, за счастье,
За доброе житье!

А также выпить следует
За нас, за стариков,
И пусть вином заведует
Андрей Ильич Фролов.

Пускай проводит линию
Он с толком и душой:
Партейным льет по маленькой,
А нам уж — по большой.

И, видно, в меру каждому
Та линия была,—
Заговорили граждане
Про всякие дела.

— С тобой, Василий Федорыч,
Кому косить пришлось,—
Одно, Василий Федорыч:
Дух вон и лапти врозь.

С тобой, Василий Федорыч,
Запросит пить любой.
А я, Василий Федорыч,
Я ж рядом шел с тобой.

— Чистов, Прокофий Павлович,
Бобыльский бывший сын,
Не жук тебе на палочке,
А честный гражданин!

— А я стою на страже
Колхозного житья.
Кто скажет, кто докажет,
Что слабый сторож я?

А сын, читали сами,
На той границе он.
Оружьем и часами
За подвиг награжден.

Живу, горжусь сынами,
Тобой, горжусь, зятек...
Постойте, пьет ли с нами
Товарищ Моргунок?..

Встает Никита над столом
И утирает бороду.
Один поклон,
Другой поклон —
На ту, на эту сторону.

— Раз надо, не стою:
Пью. Откровенно пью!..

— Пей, друг, и ешь досыта,
С людьми гуляй и пей!

— Да я ж,— кричит Никита,—
Не хуже всех людей!

— Гуляй с душой открытой,
Как гость среди гостей.

— Но конь,— кричит Никита,—
Эх, нет таких коней!

— Забудь, живи счастливо,
Не хуже кони есть!..

— Горек хлеб! Горько пиво!
Нельзя пить, нельзя есть.

— Горек мед! — кричат вокруг.
— Горько все! — деды решили.

Гармонист ударил вдруг...
— Дайте круг!
— Шире круг!
— Расступитесь!
— Шире!
Шире!

— Эх, дай на свободе
Разойтись сгоряча!..—
Гармонист гармонь разводит
От плеча и до плеча.

Паренек чечетку точит,
Ходит задом наперед,
То присядет,
То подскочит,
То ладонью, между прочим,
По подметке
Попадет.
И поднесет ладонь к груди:
— Ходи, ходи!
Ходи, ходи!
Не скрывайся в хороводе,
Выходи —
И я с тобой!..

Гармонист ведет-выводит,
Помогает головой.

Выходит девочка бедовая,
Раздайся, хоровод!
Платье беленькое, новое
В два пальчика берет.

— Меня высватать хотели,
Не сумели убедить.
Неохота из артели
Даже замуж выходить.

А ты кто такой, молодчик? —
Я спрошу молодчика.—
Ты молодчик, да не летчик,
А мне надо летчика.

У колодца
Вода льется,
Подается по трубе.
Хорошо тебе живется,
Мне не хуже, чем тебе.

— Раздайся, хоровод:
Тимофеевна идет.

— Кому девки надоели,
Тот старуху подберет.

— Ничего про вас худого,
Девочки, не думала.
Отбить парня молодого
Одного надумала.

Эх, думала,
Подумала,
Веселые дела.
Дунула,
Плюнула,
Другого завела.

Бабий век —
Сорок лет.
Шестьдесят —
Износу нет.
Если смерти не случится,
Проживу еще сто лет.

Эх, кума,
кума,
кума,
Я сама себе — сама.
Я сама себе обновку
Праздничную справила.
Я за двадцать лет коровку
На дворе поставила.

Дед стар,
стар,
стар,—
Заплетаться стал.
Никуда он не годится:
Целоваться перестал.

Проведу его, злодея,
Накажу кудлатого:
Восьмерых сынов имею,
Закажу девятого.

— Раздайся, хоровод:
Моргунок плясать идет.
Он сам идти не хочет,
Бабка за полу ведет.

Бабка задом отступает,
Заводило знак дает.
Батька сына вызывает,
Выступает наперед.

Вышли биться
Насовсем.
Батьке — тридцать,
Сыну — семь.

Батька — щелком,
Батька дробью,
Батька с вывертом пошел,
Сын за батькой исподлобья
Наблюдает, как большой.

Батька кругом,
Сын волчком,
Не уступает ни почем.

А батька — рядом,
Сын вокруг,
И не дается на испуг.

А батька — этак,
Сын вот так,
И не отходит ни на шаг.

И оба пляшут от души,
И оба вместе хороши,
И оба — в шутку и всерьез,
И оба дороги до слез.

И расстаются, как друзья...
Ах, надо б лучше, да нельзя!..

И вот еще не стихнул пол
Под крепкой дробью ног,—
То ль нищий, то ли гость взошел
Тихонько на порог.

На нем поповский балахон
Подрезан и подшит.
Зовет хозяйку в сени он,
Хлопочет и спешит.

Толкуют гости: кто такой?
Портной ли, коновал?..

У палисада серый конь
На привязи стоял.

Идет к гостям старуха мать,
Не поднимает глаз:

— Проезжий батюшка. Венчать
Согласен хоть сейчас.

Подсела робко к старику:
— Ругать повремени.
На яйца, говорит, могу,
Могу — на трудодни.

И вдруг без шапки на порог
Метнулся Моргунок.

С крыльца на двор простукал вниз.
Бегом, как из огня...
И, повод оборвав, повис
На шее у коня.

ГЛАВА 19

От стороны, что всех родней,
За тридевять земель,
Знакомым скрипом вдруг о ней
Напомнит журавель.

Листвой и яблоками сад
Повеет на заре,
И петухи проголосят,
Как дома на дворе.

И свет такой, и дым такой,
И запахи родны,
Лишь солнце будто бы с другой
Восходит стороны...

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон,
И сверху — облака.

Поют над полем провода,
И впереди — вдали —
Встают большие города,
Как в море корабли.

Поют над полем провода,
Понуро конь идет.
Растут хлеба. Бредут стада.
В степи дымит завод.

— Что, конь, не малый мы с тобой
По свету дали крюк?..
По той, а может, не по той
Дороге едем, друг?..

Не видно — близко ль, далеко ль,
Куда держать, чудак?
Не знаю, конь. Гадаю, конь.
Кидаю так и так...

Посмотришь там, посмотришь тут,
Что хочешь — выбирай:
Где люди веселей живут,
Тот вроде лучше край...

Кладет Никита на ладонь
Всю жизнь, тоску и боль...

— Не знаю, конь. Гадаю, конь.
И нам решаться, что ль?..

За днем — в пути — проходит ночь,
Проходит день второй...

И вот на третий день точь-в-точь
В лощинке под горой
Глядит и видит в стороне

Никита Моргунок:
Сидит старик на белом пне
С котомкою у ног.

У старика суровый вид,
Почтенные лета,
Дубовый посох шляпкой сбит,
Как ручка долота.

Сидит старик, глядит молчком...
Занятно Моргунку:
— На лавру, что ли, прямиком
Стучишь по холодку?

И дед неспешно отвечал,
На разговор тяжел:
— Как раз на лавру путь держал,
Однако не дошел.

— Тпру, конь!.. Да как случилось, дед,
Что ты бредешь назад? —
А пеший конному в ответ:
— Не то бывает, брат.

Сквозь города, сквозь села шел,
Упрям, дебел и стар,
Один, остатний богомол,
Ходок к святым местам.

И вот в пути, в дороге дед
Был помыслом смущен:
— Что ж бог! Его не то чтоб нет,
Да не у власти он.

— А не слыхал ли, старина,
Скажи ты к слову мне,
Скажи, Муравская страна
В которой стороне?..

И отвечает богомол:
— Ишь, ты шутить мастак.
Страны Муравской нету, мол.
— Как так?
— А просто так.

Была Муравская страна,
И нету таковой.
Пропала, заросла она
Травою-муравой.

В один конец,
В другой конец
Открытый путь пролег...

— Так, говоришь, в колхоз, отец? —
Вдруг молвил Моргунок.

— По мне — верней;
Тебе — видней:
По воле действуй по своей...

— Нет, что уж думать,— говорит
Печально Моргунок.—
Все сроки вышли. Конь подбит...
Не пустят на порог.

Объехал, скажут, полстраны,
К готовому пришел...
— Для интересу взять должны,—
Толкует богомол.

— А что ты думаешь, родной! —
Повеселел ездок.—
Ну, посмеются надо мной,
А смех — он людям впрок.

Зато мне все теперь видней
На тыщи верст кругом.
Одно вот — уйму трудодней
Проездил я с конем...

— Прощай пока! — поднялся дед.—
Спешу и я, сынок...

И долго, долго смотрит вслед
Никита Моргунок.

1934—1936

ОТ АВТОРА

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной —
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда,—
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б — вода.
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой,—
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.

Важно только, чтобы повар
Был бы повар — парень свой;
Чтобы числился недаром,
Чтоб подчас не спал ночей,—
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару —
Подобрей, погорячей;
Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя.
Однако
Дело тут не только в щах.

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, по порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой,—

Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин — мой герой.
А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Что ж еще?.. И все, пожалуй.
Словом, книга про бойца
Без начала без конца.

Почему так — без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать ее сначала.

Почему же без конца?
Просто жалко молодца.

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне.
Делу время, час забаве,
Дорог Теркин на войне.

Как же вдруг тебя покину?
Старой дружбы верен счет.

Словом, книгу с середины
И начнем. А там пойдет.

НА ПРИВАЛЕ

— Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.
Суп — во-первых. Во-вторых,
Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик
Чуткий — это точно.

Слышь, подкинь еще одну
Ложечку, такую,
Я вторую, брат, войну
На веку воюю.
Оцени, добавь чуток.

Покосился повар:
«Ничего себе едок —
Парень этот новый».
Ложку лишнюю кладет,
Молвит несердито:
— Вам бы, знаете, во флот
С вашим аппетитом.

Тот: — Спасибо. Я как раз
Не бывал во флоте.
Мне бы лучше, вроде вас,
Поваром в пехоте.—
И, усевшись под сосной,
Кашу ест, сутулясь.

«Свой?» — бойцы между собой,—
«Свой!» — переглянулись.

И уже, пригревшись, спал
Крепко полк усталый.
В первом взводе сон пропал,
Вопреки уставу.
Привалясь к стволу сосны,
Не щадя махорки,
На войне насчет войны
Вел беседу Теркин.

— Вам, ребята, с серединки
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь ношу.
Вот вы прибыли на место,
Ружья в руки — и воюй.
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?

— Сабантуй — какой-то праздник?
Или что там — сабантуй?

— Сабантуй бывает разный,
А не знаешь — не толкуй.
Вот под первою бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался — не горюй:
Это — малый сабантуй.

Отдышись, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как минометный
Вдруг начнется сабантуй.
Тот проймет тебя поглубже,—
Землю-матушку целуй.
Но имей в виду, голубчик,
Это — средний сабантуй.

Сабантуй — тебе наука,
Враг лютует — сам лютуй.
Но совсем иная штука
Это — главный сабантуй.

Парень смолкнул на минуту,
Чтоб прочистить мундштучок,
Словно исподволь кому-то
Подмигнул: держись, дружок...

— Вот ты вышел спозаранку,
Глянул — в пот тебя и в дрожь:
Прут немецких тыща танков...
— Тыща танков? Ну, брат, врешь.

— А с чего мне врать, дружище?
Рассуди — какой расчет?
— Но зачем же сразу — тыща?
— Хорошо. Пускай пятьсот.

— Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.
— Ладно. Что там триста, двести —
Повстречай один хотя б...

— Что ж, в газетке лозунг точен:
Не беги в кусты да в хлеб.
Танк — он с виду грозен очень,
А на деле глух и слеп.

— То-то слеп. Лежишь в канаве,
А на сердце маята:
Вдруг как сослепу задавит,—
Ведь не видит ни черта.

Повторить согласен снова:
Что не знаешь — не толкуй.
Сабантуй — одно лишь слово —
Сабантуй!.. Но сабантуй
Может в голову ударить,
Или попросту в башку.
Вот у нас один был парень...
Дайте, что ли, табачку.

Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врет
Весело и складно.

В стороне лесной, глухой,
При лихой погоде,
Хорошо, как есть такой
Парень на походе.

И несмело у него
Просят: — Ну-ка, на ночь
Расскажи еще чего,
Василий Иваныч...

Ночь глуха, земля сыра.
Чуть костер дымится.

— Нет, ребята, спать пора,
Начинай стелиться.

К рукаву припав лицом,
На пригретом взгорке
Меж товарищей-бойцов
Лег Василий Теркин.

Тяжела, мокра шинель,
Дождь работал добрый.
Крыша — небо, хата — ель,
Корни жмут под ребра.

Но не видно, чтобы он
Удручен был этим,
Чтобы сон ему не в сон
Где-нибудь на свете.

Вот он полы подтянул,
Укрывая спину,
Чью-то тещу помянул,
Печку и перину.

И приник к земле сырой,
Одолен истомой,
И лежит он, мой герой,
Спит себе, как дома.

Спит — хоть голоден, хоть сыт,
Хоть один, хоть в куче.
Спать за прежний недосып,
Спать в запас научен.

И едва ль герою снится
Всякой ночью тяжкий сон:
Как от западной границы
Отступал к востоку он;

Как прошел он, Вася Теркин,
Из запаса рядовой,
В просоленной гимнастерке
Сотни верст земли родной.

До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то — своя.

Спит герой, храпит — и точка.
Принимает все, как есть.
Ну, своя — так это ж точно.
Ну, война — так я же здесь.

Спит, забыв о трудном лете.
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй.

Спят бойцы, как сон застал,
Под сосною впóкат,
Часовые на постах
Мокнут одиноко.

Зги не видно. Ночь вокруг.
И бойцу взгрустнется.
Только что-то вспомнит вдруг,
Вспомнит, усмехнется.

И как будто сон пропал,
Смех прогнал зевоту.

— Хорошо, что он попал,
Теркин, в нашу роту.

* * *

Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.

Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.

И чтоб знали, чем силен,
Скажем откровенно:
Красотою наделен
Не был он отменной.

Не высок, не то чтоб мал,
Но герой — героем.
На Карельском воевал —
За рекой Сестрою.

И не знаем почему,—
Спрашивать не стали,—
Почему тогда ему
Не дали медали.

С этой темы повернем,
Скажем для порядка:
Может, в списке наградном
Вышла опечатка.

Не гляди, что на груди,
А гляди, что впереди!

В строй с июня, в бой с июля,
Снова Теркин на войне.

— Видно, бомба или пуля
Не нашлась еще по мне.

Был в бою задет осколком,
Зажило — и столько толку.

Трижды был я окружен,
Трижды — вот он! — вышел вон.

И хоть было беспокойно —
Оставался невредим
Под огнем косым, трехслойным,
Под навесным и прямым.

И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был рассеян я частично,
А частично истреблен...

Но, однако,
Жив вояка,
К кухне — с места, с места — в бой.
Курит, ест и пьет со смаком
На позиции любой.

Как ни трудно, как ни худо —
Не сдавай, вперед гляди.

Это присказка покуда,
Сказка будет впереди.

ПЕРЕД БОЕМ

— Доложу хотя бы вкратце,
Как пришлось нам в счет войны
С тыла к фронту пробираться
С той, с немецкой стороны.

Как с немецкой, с той зарецкой
Стороны, как говорят,
Вслед за властью за советской,
Вслед за фронтом шел наш брат.

Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.

Полем шел, лесною кромкой,
Избегая лишних глаз,
Подходил к селу в потемках,
И служил ему котомкой
Боевой противогаз.

Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!

И по горькой той привычке,
Как в пути велела честь,
Он просил сперва водички,
А потом просил поесть.

Тетка — где ж она откажет?
Хоть какой, а все ж ты свой.
Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой,
Только молвит, провожая:
— Воротиться дай вам бог...

То была печаль большая,
Как брели мы на восток.

Шли худые, шли босые
В неизвестные края.
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя!

Шли, однако. Шел и я...

Я дорогою постылой
Пробирался не один.
Человек нас десять было,
Был у нас и командир.

Из бойцов. Мужчина дельный,
Местность эту знал вокруг.
Я ж, как более идейный,
Был там как бы политрук.

Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
— Не унывай.

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем.

Самого б меня спросили,
Ровно столько знал и я,
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?

Командир шагал угрюмо,
Тоже, исподволь смотрю,
Что-то он все думал, думал...
— Брось ты думать,— говорю.

Говорю ему душевно.
Он в ответ и молвит вдруг:
— По пути моя деревня.
Как ты мыслишь, политрук?

Что ответить? Как я мыслю?
Вижу, парень прячет взгляд,
Сам поник, усы обвисли.
Ну, а чем он виноват,
Что деревня по дороге,
Что душа заныла в нем?
Тут какой бы ни был строгий,
А сказал бы ты: «Зайдем...»

Встрепенулся ясный сокол,
Бросил думать, начал петь.
Впереди идет далеко,
Оторвался — не поспеть.

А пришли туда мы поздно,
И задами, конопле́й,
Осторожный и серьезный,
Вел он всех к себе домой.

Вот как было с нашим братом,
Что попал домой с войны:
Заходи в родную хату,
Пробираясь вдоль стены.

Знай вперед, что толку мало
От родимого угла,
Что война и тут ступала,
Впереди тебя прошла,
Что тебе своей побывкой
Не порадовать жену:
Забежал, поспал урывком,
Догоняй опять войну...

Вот хозяин сел, разулся,
Руку правую — на стол,
Будто с мельницы вернулся,
С поля к ужину пришел.
Будто так, а все иначе...
— Ну, жена, топи-ка печь,
Всем довольствием горячим
Мне команду обеспечь.

Дети спят. Жена хлопочет
В горький, грустный праздник свой,
Как ни мало этой ночи,
А и та — не ей одной.

Расторопными руками
Жарит, варит поскорей,
Полотенца с петухами
Достает, как для гостей.

Напоила, накормила,
Уложила на покой,
Да с такой заботой милой,
С доброй лаской такой,
Словно мы иной порою
Завернули в этот дом,
Словно были мы герои,
И немалые притом.

Сам хозяин, старший воин,
Что сидел среди гостей,
Вряд ли был когда доволен
Так хозяйкою своей.

Вряд ли всей она ухваткой
Хоть когда-нибудь была,
Как при этой встрече краткой,
Так родна и так мила.

И болел он, парень честный,
Понимал, отец семьи,
На кого в плену безвестном
Покидал жену с детьми...

Кончив сборы, разговоры,
Улеглись бойцы в дому.
Лег хозяин. Но не скоро
Подошла она к нему.

Тихо звякала посудой,
Что-то шила при огне.
А хозяин ждет оттуда,
Из угла.
Неловко мне.

Все товарищи уснули,
А меня не гнет ко сну.
Дай-ка лучше в карауле
На крылечке прикорну.

Взял шинель да, по присловью,
Смастерил себе постель,
Что под низ, и в изголовье,
И наверх,— и все — шинель.

Эх, суконная, казенная,
Военная шинель,—
У костра в лесу прожженная,
Отменная шинель.

Знаменитая, пробитая
В бою огнем врага
Да своей рукой зашитая,—
Кому не дорога!

Упадешь ли, как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинели той поношенной
Снесут тебя в санбат.

А убьют — так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелкою потертою
Укроют — спи, солдат!

Спи, солдат, при жизни краткой
Ни в дороге, ни в дому
Не пришлось поспать порядком
Ни с женой, ни одному...

На крыльцо хозяин вышел.
Той мне ночи не забыть.

— Ты чего?
— А я дровишек
Для хозяйки нарубить.

Вот не спится человеку,
Словно дома — на войне.
Зашагал на дровосеку,
Рубит хворост при луне.

Тюк да тюк. До света рубит.
Коротка солдату ночь.
Знать, жену жалеет, любит,
Да не знает, чем помочь.

Рубит, рубит. На рассвете
Покидает дом боец.

А под свет проснулись дети,
Поглядят — пришел отец.
Поглядят — бойцы чужие,
Ружья разные, ремни.
И ребята, как большие,
Словно поняли они.

И заплакали ребята.
И подумать было тут:
Может, нынче в эту хату
Немцы с ружьями войдут...

И доныне плач тот детский
В ранний час лихого дня
С той немецкой, с той зарецкой
Стороны зовет меня.

Я б мечтал не ради славы
Перед утром боевым,
Я б желал на берег правый,
Бой пройдя, вступить живым.

И скажу я без утайки,
Приведись мне там идти,
Я хотел бы к той хозяйке
Постучаться по пути.

Попросить воды напиться —
Не затем, чтоб сесть за стол,
А затем, чтоб поклониться
Доброй женщине простой.

Про хозяина ли спросит,—
«Полагаю — жив, здоров».
Взять топор, шинелку сбросить,
Нарубить хозяйке дров.

Потому — хозяин-барин
Ничего нам не сказал.
Может, нынче землю парит,
За которую стоял...

Впрочем, что там думать, братцы,
Надо немца бить спешить.
Вот и все, что Теркин вкратце
Вам имеет доложить.

ПЕРЕПРАВА

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода,—
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лед,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята
Сразу — будто не они,

Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят:
Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад.

Поглядеть — и впрямь — ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженый народ.

Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи — отцы.

Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишьих глаз
Смерть в бою свистела часто
И минет ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом.
А вода ревет правее —
Под подорванным мостом.
Вот уже на середине
Их относит и кружит...

А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит,
Меж погнутых балок фермы
Бьется в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверно,
Достает шестом земли.

Позади шумит протока,
И кругом — чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый,
За холодною чертой,
Неподступный, непочатый
Лес над черною водой.

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженых ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнем неразбериха —
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо,—
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.

Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь как год.

Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу.
За ночь грудою взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

И усталая с похода,
Чтоб б там ни было,— жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, пóтом,
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом,—
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльцой лежит на лицах —
Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть еще паек им пишет
Первой роты старшина.

Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой,
Что еще ребята сами
На привале при огне
Где нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы —
Спят бойцы.
Свое сказали
И уже навек правы.

И тверда, как камень, груда,
Где застыли их следы...

Может — так, а может — чудо?
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеды.

Долги ночи, жестки зори
В ноябре — к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре
Над холодною водой.

То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?

Видят — маленькая точка
Показалась вдалеке:
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке?

— Нет, не чурка и не бочка —
Просто глазу маята.
— Не пловец ли одиночка?
— Шутишь, брат. Вода не та!
— Да, вода... Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.
— Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.
И сказал один боец:
— Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,
Как бы ни было,— впервой.

Подошел сержант с биноклем.
Присмотрелся: нет, живой.
— Нет, живой. Без гимнастерки.

— А не фриц? Не к нам ли в тыл?
— Нет. А может, это Теркин? —
Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться,
Толку нет спускать понтон.
— Разрешите попытаться?
— Что пытаться!
— Братцы,— он!

И, у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Теркин,
Встал живой,— добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает — свело.

Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали —
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...
Вдруг он молвит, как во сне:
— Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не все на кожу тратить?

Дали стопку — начал жить,
Приподнялся на кровати:
— Разрешите доложить...
Взвод на правом берегу
Жив-здоров назло врагу!
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.

А уж следом за огнем
Встанем, ноги разомнем.
Что там есть, перекалечим,
Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно
Тотчас плыть ему назад.

— Молодец! — сказал полковник.—
Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
— А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?

Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
— Молодец, а будет много —
Сразу две.
— Так два ж конца...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

О ВОЙНЕ

Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.

А война — про все забудь
И пенять не вправе.
Собирался в дальний путь,
Дан приказ: «Отставить!»

Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.

От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ, Россия.

И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.

Тут не скажешь: я — не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.

Не велик тебе расчет
Думать в одиночку.
Бомба — дура. Попадет
Сдуру прямо в точку.

На войне себя забудь,
Помни честь, однако,
Рвись до дела — грудь на грудь,
Драка — значит, драка.

И признать не премину,
Дам свою оценку,
Тут не то, что в старину,—
Стенкою на стенку.

Тут не то, что на кулак:
Поглядим, чей дюже,—
Я сказал бы даже так:
Тут гораздо хуже...

Ну, да что о том судить,—
Ясно все до точки.
Надо братцы, немца бить,
Не давать отсрочки.

Раз война — про все забудь
И пенять не вправе,
Собирался в долгий путь,
Дан приказ: «Отставить!»

Сколько жил — на том конец,
От хлопот свободен.
И тогда ты — тот боец,
Что для боя годен.

И пойдешь в огонь любой,
Выполнишь задачу.
И глядишь — еще живой
Будешь сам в придачу.

А застигнет смертный час,
Значит, номер вышел.
В рифму что-нибудь про нас
После нас напишут.

Пусть привруг хоть во сто крат,
Мы к тому готовы,
Лишь бы дети, говорят,
Были бы здоровы...

ТЕРКИН РАНЕН

На могилы, рвы, канавы,
На клубки колючки ржавой,
На поля, холмы — дырявой,
Изувеченной земли,
На болотный лес корявый,
На кусты — снега легли.

И густой поземкой белой
Ветер поле заволок.
Вьюга в трубах обгорелых
Загудела у дорог.

И в снегах непроходимых
Эти мирные края
В эту памятную зиму
Орудийным пахли дымом,
Не людским дымком жилья.

И в лесах, на мерзлой груде,
По землянкам без огней,
Возле танков и орудий
И простуженных коней
На войне встречали люди
Долгий счет ночей и дней.

И лихой, нещадной стужи
Не бранили, как ни зла:
Лишь бы немцу было хуже,
О себе ли речь там шла!

И желал наш добрый парень:
Пусть померзнет немец-барин,
Немец-барин не привык,
Русский стерпит — он мужик.

Шумным хлопом рукавичным,
Топотней по целине
Спозаранку день обычный
Начинался на войне.

Чуть вился дымок несмелый,
Оживал костер с трудом,
В закоптелый бак гремела
Из ведра вода со льдом.

Утомленные ночлегом,
Шли бойцы из всех берлог
Греться бегом, мыться снегом,
Снегом жестким, как песок.

А потом — гуськом по стежке,
Соблюдая свой черед,
Котелки забрав и ложки,
К кухням шел за взводом взвод.

Суп досыта, чай до пота,—
Жизнь как жизнь.
И опять война — работа:
— Становись!

* * *

Вслед за ротой на опушку
Теркин движется с катушкой,
Разворачивает снасть,—
Приказали делать связь.

Рота головы пригнула.
Снег чернеет от огня.
Теркин крутит: — Тула, Тула!
Тула, слышишь ты меня?

Подмигнув бойцам украдкой:
Мол, у нас да не пойдет,—
Дунул в трубку для порядку,
Командиру подает.

Командиру все в привычку,—
Голос в горсточку, как спичку,
Трубку книзу, лег бочком,
Чтоб поземкой не задуло.
Все в порядке.
— Тула, Тула,
Помогите огоньком...

Не расскажешь, не опишешь,
Что́ за жизнь, когда в бою
За чужим огнем расслышишь
Артиллерию свою.

Воздух круто завивая,
С недалекой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Запоет над головой.

А с позиций отдаленных,
Сразу будто бы не в лад,
Ухнет вдруг дивизионной
Доброй матушки снаряд.

И пойдет, пойдет на славу,
Как из горна, жаром дуть,
С воем, с визгом шепелявым
Расчищать пехоте путь,
Бить, ломать и жечь в окружку.
Деревушка? — Деревушку.
Дом — так дом. Блиндаж — блиндаж.
Врешь, не высидишь — отдашь!

А еще остался кто там,
Запорошенный песком?
Погоди, встает пехота,
Дай достать тебя штыком.

Вслед за ротою стрелковой
Теркин дальше тянет провод.
Взвод — за валом огневым,
Теркин с ходу — вслед за взводом,
Топит провод, точно в воду,
Жив-здоров и невредим.

Вдруг из кустиков корявых,
Взрытых, вспаханных кругом,—
Чох! — снаряд за вспышкой ржавой.
Теркин тотчас в снег — ничком.

Вдался вглубь, лежит — не дышит,
Сам не знает: жив, убит?
Всей спиной, всей кожей слышит,
Как снаряд в снегу шипит...

Хвост овечий — сердце бьется.
Расстается с телом дух.
«Что ж он, черт, лежит — не рвется,
Ждать мне больше недосуг».

Приподнялся — глянул косо.
Он почти у самых ног —
Гладкий, круглый, тупоносый,
И над ним — сырой дымок.
Сколько б душ рванул на выброс
Вот такой дурак слепой
Неизвестного калибра —
С поросенка на убой.

Оглянулся воровато,
Подивился — смех и грех:
Все кругом лежат ребята,
Закопавшись носом в снег.

Теркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид.
— Хватит, хлопцы, землю нюхать,
Не годится,— говорит.

Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду...

Видит Теркин погребушку —
Не оттуда ль пушка бьет?
Передал бойцам катушку:
— Вы — вперед. А я — в обход.

С ходу двинул в дверь гранатой.
Спрыгнул вниз, пропал в дыму.
— Офицеры и солдаты,
Выходи по одному!..

Тишина. Полоска света.
Что там дальше — поглядим.
Никого, похоже, нету.
Никого. И я один.

Гул разрывов, словно в бочке,
Отдается в глубине.
Дело дрянь: другие точки
Бьют по занятой. По мне.

Бьют неплохо, спору нету.
Добрым словом помяни
Хоть за то, что погреб этот
Прочно сделали *они*.

Прочно сделали, надежно —
Тут не то что воевать,
Тут, ребята, чай пить можно,
Стенгазету выпускать.

Осмотрелся, точно в хате:
Печка теплая в углу,
Вдоль стены идут полати,
Банки, склянки на полу.

Непривычный, непохожий
Дух обжитого жилья:
Табаку, одежи, кожи
И солдатского белья.

Снова сунутся? Ну что же,
В обороне нынче — я...
На прицеле вход и выход,
Две гранаты под рукой.

Смолк огонь. И стало тихо.
И идут — один, другой...

Теркин, стой. Дыши ровнее.
Теркин, ближе подпусти.
Теркин, целься. Бей вернее,
Теркин. Сердце, не части.

Рассказать бы вам ребята,
Хоть не верь глазам своим,
Как немецкого солдата
В двух шагах видал живым.

Подходил он в чем-то белом,
Наклонившись от огня,
И как будто дело делал:
Шел ко мне — убить меня.

В этот ровик, точно с печки,
Стал спускаться на заду...

Теркин, друг, не дай осечки.
Пропадешь,— имей в виду.

За секунду до разрыва,
Знать, хотел подать пример:
Прямо в ровик спрыгнул живо
В полушубке офицер.

И поднялся незадетый,
Цельный. Ждем за косяком.
Офицер — из пистолета,
Теркин — в мягкое — штыком.

Сам присел, присел тихонько.
Повело его легонько.
Тронул правое плечо.
Ранен. Мокро. Горячо.

И рукой коснулся пола:
Кровь,— чужая иль своя?

Тут как даст вблизи тяжелый,
Аж подвинулась земля!

Вслед за ним другой ударил,
И темнее стало вдруг.

«Это — наши,— понял парень,—
Наши бьют,— теперь каюк».

Оглушенный тяжким гулом,
Теркин никнет головой.
Тула, Тула, что ж ты, Тула,
Тут же свой боец живой.

Он сидит — за стенкой дзота,
Кровь течет, рукав набряк.
Тула, Тула, неохота
Помирать ему вот так.

На полу в холодной яме
Неохота нипочем
Гибнуть с мокрыми ногами,
Со своим больным плечом.

Жалко жизни той, приманки,
Малость хочется пожить,
Хоть погреться на лежанке,
Хоть портянки просушить...

Теркин сник. Тоска согнула.
Тула, Тула... Что ж ты, Тула?
Тула, Тула. Это ж я...
Тула... Родина моя!..

* * *

А тем часом издалека,
Глухо, как из-под земли,
Ровный, дружный, тяжкий рокот
Надвигался, рос. С востока
Танки шли.

Низкогрудый, плоскодонный,
Отягченный сам собой,
С пушкой, в душу наведенной,
Страшен танк, идущий в бой.

А за грохотом и громом,
За броней стальной сидят,
По местам сидят, как дома,
Трое-четверо знакомых
Наших стриженых ребят.

И пускай в бою впервые,
Но ребята — свет пройди.
Ловят в щели смотровые
Кромку поля впереди.

Видят — вздыбился разбитый,
Развороченный накат.
Крепко бито. Цель накрыта.
Ну, а вдруг как там сидят!

Может быть, притих до срока
У орудия расчет?
Развернись машина боком —
Бронебойным припечет.

Или немец с автоматом,
Лезть наружу не дурак,
Там следит за нашим братом,
Выжидает. Как не так.

Двое вслед — за командиром
Вниз — с гранатой — вдоль стены.
Тишина. Углы темны...

— Хлопцы, занята квартира,—
Слышат вдруг из глубины.

Не обман, не вражьи шутки,
Голос вправдашный, родной:
— Пособите. Вот уж сутки
Точка данная за мной...

В темноте, в углу каморки,
На полу боец в крови.
Кто такой? Но смолкнул Теркин,
Как там хочешь, так зови.

Он лежит с лицом землистым,
Не моргнет, хоть глаз коли.
В самый срок его танкисты
Подобрали, повезли.

Шла машина в снежной дымке,
Ехал Теркин без дорог.
И держал его в обнимку
Хлопец — башенный стрелок.

Укрывал своей одежей,
Грел дыханьем. Не беда,
Что в глаза его, быть может,
Не увидит никогда...

Свет пройди,— нигде не сыщешь,
Не случалось видеть мне
Дружбы той святей и чище,
Что бывает на войне.

О НАГРАДЕ

— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.

Буду ль жив еще? — Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчет медали:
Мне ее тогда подай.

Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое —
Человек пришел с войны.

Вот пришел я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришел, а тут гулянка.
Нет, гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий —
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.

И, явившись на вечерку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».

И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.

И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.

— Как, мол, что? — Бывало всяко.
— Трудно все же? — Как когда.
— Много раз ходил в атаку?
— Да, случалось иногда.

И девчонки на вечерке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна...
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!

Ждет девчонка, хоть, не мучай,
Слова, взгляда твоего...

— Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечерке,
И девчонка — самый цвет.

— Нет,— сказал Василий Теркин
И вздохнул. И снова: — Нет.
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.

* * *

Теркин, Теркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далеко вдаль.

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.

Где девчонки, где вечерки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Теркин,
Что туда дороги нет.

Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.

Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

ГАРМОНЬ

По дороге прифронтóвой,
Запоясан, как в строю,
Шел боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.

Шел легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же
Щелкал по лесу мороз,
Защемлял в пути все туже,
Подгонял, под мышки нес.

Вдруг — сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофер,
Тормозит:
— Садись, пехота,
Щеки снегом бы натер.

Далеко ль?
— На фронт обратно.
Руку вылечил.
— Понятно.
Не герой?
— Покамест нет.
— Доставай тогда кисет.

Курят, едут. Гроб — дорога.
Меж сугробами — туннель.
Чуть ли что, свернешь немного,
Как свернул — снимай шинель.

— Хорошо — как есть лопата.
— Хорошо, а то беда.
— Хорошо — свои ребята.
— Хорошо, да как когда.

Грузовик гремит трехтонный,
Вдруг колонна впереди.
Будь ты пеший или конный,
А с машиной — стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой.
Разговор — не разговор.
Наклонился над баранкой,—
Смолк шофер,
Заснул шофер.

Сколько суток полусонных,
Сколько верст в пурге слепой
На дорогах занесенных
Он оставил за собой...

От глухой лесной опушки
До невидимой реки —
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики,
Легковые — криво, косо,
В ряд, не в ряд, вперед-назад,
Гусеницы и колеса
На снегу еще визжат.

На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь —
Не дотронься как-нибудь.

— Вот беда: во всей колонне
Завалящей нет гармони,
А мороз — ни стать, ни сесть...

Снял перчатки, трет ладони,
Слышит вдруг:
— Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,
Вперемену — пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.

— У кого гармонь, ребята?
— Да она-то здесь, браток...—
Огляпулся виновато
На водителя стрелок.

— Так, сыграть бы на дорожку?
— Да сыграть — оно не вред.
— В чем же дело? Чья гармошка?
— Чья была, того, брат, нет...

И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
— Командир наш был любитель...
Схоронили мы его.

— Так...— С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой,
Нехотя обидел вдруг.

Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь:
— Я считал, сыграть-то можно,
Думал, что ж ее беречь.

А стрелок:
— Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем...
Трое — были мы друзья.

— Да нельзя так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну...
И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же — посудите —
Может, завтра — с места в бой...

— Знаешь что,— сказал водитель,—
Ну, сыграй ты, шут с тобой.

Только взял боец трехрядку,
Сразу видно — гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский
Вдруг завел, глаза закрыв,
Стороны родной смоленской
Грустный памятный мотив,

И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.

От машин заиндевелых
Шел народ, как на огонь.
И кому какое дело,
Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомек.

Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли...

И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой еще народ.

Я не то еще сказал бы,—
Про себя поберегу.
Я не так еще сыграл бы,—
Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу,
И давайте я на шутку
Это все переведу.

Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.
— Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.

— Отморозил парень пальцы,—
Надо помощь скорую.
— Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трехрядку
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.

И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому,—
Где жена и где тот дом?

Плясуны на пару пара
С места кинулися вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы!
На носки не наступать!

И бежит шофер тот самый,
Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,
Где пришелся ко двору?
Крикнул так, что расступились:
— Дайте мне, а то помру!..

И пошел, пошел работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечерке
Половицы гнет в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.

Подает за штукой штуку:
— Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощеный круг!
Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук,
Припечатать так, чтоб сразу
Каблуку тому — каюк!

А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет...

Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.

Хоть бы что ребятам этим,
С места — в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете,
Хоть бы что — гудит гармонь.

Выговаривает чисто,
До души доносит звук.
И сказали два танкиста
Гармонисту:
— Знаешь, друг...
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат?
Вся в крови была одежа,
И просил ты пить да пить...

Приглушил гармонь:
— Ну что же,
Очень даже может быть.

— Нам теперь стоять в ремонте.
У тебя маршрут иной.
— Это точно...
— А гармонь-то,
Знаешь что,— бери с собой.

Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту.
— Что вы, хлопцы, как же так?..

— Ничего,— сказал водитель,—
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это — память про него...

И с опушки отдаленной
Из-за тысячи колес
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» — донеслось.

И опять увалы, взгорки,
Снег да елки с двух сторон...
Едет дальше Вася Теркин,—
Это был, конечно, он.

ДВА СОЛДАТА

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гудит война.
На печи в избе старуха,
Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит — Теркин дома,
Теркин снова на войне.

А старик как будто ухом
По привычке не ведет.
— Перелет! Лежи, старуха.—
Или скажет:
— Недолет...

На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика,

С кем жила — не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого вдали держала
По хозяйству все ключи.

А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.

— Вот не режет, точишь, точишь,
Не берет, ну что ты хочешь!..—
Теркин встал:
— А может, дед,
У нее развода нет?

Сам пилу берет:
— А ну-ка...—
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.
Теркин щурится:
— Ну, вот.
Поищи-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.

Посмотреть — и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.

Обернулась — и готово.
— На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инструмент не кори.

И хозяин виновато
У бойца берет пилу.
— Вот что значит мы, солдаты,—
Ставит бережно в углу.

А старуха:
— Слаб глазами.
Стар годами мой солдат.
Поглядел бы, что с часами,
С той войны еще стоят...

Снял часы, глядит: машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально,—
Все ж часы, а не пила,—
Мастер тихо и печально
Просвистел:
— Плохи дела...

Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул,—
Что ты думаешь,— пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый,
Час — другой, вперед — назад.
— Вот что значит мы, солдаты,—
Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
— Идут!
— Ну и парень, ну и шут...

Удивляется. А парень
Услужить еще не прочь.
— Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:
— Сало, сало! Где там сало...

Теркин:
— Бабка, сало здесь.
Не был немец — значит, есть!

И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
— Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
— Бог с тобою, разве можно...
Помолчи уж, помолчи.

«Василий Теркин»

А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
— Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.

— Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.

Отвинтил у фляги крышку:
— Пей, отец, не будет лишку.

Поперхнулся дед-солдат.
Подтянулся:
— Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.
Пожевал — и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
— Рассуждая так ли, сяк ли,
Все равно такою каплей
Не согреть бойца в бою,
Будьте живы!
— Пейте.
— Пью...

И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:
— Позволь, товарищ.
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне — тогда я бог!

Снова где-то на задворках
Мерзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чем — Василий Теркин,
Как ни в чем — старик солдат.

— Эти штуки в жизни нашей,—
Дед расхвастался,— пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадет, откинешь ложкой,
А в тебя — так и мертвец.

— Но не знали вы бомбежки,
Я скажу тебе, отец.

— Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрешь.
А скажи, простая штука
Есть у вас?
— Какая?
— Вошь.

И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Теркин
И сказал:
— Чаетично есть...

— Значит, есть? Тогда ты — воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты — солдат, хотя и млад,
А солдат солдату — брат.

И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьез.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьем мы немца
Или, может, не побьем?

— Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь — захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднес.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе,
И солдату самому.
Молча в путь запоясался,
Осмотрелся — все ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!
Все припомнил, все проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:
— Побьем, отец...

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гремит война.
На печи в избе — старуха.
Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперед,
По снегам идет Василий
Теркин. Немца бить идет.

О ПОТЕРЕ

Потерял боец кисет,
Заискался,— нет и нет.

Говорит боец:
— Досадно.
Столько вдруг свалилось бед:
Потерял семью. Ну, ладно.
Нет, так на́ тебе — кисет!

Запропастился куда-то,
Хвать-похвать, пропал и след.
Потерял и двор и хату.
Хорошо. И вот — кисет.

Кабы годы молодые,
А не целых сорок лет...
Потерял края родные,
Все на свете — и кисет.

Посмотрел с тоской вокруг:
— Без кисета, как без рук.

В неприютном школьном доме —
Мужики, не детвора.
Не за партой — на соломе,
Перетертой, как костра.

Спят бойцы, кому досуг.
Бородач горюет вслух:
— Без кисета у махорки
Вкус не тот уже. Слаба!
Вот судьба, товарищ Теркин.—
Теркин:
— Что там за судьба!

Так случиться может с каждым,—
Возразил бородачу,—
Не такой со мной однажды
Случай был. И то молчу.

И молчит, сопит сурово.
Кое-где привстал народ.
Из мешка из вещевого
Теркин шапку достает.

Просто шапку меховую,
Той подругу боевую,
Что сидит на голове.
Есть одна. Откуда две?

— Привезли меня на танке,—
Начал Теркин,— сдали с рук.
Только нет моей ушанки,
Непорядок чую вдруг.

И не то чтоб очень зябкий,—
Просто гордость у меня.
Потому, боец без шапки —
Не боец. Как без ремня.

А девчонка перевязку
Нежно делает, с опаской,
И, видать, сама она
В этом деле зелена.

— Шапку, шапку мне, иначе
Не поеду! — Вот дела.
Так кричу, почти что плачу,
Рана трудная была.

А она, девчонка эта,
Словно «баюшки-баю»:
— Шапки вашей,— молвит,— **нету,**
Я вам шапку дам свою.

Наклонилась и надела.
— Не волнуйтесь,— говорит
И своей ручонкой белой
Обкололась: был небрит.

Сколько в жизни всяких шапок
Я носил уже — не счесть,
Но у этой даже запах
Не такой какой-то есть...

— Ишь ты, выдумал примету.
— Слышал звон издалека.
— А зачем ты шапку эту
Сохраняешь?
— Дорога.

Дорога бойцу, как память.
А еще сказать могу
По секрету, между нами,—
Шапку с целью берегу.

И в один прекрасный вечер
Вдруг случится разговор:
«Разрешите вам при встрече
Головной вручить убор...»

Сам привстал Василий с места
И под смех бойцов густой,
Как на сцене, с важным жестом
Обратился будто к той,
Что пять слов ему сказала,
Что таких ребят, как он,
За войну перевязала,
Может, целый батальон.

— Ишь, какие знает речи,
Из каких политбесед:
«Разрешите вам при встрече...»
Вон тут что. А ты — кисет.

— Что ж, понятно, холостому
Много лучше на войне:
Нет тоски такой по дому,
По детишкам, по жене.

— Холостому? Это точно.
Это ты как угадал.
Но поверь, что я нарочно
Не женился. Я, брат, знал!

— Что ты знал! Кому другому
Знать бы лучше наперед,
Что уйдет солдат из дому,
А война домой придет.

Что пройдет она потопом
По лицу земли живой
И заставит рыть окопы
Перед самою Москвой.
Что ты знал!..

— А ты постой-ка,
Не гляди, что с виду мал.
Я не столько,
Не полстолько,—
Четверть столько! —
Только знал.

Ничего, что я в колхозе,
Не в столице курс прошел.
Жаль, гармонь моя в обозе,
Я бы лекцию прочел.

Разреши одно отметить,
Мой товарищ и сосед:
Сколько лет живем на свете?
Двадцать пять! А ты — кисет.

Бородач под смех и гомон
Роет вновь труху-солому,
Перещупал все вокруг:
— Без кисета, как без рук...

— Без кисета, несомненно,
Ты боец уже не тот.
Раз кисет — предмет военный,
На-ко мой, не подойдет?

Принимай, я — добрый парень.
Мне не жаль. Не пропаду.
Мне еще пять штук подарят
В наступающем году.

Тот берет кисет потертый.
Как дитя, обновке рад...

И тогда Василий Теркин
Словно вспомнил:
— Слушай, брат.

Потерять семью не стыдно —
Не твоя была вина.
Потерять башку — обидно,
Только что ж, на то война.

Потерять кисет с махоркой,
Если некому пошить,—
Я не спорю,— тоже горько,
Тяжело, но можно жить,
Пережить беду-проруху,
В кулаке держать табак,
Но Россию, мать-старуху,
Нам терять нельзя никак.

Наши деды, наши дети,
Наши внуки не велят.
Сколько лет живем на свете?
Тыщу?.. Больше! То-то, брат!

Сколько жить еще на свете,—
Год, иль два, иль тыщи лет,—
Мы с тобой за все в ответе.
То-то, брат! А ты — кисет...

ПОЕДИНОК

Немец был силен и ловок,
Ладно скроен, крепко сшит,
Он стоял, как на подковах,
Не пугай — не побежит.

Сытый, бритый, береженый,
Дармовым добром кормленный,
На войне, в чужой земле
Отоспавшийся в тепле.

Он ударил, не стращая,
Бил, чтоб сбить наверняка.
И была как кость большая
В русской варежке рука...

Не играл со смертью в прятки,—
Взялся — бейся и молчи,—
Теркин знал, что в этой схватке
Он слабей: не те харчи.

Есть войны закон не новый:
В отступленье — ешь ты вдоволь,
В обороне — так ли сяк,
В наступленье — натощак.

Немец стукнул так, что челюсть
Будто вправо подалась.
И тогда боец, не целясь,
Хрястнул немца промеж глаз.

И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.

Так сошлись, сцепились близко,
Что уже обоймы, диски,
Автоматы — к черту, прочь!
Только б нож и мог помочь.

Бьются двое в клубах пара,
Об ином уже не речь,—
Ладит Теркин от удара
Хоть бы зубы заберечь.

Но покуда Теркин санки,
Сколько мог,
В бою берег,
Двинул немец, точно штангой,
Да не в санки,
А под вздох.

Охнул Теркин: плохо дело,
Плохо, думает боец.
Хорошо, что легок телом —
Отлетел. А то б — конец...

Устоял — и сам с испугу
Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча.

Черт с ней! Рад, что не промазал,
Хоть зубам не полон счет,
Но и немец левым глазом
Наблюденья не ведет.

Драка — драка, не игрушка!
Хоть огнем горит лицо,
Но и немец красной юшкой
Разукрашен, как яйцо.

Вот он — в полвершке — противник.
Носом к носу. Теснота.
До чего же он противный —
Дух у немца изо рта.

Злобно Теркин сплюнул кровью.
Ну и запах! Валит с ног.
Ах ты, сволочь, для здоровья,
Не иначе, жрешь чеснок!

Ты куда спешил — к хозяйке?
Матка, млеко? Матка, яйки?
Оказать решил нам честь?
Подавай! А кто ты есть,

Кто ты есть, что к нашей бабке
Заявился на порог,
Не спросясь, не скинув шапки
И не вытерши сапог?

Со старухой сладить в силе?
Подавай! Нет, кто ты есть,
Что должны тебе в России
Подавать мы пить и есть?

Не калека ли убогий,
Или добрый человек —
Заблудился

По дороге,
Попросился
На ночлег?

Добрым людям люди рады.
Нет, ты сам себе силен.
Ты наводишь
Свой порядок.
Ты приходишь —
Твой закон.

Кто ж ты есть? Мне толку нету,
Чей ты сын и чей отец.
Человек по всем приметам,—
Человек ты? Нет. Подлец!

Двое топчутся по кругу,
Словно пара на кругу,
И глядят в глаза друг другу:
Зверю — зверь и враг — врагу.

Как на древнем поле боя,
Грудь на грудь, что щит на щит,—
Вместо тысяч бьются двое,
Словно схватка все решит.

А вблизи от деревушки,
Где застал их свет дневной,
Самолеты, танки, пушки
У обоих за спиной.

Но до боя нет им дела,
И ни звука с тех сторон.
В одиночку — грудью, телом
Бьется Теркин, держит фронт.

На печальном том задворке,
У покинутых дворов
Держит фронт Василий Теркин,
В забытьи глотая кровь.

Бьется насмерть парень бравый,
Так что дым стоит сырой,
Словно вся страна-держава
Видит Теркина:
— Герой!

Что страна! Хотя бы рота
Видеть издали могла,
Какова его работа
И какие тут дела.

Только Теркин не в обиде.
Не затем на смерть идешь,
Чтобы кто-нибудь увидел.
Хорошо б. А нет — ну что ж...

Бьется насмерть парень бравый —
Так, как бьются на войне.
И уже рукою правой
Он владеет не вполне.

Кость гудит от раны старой,
И ему, чтоб крепче бить,
Чтобы слева класть удары,
Хорошо б левшою быть.

Бьется Теркин,
В драке зоркий,
Утирает кровь и пот.
Изнемог, убился Теркин,
Но и враг уже не тот.

Далеко не та заправка,
И побита морда вся,
Словно яблоко-полявка,
Что иначе есть нельзя.

Кровь — сосульками. Однако
В самый жар вступает драка.

Немец горд.
И Теркин горд.
— Раз ты пес, так я — собака,
Раз ты черт,
Так сам я — черт!

Ты не знал мою натуру,
А натура — первый сорт.
В клочья шкуру —
Теркин чуру
Не попросит. Вот где черт!

Кто одной боится смерти —
Кто плевал на сто смертей.
Пусть ты черт. Да наши черти
Всех чертей
В сто раз чертей.

Бей, не милуй. Зубы стисну.
А убьешь, так и потом
На тебе, как клещ, повисну.
Мертвый буду на живом.

Отоспись на мне, будь ласков,
Да свали меня вперед.

Ах, ты вон как! Драться каской?
Ну не подлый ли народ!

Хорошо же! —
И тогда-то,
Злость и боль забрав в кулак,
Незаряженной гранатой
Теркин немца — с левой — шмяк!

Немец охнул и обмяк...

Теркин ворот нараспашку,
Теркин сел, глотает снег,
Смотрит грустно, дышит тяжко,—
Поработал человек.

Хорошо, друзья, приятно,
Сделав дело, ко двору —
В батальон идти обратно
Из разведки поутру.

По земле ступать советской,
Думать — мало ли о чем!
Автомат нести немецкий,
Между прочим, за плечом.

«Языка» — добычу ночи,—
Что идет, куда не хочет,
На три шага впереди
Подгонять:
— Иди, иди...

Видеть, знать, что каждый встречный-
Поперечный — это свой.
Не знаком, а рад сердечно,
Что вернулся ты живой.

Доложить про все по форме,
Сдать трофеи не спеша.
А потом тебя покормят,—
Будет мерою душа.

Старшина отпустит чарку,
Строгий глаз в нее кося.
А потом у печки жаркой
Ляг, поспи. Война не вся.

Фронт налево, фронт направо,
И в февральской вьюжной мгле
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

ОТ АВТОРА

Сто страниц минуло в книжке,
Впереди — не близкий путь.
Стой-ка, брат. Без передышки
Невозможно. Дай вздохнуть.

Дай вздохнуть, возьми в догадку:
Что теперь, что в старину —
Трудно слушать по порядку
Сказку длинную одну
Все про то же — про войну.

Про огонь, про снег, про танки,
Про землянки да портянки,
Про портянки да землянки,
Про махорку и мороз...

Вот уж нынче повелось:
Рыбаку лишь о путине,
Печнику дудят о глине,
Леснику о древесине,
Хлебопеку о квашне,
Коновалу о коне,
А бойцу ли, генералу —
Не иначе — о войне.

О войне — оно понятно,
Что война. А суть в другом:
Дай с войны прийти обратно
При победе над врагом.

Учинив за все расплату,
Дай вернуться в дом родной
Человеку. И тогда-то
Сказки нет ему иной.

И тогда ему так сладко
Будет слушать по порядку
И подробно обо всем,
Что изведано горбом,
Что исхожено ногами,
Что испытано руками,
Что повидано в глаза
И о чем, друзья, покамест
Все равно — всего нельзя...

Мерзлый грунт долби, лопата,
Танк — дави, греми — граната,
Штык — работай, бомба — бей.
На войне душе солдата
Сказка мирная милей.

Друг-читатель, я ли спорю,
Что войны милее жизнь?
Да война ревет, как море,
Грозно в дамбу упершись.

Я одно скажу, что нам бы
Поуправиться с войной,
Отодвинуть эту дамбу
За предел земли родной.

А покуда край обширный,
Той земли родной — в плену,
Я — любитель жизни мирной —
На войне пою войну.

Что ж еще? И все, пожалуй,
Та же книга про бойца.
Без начала, без конца,
Без особого сюжета,
Впрочем, правде не во вред.

На войне сюжета нету.
— Как так нету?
— Так вот, нет.

Есть закон — служить до срока,
Служба — труд, солдат — не гость.
Есть отбой — уснул глубоко,
Есть подъем — вскочил, как гвоздь.

Есть война — солдат воюет,
Лют противник — сам лютует.
Есть сигнал: вперед!..— Вперед.
Есть приказ: умри!..— Умрет.

На войне ни дня, ни часа
Не живет он без приказа,
И не может испокон
Без приказа командира
Ни сменить свою квартиру,
Ни сменить портянки он.

Ни жениться, ни влюбиться
Он не может,— нету прав,
Ни уехать за границу
От любви, как бывший граф.

Если в песнях и поется,
Разве можно брать в расчет,
Что герой мой у колодца,
У каких-нибудь ворот,
Буде случай подвернется,
Чью-то долю ущипнет?

А еще добавим к слову:
Жив-здоров герой пока,
Но отнюдь не заколдован
От осколка-дурака,
От любой дурацкой пули,
Что, быть может, наугад,
Как пришлось, летит вслепую,
Подвернулся,— точка, брат.

Ветер злой навстречу пышет,
Жизнь, как веточку, колышет,
Каждый день и час грозя.
Кто доскажет, кто дослышит —
Угадать вперед нельзя.

И до той глухой разлуки,
Что бывает на войне,
Рассказать еще о друге
Кое-что успеть бы мне.

Тем же ладом, тем же рядом,
Только стежкою иной.

Пушки к бою едут задом,—
Это сказано не мной.

«КТО СТРЕЛЯЛ?»

Отдымился бой вчерашний,
Высох пот, металл простыл.
От окопов пахнет пашней,
Летом мирным и простым.

В полверсте, в кустах — противник,
Тут шагам и пядям счет.
Фронт. Война. А вечер дивный
По полям пустым идет.

По следам страды вчерашней,
По немыслимой тропе;
По ничьей, помятой, зряшной
Луговой, густой траве;

По земле, рябой от рытвин,
Рваных ям, воронок, рвов,
Смертным зноем жаркой битвы
Опаленных у краев...

И откуда по пустому
Долетел, донесся звук,
Добрый, давний и знакомый
Звук вечерний. Майский жук!

И ненужной горькой лаской
Растревожил он ребят,
Что в росой покрытых касках
По окопчикам сидят.

И такой тоской родною
Сердце сразу обволок!

Фронт, война. А тут иное:
Выводи коней в ночное,
Торопись на «пятачок».

Отпляшись, а там сторонкой
Удаляйся в березняк,
Провожай домой девчонку
Да целуй — не будь дурак,
Налегке иди обратно,
Мать заждалася...

И вдруг —
Вдалеке возник невнятный,
Новый, ноющий, двукратный,
Через миг уже понятный
И томящий душу звук.

Звук тот самый, при котором
В прифронтовой полосе
Поначалу все шоферы
Разбегались от шоссе.

На одной постылой ноте
Ноет, воет, как в трубе.
И бежать при всей охоте
Не положено тебе.

Ты, как гвоздь, на этом взгорке
Вбился в землю. Не тоскуй.
Ведь — согласно поговорке —
Это малый сабантуй...

Ждут, молчат, глядят ребята,
Зубы сжав, чтоб дрожь унять.
И, как водится, оратор
Тут находится под стать.

С удивительной заботой
Подсказать тебе горазд:
— Вот сейчас он с разворота
И начнет. И жизни даст.
Жизни даст!

Со страшным ревом
Самолет ныряет вниз,
И сильнее нету слова
Той команды, что готова
На устах у всех:
— Ложись!..

Смерть есть смерть. Ее прихода
Все мы ждем по старине.
А в какое время года
Легче гибнуть на войне?

Летом солнце греет жарко,
И вступает в полный цвет
Все кругом. И жизни жалко
До зарезу. Летом — нет.

В осень смерть под стать картине,
В сон идет природа вся.
Но в грязи, в окопной глине
Вдруг загнуться? Нет, друзья...

А зимой — земля, как камень,
На два метра глубиной,
Привалит тебя комками,—
Нет уж, ну ее — зимой.

А весной, весной... Да где там,
Лучше скажем наперед:
Если горько гибнуть летом,
Если осенью — не мед,
Если в зиму дрожь берет,
То весной, друзья, от этой
Подлой штуки — душу рвет.

И какой ты вдруг покорный
На груди лежишь земной,
Заслонясь от смерти черной
Только собственной спиной.

Ты лежишь ничком, парнишка
Двадцати неполных лет.
Вот сейчас тебе и крышка,
Вот тебя уже и нет.

Ты прижал к вискам ладони,
Ты забыл, забыл, забыл,
Как траву щипали кони,
Что в ночное ты водил.

Смерть грохочет в перепонках,
И далек, далек, далек
Вечер тот и та девчонка,
Что любил ты и берег.

И друзей и близких лица,
Дом родной, сучок в стене...
Нет, боец, ничком молиться
Не годится на войне.

Нет, товарищ, зло и гордо,
Как закон велит бойцу,
Смерть встречай лицом к лицу,
И хотя бы плюнь ей в морду,
Если все пришло к концу...

Ну-ка, что за перемена?
То не шутки — бой идет.
Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.

Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне.

Бой неравный, бой короткий.
Самолет чужой, с крестом,
Покачнулся, точно лодка,
Зачерпнувшая бортом.

Накренясь, пошел по кругу,
Кувыркается над лугом,—
Не задерживай — давай,
В землю штопором въезжай!

Сам стрелок глядит с испугом:
Что наделал невзначай.

Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный
Самолет — стальная снасть —
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.

— Не пробил, старался слабо.
— Видно, место прогадал.

— Кто стрелял? — звонят из штаба.—
Кто стрелял, куда попал?

Адъютанты землю роют,
Дышит в трубку генерал.
— Разыскать тотчас героя.
Кто стрелял? —
А кто стрелял?

Кто не спрятался в окопчик,
Поминая всех родных,
Кто он — свой среди своих —
Не зенитчик и не летчик,
А герой — не хуже их?

Вот он сам стоит с винтовкой,
Вот поздравили его.
И как будто всем неловко —
Неизвестно отчего.

Виноваты, что ль, отчасти?
И сказал сержант спроста:
— Вот что значит парню счастье,
Глядь — и орден, как с куста!

Не промедливши с ответом,
Парень сдачу подает:
— Не горюй, у немца этот —
Не последний самолет...

С этой шуткой-поговоркой,
Облетевшей батальон,
Перешел в герои Теркин,—
Это был, понятно, он.

О ГЕРОЕ

— Нет, поскольку о награде
Речь опять зашла, друзья,
То уже не шутки ради
Кое-что добавлю я.

Как-то в госпитале было.
День лежу, лежу второй.
Кто-то смотрит мне в затылок,
Погляжу, а то — герой.

Сам собой, сказать,— мальчишка,
Недолеток-стригунок.
И мутит меня мыслишка:
Вот он мог, а я не мог...

Разговор идет меж нами,
И спроси я с первых слов:
— Вы откуда родом сами —
Не из наших ли краев?

Смотрит он:
— А вы откуда? —
Отвечаю:
— Так и так,
Сам как раз смоленский буду,
Может, думаю, земляк?

Аж привстал герой:
— Ну что вы,
Что вы,— вскинул головой,—
Я как раз из-под Тамбова,—
И потрогал орден свой.

И умолкнул. И похоже,
Подчеркнуть хотел он мне,
Что таких, как он, не может
Быть в смолепской стороне;

Что уж так они вовеки
Различаются места,
Что у них ручьи и реки
И сама земля не та,
И полянки, и пригорки,
И козявки, и жуки...

И куда ты, Васька Теркин,
Лезешь сдуру в земляки!

Так ли нет — сказать,— не знаю,
Только мне от мысли той
Сторона моя родная
Показалась сиротой,
Сиротинкой, что не видно
На народе, на кругу...

Так мне стало вдруг обидно,—
Рассказать вам не могу.

Это да, что я не гордый
По характеру, а все ж
Вот теперь, когда я орден
Нацеплю, скажу я: врешь!

Мы в землячество не лезем,
Есть свои у нас края.
Ты — тамбовский? Будь любезен.
А смоленский — вот он я.

Не иной какой, не энский,
Безымянный корешок,
А действительно смоленский,
Как дразнили нас, рожок.

Не кичусь родным я краем,
Но пройди весь белый свет —
Кто в рожки тебе сыграет
Так, как наш смоленский дед.

Заведет, задует сивая
Лихая борода:
Ты куда, моя красивая,
Куда идешь, куда...

И ведет, поет, заяривает —
Ладно, что без слов,
Со слезою выговаривает
Радость и любовь.

И за ту одну старинную
За музыку-рожок
В край родной дорогу длинную
Сто раз бы я прошел.

Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне родина
Родная сторона!

Заняла война полсвета,
Стон стоит второе лето.
Опоясал фронт страну.
Где-то Ладога... А где-то
Дон — и то же на Дону...

Где-то лошади в упряжке
В скалах зубы бьют об лед...
Где-то яблоня цветет,
И моряк в одной тельняшке
Тащит степью пулемет...

Где-то бомбы топчут город,
Тонут на море суда...
Где-то танки лезут в горы,
К Волге двинулась беда...

Где-то будто на задворке,
Будто знать про то не знал,
На своем участке Теркин
В обороне загорал.

У лесной глухой речушки,
Что катилась вдоль войны,
После доброй постирушки
Поразвесил для просушки
Гимнастерку и штаны.

На припеке обнял землю.
Руки выбросил вперед
И лежит и так-то дремлет,
Может быть, за целый год.

И речушка — неглубокий
Родниковый ручеек —
Шевелит травой-осокой
У его разутых ног.

И курлычет с тихой лаской,
Моет камушки на дне.
И выходит не то сказка,
Не то песенка во сне.

Я на речке ноги вымою.
Куда, реченька, течешь?
В сторону мою, родимую,
Может, где-нибудь свернешь.

Может, где-нибудь излучиной
По пути зайдешь туда
И под проволокой колючею
Проберешься без труда,

Меж немецкими окопами,
Мимо вражеских постов,
Возле пушек, в землю вкопанных,
Промелькнешь из-за кустов.

И тропой своей исконною
Протечешь ты там, как тут,
И ни пешие, ни конные
На пути не переймут.

Дотечешь дорогой кружною
До родимого села.
На мосту солдаты с ружьями,—
Ты под мостиком прошла.

Там печаль свою великую,
Что без края и конца,
Над тобой, над речкой, выплакать,
Может, выйдет мать бойца.

Над тобой, над малой речкою,
Над водой, чей путь далек,
Послыхать бы хоть словечко ей,
Хоть одно, что цел сынок.

Промороженный, простуженный
Отдыхает он, герой,
Битый, раненый, контуженный,
Да здоровый и живой...

Теркин — много ли дремал он,
Землю-мать прижав к щеке,—
Слышит:
— Теркин, к генералу
На одной давай ноге.

Посмотрел, поднялся Теркин,
Тут связной стоит.
— Ну что ж,
Без штанов, без гимнастерки
К генералу не пойдешь.

Говорит, чудит, а все же
Сам, волнуясь и сопя,
Непросохшую одежу
Спешно пялит на себя.
Приросла к спине — не стронет...

— Теркин, сроку пять минут.
— Ничего. С земли не сгонят,
Дальше фронта не пошлют.

Подзаправился на славу,
И хоть знает наперед,
Что совсем не на расправу
Генерал его зовет,—
Все ж у главного порога
В генеральском блиндаже —
Был бы бог, так Теркин богу
Помолился бы в душе.

Шутка ль, если разобраться:
К генералу входишь вдруг,—
Генерал — один на двадцать,
Двадцать пять, а может статься,
И на сорок верст вокруг.

Генерал стоит над нами,—
Оробеть при нем не грех —
Он не только что чинами,
Боевыми орденами,
Он годами старше всех.

Ты, обжегшись кашей, плакал,
Ты пешком ходил под стол,
Он тогда уж был воякой,
Он ходил уже в атаку,
Взвод, а то и роту вел.

И на этой половине —
У передних наших линий,
На войне — не кто, как он
Твой ЦК и твой Калинин.
Суд. Отец. Глава. Закон.

Честью, друг, считай немалой,
Заработанной в бою,
Услыхать от генерала
Вдруг фамилию свою.

Знай: за дело, за заслугу
Жмет тебе он крепко руку
Боевой своей рукой.

— Вот, брат, значит, ты какой.
Богатырь. Орел. Ну, просто —
Воин! — скажет генерал.

И пускай ты даже ростом
И плечьми всего не взял,
И одет не для парада,—
Тут война — парад потом,—
Говорят: орел, так надо
И глядеть и быть орлом.

Стой, боец, с достойным видом,
Понимай, в душе имей:
Генерал награду выдал —
Как бы снял с груди своей —
И к бойцовской гимнастерке
Прикрепил немедля сам.
И ладонью:
— Вот, брат Теркин,—
По лихим провел усам.

В скобках надобно, пожалуй,
Здесь отметить, что усы,
Если есть у генерала,
То они не для красы.

На войне ли, на параде
Не пустяк, друзья, когда
Генерал усы погладил
И сказал хотя бы:
— Да...

Есть привычка боевая,
Есть минуты и часы...
И не зря еще Чапаев
Уважал свои усы.

Словом — дальше. Генералу
Показалось под конец,
Что своей награде мало
Почему-то рад боец.

Что ж, боец — душа живая,
На войне второй уж год...

И не каждый день сбивают
Из винтовки самолет.

Молодца и в самом деле
Отличить расчет прямой.

— Вот что, Теркин, на неделю
Можешь с орденом — домой...

Теркин — понял ли, не понял
Иль не верит тем словам?
Только дрогнули ладони
Рук протянутых по швам.

Про себя вздохнув глубоко,
Теркин тихо отвечал:
— На неделю мало сроку
Мне, товарищ генерал...

Генерал склонился строго:
— Как так мало? Почему?
— Потому — трудна дорога
Нынче к дому моему.
Дом-то вроде недалечко,
По прямой — пустяшный путь...

— Ну а что ж?
— Да я не речка,
Чтоб легко туда шмыгнуть.
Мне, по крайности, вначале
Днем соваться не с руки.
Мне идти туда ночами,
Ну, а ночи коротки...

Генерал кивнул:
— Понятно!
Дело с отпуском — табак.—
Пошутил:
— А как обратно
Ты пришел бы?..
— Точно ж так...

Сторона моя лесная,
Каждый кустик мне — родня.
Я пути такие знаю,
Что поди поймай меня!

Мне там каждая знакома
Бороздёнка под межой.
Я — смоленский. Я там дома.
Я там — свой, а *он* — чужой.

— Погоди-ка. Ты без шуток.
Ты бы вот что мне сказал...

И как будто в ту минуту
Что-то вспомнил генерал.
На бойца взглянул душевней
И сказал, шагнув к степе:
— Ну-ка, где твоя деревня?
Покажи по карте мне.

Теркин дышит осторожно
У начальства за плечом.
— Можно,— молвит,— это можно.
Вот он Днепр, а вот мой дом.

Генерал отметил точку.
— Вот что, Теркин, в одиночку

Не резон тебе идти.
Потерпи уж, дай отсрочку,
Нам с тобою по пути...

Отпуск точно, аккуратно
За тобой прошу учесть.

И боец сказал:
— Понятно.—
И еще добавил:
— Есть.

Встал по форме у порога,
Призадумался немного,
На секунду на одну...

Генерал усы потрогал
И сказал, поднявшись:
— Ну?..

Скольких он, над картой сидя,
Словом, подписью своей,
Перед тем в глаза не видя,
Посылал на смерть людей!

Что же, всех и не увидишь,
С каждым к росстаням не выйдешь,
На прощанье всем нельзя
Заглянуть тепло в глаза.

Заглянуть в глаза, как другу,
И пожать покрепче руку,
И по имени назвать,
И удачи пожелать,
И, помедливши минутку,
Ободрить старинной шуткой:
Мол, хотя и тяжело,
А, между прочим, ничего...

Нет, на всех тебя не хватит,
Хоть какой ты генерал.

Но с одним проститься, кстати,
Генерал не забывал.

Обнялись они, мужчины,
Генерал-майор с бойцом,—
Генерал — с любимым сыном,
А боец — с родным отцом.

И бойцу за тем порогом
Предстояла путь-дорога
На родную сторону,
Прямиком через войну.

О СЕБЕ

Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога вдаль.
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.

Да и не было помехи
Взять и вспомнить наугад
Старый лес, куда в орехи
Я ходил с толпой ребят.

Лес — ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем,
Хламом гильз, жестянок, касок
Не завалепный кругом;

Блиндажами не изрытый,
Не обкуренный зимой,
Ни своими не обжитый,
Ни чужими под землей.

«Василий Теркин»

Милый лес, где я мальчонкой
Плел из веток шалаши,
Где однажды я теленка,
Сбившись с ног, искал в глуши...

Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.

Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом
Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождем.

И в глуши родной, ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.

И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.

И в истоме птицы смолкли...
Светлой каплею смола
По коре нагретой елки,
Как слеза во сне текла...

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет?

Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.

Вспомнить разом что придется —
Сонный полдень над водой,

Дворик, стежку до колодца,
Где песочек золотой;
Книгу, читанную в поле,
Кнут, свисающий с плеча,
Лед на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича...

Да и не было запрета,
Проездной купив билет,
Вдруг туда приехать летом,
Где ты не был десять лет...

Чтобы с лаской, хоть не детской,
Вновь обнять старуху мать,
Не под проволокой немецкой
Нужно было проползать.

Чтоб со взрослой грустью сладкой
Праздник встречи пережить —
Не украдкой, не с оглядкой
По родным лесам кружить.

Чтоб сердечным разговором
С земляками встретить день —
Не нужда была, как вору,
Под стеною прятать тень...

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду — лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну.

Не звериным робким следом
Я приду, твой кровный сын,—
Вместе с нашею победой
Я иду, а не один.

Этот час не за горою,
Для меня и для тебя...

А читатель той порою
Скажет:
— Где же про героя?
Это больше про себя.

Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек.

Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?

Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чем в другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сестры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.
То, что я всем сердцем славил
И любил — за той чертой.

Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил — за той, за той —
За неписаной границей,
Поперек страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек — летом и зимой...

И скажу тебе, не скрою,—
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за все крутом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Теркин, мой герой,
За меня гласит порой.

Он земляк мой и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Все же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну — нет.

Теркин — дальше. Автор — вслед.

БОЙ В БОЛОТЕ

Бой безвестный, о котором
Речь сегодня поведем,
Был, прошел, забылся скоро...
Да и вспомнят ли о нем?

Бой в лесу, в кустах, в болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;

Где брели бойцы понуро,
И, скользнув с бревна в почи,
Артиллерия тонула,
Увязали тягачи.

Этот бой в болоте диком
На втором году войны
Не за город шел великий,
Что один у всей страны;

Не за гордую твердыню,
Что у матушки-реки,
А за некий, скажем ныне,
Населенный пункт Боркн.

Он стоял за тем болотом
У конца лесной тропы,
В нем осталось ровным счетом
Обгорелых три трубы.

Там с открытых и закрытых
Огневых — кому забыть! —
Было бито, бито, бито,
И, казалось, что там бить?

Там в щебенку каждый камень,
В щепки каждое бревно.
Называлось там Борками
Место черное одно.

А в окружку — мох, болото,
Край от мира в стороне.
И подумать вдруг, что кто-то
Здесь родился, жил, работал,
Кто сегодня на войне.

Где ты, где ты, мальчик босый,
Деревенский пастушок,
Что по этим дымным росам,
Что по этим кочкам шел?

Бился ль ты в горах Кавказа
Или пал за Сталинград,
Мой земляк, ровесник, брат,
Верный долгу и приказу
Русский труженик-солдат.

Или, может, в этих дымах,
Что уже недалеки,
Видишь нынче свой родимый
Угол дедовский Борки?

И у той черты недальной,
У земли многострадальной,
Что была к тебе добра,
Влился голос твой в печальный
И протяжный стон: «Ура-а...»

Как в бою удачи мало
И дела нехороши,
Виноватого, бывало,
Там попробуй поищи.

Артиллерия толково
Говорит — она права:
— Вся беда, что танки снова
В лес свернули по дрова.

А еще сложнее счеты,
Чуть танкиста повстречал:
— Подвела опять пехота.
Залегла. Пропал запал.

А пехота не хвастливо,
Без отрыва от земли
Лишь махнет рукой лениво:
— Точно. Танки подвели.

Так идет оно по кругу,
И ругают все друг друга,
Лишь в согласье все подряд
Авиацию бранят.

Все хорошие ребята,
Как посмотришь — красота.
И ничуть не виноваты,
И деревня не взята.

И противник по болоту,
По траншейкам торфяным
Садит вновь из минометов —
Что ты хочешь делай с ним.

Адреса разведал точно,
Шлет посылки спешной почтой,
И лежишь ты, адресат,
Изнывая, ждешь за кочкой,
Скоро ль мина влепит в зад.

Перемокшая пехота
В полный смак клянет болото,
Не мечтает о другом —
Хоть бы смерть, да на сухом.

Кто-нибудь еще расскажет,
Как лежали там в тоске.
Третьи сутки кукиш кажет
В животе кишка кишке.

Посыпает дождик редкий,
Кашель злой терзает грудь.
Ни клочка родной газетки —
Козью ножку завернуть;

И ни спичек, ни махорки —
Все раскисло от воды.
— Согласись, Василий Теркин,
Хуже нет уже беды?

Тот лежит у края лужи,
Усмехнулся:
— Нет, друзья,
Во сто раз бывает хуже,
Это точно знаю я.

— Где уж хуже...
— А не спорьте,
Кто не хочет, тот не верь,
Я сказал бы: на курорте
Мы находимся теперь.

И глядит шутник великий
На людей со стороны.
Губы — то ли от черники,
То ль от холода черны.

Говорит:
— В своем болоте
Ты находишься сейчас.
Ты в цепи. Во взводе. В роте.
Ты имеешь связь и часть.

Даже сетовать неловко
При такой, чудак, судьбе.
У тебя в руках винтовка,
Две гранаты при тебе.

У тебя — в тылу ль, на фланге,—
Сам не знаешь, как силен,—
Бронебойки, пушки, танки.
Ты, брат,— это батальон.
Полк. Дивизия. А хочешь —
Фронт. Россия! Наконец,
Я скажу тебе короче
И понятней: ты — боец.

Ты в строю, прошу усвоить,
А быть может, год назад
Ты бы здесь изведал, воин,
То, что наш изведал брат.

Ноги б с горя не носили!
Где свои, где чьи края?
Где тот фронт и где Россия?
По какой рубеж своя?

И однажды ночью поздно,
От деревни в стороне
Укрывался б ты в колхозной,
Например, сенной копне...

Тут, озноб вдувая в души,
Долгой выгнувшись дугой,
Смертный свист скатился в уши,
Ближе, ниже, суше, глуше —
И разрыв!
За ним другой...

— Ну, накрыл. Не даст дослушать
Человека.
— Он такой...

И за каждым тем разрывом
На примолкнувших ребят
Рваный лист, кружась лениво,
Ветки сбитые летят.

Тянет всех, зовет куда-то,
Уходи, беда вот-вот...
Только Теркин:

— Брось, ребята,
Говорю — не попадет.

Сам сидит как будто в кресле,
Всех страхует от огня.
— Ну, а если?..
— А уж если...
Получи тогда с меня.

Слушай лучше. Я серьезно
Рассуждаю о войне.

Вот лежишь ты в той бесхозной,
В поле брошенной копне.

Немец где? До ближней хаты
Полверсты — ни дать ни взять,
И приходят два солдата
В поле сена навязать.

Из копнушки вяжут сено,
Той, где ты нашел приют,
Уминают под колено
И поют. И что ж поют!

Хлопцы, верьте мне, не верьте,
Только врать не стал бы я,
А поют худые черти,
Сам слыхал: «Москва моя».

Тут состроил Теркин рожу
И привстал, держась за пень,
И запел весьма похоже,
Как бы немец мог запеть.

До того тянул он криво,
И смотрел при этом он
Так чванливо, так тоскливо,
Так чудно,— печенки вон!

— Вот и смех тебе. Однако
Услыхал бы ты тогда
Эту песню,— ты б заплакал
От печали и стыда.

И смеешься ты сегодня,
Потому что, знай, боец:
Этой песни прошлогодней
Нынче немец не певец.

— Не певец-то — это верно,
Это ясно, час не тот...
— А деревню-то, примерно,
Вот берем — не отдает.

И с тоскою бесконечной,
Что, быть может, год берег,
Кто-то так чистосердечно,
Глубоко, как мех кузнечный,
Вдруг вздохнул:
— Ого, сынок!

Подивился Теркин вздоху,
Посмотрел,— ну, ну! — сказал,—
И такой ребячий хохот
Всех опять в работу взял.

— Ах ты, Теркин. Ну и малый.
И в кого ты удался,
Только мать, наверно, знала...
— Я от тетки родился.

— Теркин — теткин, елки-палки,
Сыпь еще назло врагу.

— Не могу. Таланта жалко.
До бомбежки берегу.
Получай тогда на выбор,
Что имею про запас.

— И за то тебе спасибо.
— На здоровье. В добрый час.

Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?

Что с удачей постоянной
Теркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил!

Нет, товарищ, скажем прямо:
Был он долог до тоски,
Летний бой за этот самый
Населенный пункт Борки.

Много дней прошло суровых,
Горьких, списанных в расход.

— Но позвольте,— скажут снова,—
Так о чем тут речь идет?

Речь идет о том болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;

Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно — в счет, не в счет —
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет;

Где подарком из подарков,
Как труды ни велики,
Не Ростов им был, не Харьков,
Населенный пункт Борки.

И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
Смертью праведной и честной
Пали многие из них.

Пусть тот бой не упомянут
В списке славы золотой,
День придет — еще повстанут
Люди в памяти живой.

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.

И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

О ЛЮБВИ

Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то...

Не подарок, так белье
Собрала, быть может,
И что дольше без нее,
То она дороже.

И дороже этот час,
Памятный, особый,
Взгляд последний этих глаз,
Что забудь попробуй.

Обойдись в пути большом,
Глупой славы ради,
Без любви, что видел в нем,
В том прощальном взгляде.

Он у каждого из нас
Самый сокровенный
И бесценный наш запас,
Неприкосновенный.

Он про всякий час, друзья,
Бережно хранится.
И с товарищем нельзя
Этим поделиться,
Потому — он мой, он весь —

Мой, святой и скромный,
У тебя он тоже есть,
Ты подумай, вспомни.

Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то...

И приходится сказать,
Что из всех тех женщин,
Как всегда, родную мать
Вспоминают меньше.

И не принято родной
Сетовать напрасно,—
В срок иной, в любви иной
Мать сама была женой
С тем же правом властным.

Да, друзья, любовь жены,—
Кто не знал — проверьте,—
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.

Ты ей только не перечь,
Той любви, что вправе
Ободрить, предостеречь,
Осудить, прославить.

Вновь достань листок письма,
Перечти сначала,
Пусть в землянке полутьма,
Ну-ка, где она сама
То письмо писала?

При каком на этот раз
Примостилась свете?
То ли спали в этот час,
То ль мешали дети,
То ль болела голова
Тяжко, не впервые,

Оттого, брат, что дрова
Не горят сырые?..

Впряжена в тот воз одна,
Разве не устанет?
Да зачем тебе жена
Жаловаться станет?

Жены думают, любя,
Что иное слово
Все ж скорей найдет тебя
На войне живого.

Нынче жены все добры,
Беззаветны вдосталь,
Даже те, что до поры
Были ведьмы просто.

Смех — не смех, случалось мне
С женами встречаться,
От которых на войне
Только и спасаться.

Чем томиться день за днем
С той женою-крошкой,
Лучше ползать под огнем
Или под бомбежкой.

Лучше, пять пройдя атак,
Ждать шестую в сутки...
Впрочем, это только так,
Только ради шутки.

Нет, друзья, любовь жены,—
Сотню раз проверьте,—
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.

И одно сказать о ней
Вы б могли вначале:
Что короче, что длинней —
Та любовь, война ли?

Но, бестрепетно в лицо
Глядя всякой правде,
Я замолвил бы словцо
За любовь, представьте.

Как война на жизнь ни шла,
Сколько ни пахала,
Но любовь пережила
Срок ее немалый.

И недаром нету, друг,
Письмеца дороже,
Что из тех далеких рук,
Дорогих усталых рук
В трещинках по коже.

И не зря взываю я
К женам настоящим:
— Жены, милые друзья,
Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмецу
Приписать, что надо.
Генералу ли, бойцу
Это — как награда.

Нет, товарищ, не забудь
На войне жестокой:
У войны короткий путь,
У любви — далекий.

И ее большому дню
Сроки близки ныне.

А к чему я речь клоню?
Вот к чему, родные.

Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то...

Но хотя и жалко мне,
Сам помочь не в силе,
Что остался в стороне
Теркин мой Василий.

Не случилось никого
Проводить в дорогу.

Полюбите вы его,
Девушки, ей-богу!

Любят летчиков у нас,
Конники в почете.

Обратитесь, просим вас,
К матушке-пехоте!

Пусть тот конник на коне,
Летчик в самолете,
И, однако, на войне
Первый ряд — пехоте.

Пусть танкист красив собой
И горяч в работе,
А ведешь машину в бой —
Поклонись пехоте.

Пусть форсист артиллерист
В боевом расчете,
Отстрелялся — не гордись,
Дела суть — в пехоте.

Обойдите всех подряд,
Лучше не найдете:
Обратите нежный взгляд,
Девушки, к пехоте.

Полюбите молодца,
Сердце подарите,
До победного конца
Верно полюбите!

ОТДЫХ ТЕРКИНА

На войне — в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке,—
Там, где случай приведет,—

Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь кой-как друг к дружке,
Отдохнуть... Минут шестьсот.

Даже больше б не мешало,
Но солдату на войне
Срок такой для сна, пожалуй,
Можно видеть лишь во сне.

И представь, что вдруг, покинув
В некий час передний край,
Ты с попутною машиной
Попадаешь прямо в рай.

Мы здесь вовсе не желаем
Шуткой той блеснуть спроста,
Что, мол, рай с передним краем
Это — смежные места.

Рай по правде. Дом. Крылечко.
Веник — ноги обметай.
Дальше — горница и печка.
Все, что надо. Чем не рай?

Вот и в книге ты отмечен,
Раздевайся, проходи.
И плечьми у теплой печи
На свободе поведи.

Осмотрись вокруг детально,
Вот в ряду твоя кровать.
И учти, что это — спальня,
То есть место — специально
Для того, чтоб только спать.

Спать, солдат, весь срок недельный,
Самолично, безраздельно
Занимать кровать свою,
Спать в сухом тепле постельном,
Спать в одном белье нательном,
Как положено в раю.

И по строгому приказу,
Коль тебе здесь быть пришлось,
Ты помимо сна обязан
Пищу в день четыре раза
Принимать. Но как? — вопрос.

Всех привычек перемена
Поначалу тяжела.
Есть в раю нельзя с колена,
Можно только со стола.

И никто в раю не может
Бегать к кухне с котелком,
И нельзя сидеть в одеже
И корежить хлеб штыком.

И такая установка
Строго-настрого дана,
Что у ног твоих винтовка
Находиться не должна.

И в ущерб своей привычке
Ты не можешь за столом
Утереться рукавичкой
Или — так вот — рукавом.

И когда покончишь с пищей,
Не забудь еще, солдат,
Что в раю за голенище
Ложку прятать не велят.

Все такие оговорки
Разобрав, поняв путем,
Принял в счет Василий Теркин
И решил:
— Не пропадем.

Вот обед прошел и ужин.
— Как вам нравится у нас?
— Ничего. Немножко б хуже,
То и было б в самый раз...

Покурил, вздохнул и на бок.
Как-то странно голове.
Простыня — пускай одна бы,
Нет, так на, мол, сразу две.

Чистота — озноб по коже,
И неловко, что здоров,
А до крайности похоже,
Будто в госпитале вновь.

Бережет плечо в кровати,
Головой не повернет.
Вот и девушка в халате
Совершает свой обход.

Двое справа, трое слева
К ней разведчиков тотчас.
А она, как королева:
Мол, одна, а сколько вас.

Теркин смотрит сквозь ресницы:
О какой там речь красе.
Хороша, как говорится,
В прифронтовой полосе.

Хороша, при смутном свете,
Дорога, как нет другой,
И видать, ребята эти
Отдохнули день, другой...

Сон-забвенье на пороге,
Ровно, сладко дышит грудь.
Ах, как холодно в дороге
У объезда где-нибудь!

Как прохватывает ветер,
Как луна теплом бедна!
Ах, как трудно все на свете:
Служба, жизнь, зима, война.

Как тоскует о постели
На войне солдат живой!
Что ж не спится в самом деле?
Не укрыться ль с головой?

Полчаса и час проходит,
С боку на бок, навзничь, ниц.
Хоть убейся — не выходит.
Все храпят, а ты казнись.

То ли жарко, то ли зябко,
Не понять, а сна все нет.
— Да надень ты, парень, шапку,—
Вдруг дают ему совет.

Разъясняют:
— Ты не первый,
Не второй страдаешь тут.
Поначалу наши нервы
Спать без шапки не дают.

И едва надел родимый
Головной убор солдат,
Боевой, пропахший дымом
И землей, как говорят,—

Тот, обношенный на славу
Под дождем и под огнем,
Что еще колючкой ржавой
Как-то прорван был на нем;

Тот, в котором жизнь проводишь,
Не снимая,— так хорош! —
И когда ко сну отходишь,
И когда на смерть идешь,—

Видит: нет, не зря послушал
Тех, что знали, в чем резон:
Как-то вдруг согрелись уши,
Как-то стало мягче, глуше —
И всего свернуло в сон.

И проснулся он до срока
С чувством редкостным — точь-в-точь
Словно где-нибудь далеко
Побывал за эту ночь;

Словно выкупался где-то,
Где — хоть вновь туда вернись —
Не зима была, а лето,
Не война, а просто жизнь.

И с одной ногой обутой,
Шапку снять забыв свою,
На исходе первых суток
Он задумался в раю.

Хороши харчи и хата,
Осуждать не станем зря.
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.

Посудите сами, братцы,
Кто б чудней придумать мог:
Раздеваться, разуваться
На такой короткий срок.

Тут обвыкнешь — сразу крышка,
Чуть покинешь этот рай.
Лучше скажем: передышка.
Больше время не теряй.

Закусил, собрался, вышел,
Дело было на мази.
Грузовик идет,— заслышал,
Голосует:
— Подвези.

И, четыре пуда грузу
Добавляя по пути,
Через борт ввалился в кузов,
Постучал: давай, крути.

Ехал — близко ли, далеко —
Кому надо, вымеряй.
Только, рай, прощай до срока,
И опять — передний край.

Соскочил у поворота,—
Глядь — и дома, у огня.
— Ну, рассказывайте, что тут,
Как тут, хлопцы, без меня?

— Сам рассказывай. Кому же
Неохота знать тотчас,
Как там, что в раю у вас...

— Хорошо. Немножко б хуже,
Верно, было б в самый раз...

Хорошо поспал, богато,
Осуждать не станем зря.
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.

Как дойдем до той границы
По Варшавскому шоссе,
Вот тогда, как говорится,
Отдохнем. И то не все.

А пока — в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке,
Где нам случай приведет,—

Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь плотней друг к дружке,
Отдохнуть.
А там — вперед.

В НАСТУПЛЕНИИ

Столько жили в обороне,
Что уже с передовой
Сами шли, бывало, кони,
Как в селе, на водопой.

И на весь тот лес обжитый,
И на весь передний край
У землянок домовитый
Раздавался песий лай.

И прижившийся на диво,
Петушок — была пора —
По утрам будил комдива,
Как хозяина двора.

И во славу зимних буден
В бане — пару не жалей —
Секлись вениками люди
Вязки собственной своей.

На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, «Теркина» читали
На досуге.
Вдруг — приказ...

Вдруг — приказ, конец стоянке.
И уж где-то далеки
Опустевшие землянки,
Сиротливые дымки.

И уже обыкновенно
То, что минул целый год,
Точно день. Вот так, наверно,
И война, и все пройдет...

И солдат мой поседелый,
Коль останется живой,
Вспомнит: то-то было дело,
Как сражались под Москвой...

И с печалью горделивой
Он начнет в кругу внучат
Свой рассказ неторопливый,
Если слушать захотят...

Трудно знать. Со стариками
Не всегда мы так добры.
Там посмотрим.
А покамест
Далеко до той поры.

* * *

Бой в разгаре. Дымкой синей
Серый снег заволокло.
И в цепи идет Василий,
Под огнем идет в село.

И до отчего порога,
До родимого села
Через то село дорога —
Не иначе — пролегла.

Что поделаешь — иному
И еще кружнее путь.
И идет иной до дому
То ли степью незнакомой,
То ль горами где-нибудь...

Низко смерть над шапкой свищет,
Хоть кого согнет в дугу.

Цепь идет, как будто ищет
Что-то в поле на снегу.

И бойцам, что помоложе,
Что впервые так идут,
В этот час всего дороже
Знать одно, что Теркин тут.

Хорошо — хотя ознобцем
Пронимает под огнем —
Не последним самым хлопцем
Показать себя при нем.

Толку нет, что в миг тоскливый,
Как снаряд берет разбег,
Теркин так же ждет разрыва,
Камнем кинувшись на снег;

Что над страхом меньше власти
У того в бою подчас,
Кто судьбу свою и счастье
Испытал уже не раз;

Что, быть может, эта сила
Уцелевшим из огня
Человека выносила
До сегодняшнего дня,—

До вот этой борозденки,
Где лежит, вобрав живот,
Он, обшитый кожей тонкой
Человек. Лежит и ждет...

Где-то там, за полем бранным,
Думу думает свою
Тот, по чьим часам карманным
Все часы идут в бою.

И за всей вокруг пальбою,
За разрывами в дыму
Он следит, владыка боя,
И решает, что к чему.

Где-то там, в песчаной круче,
В блиндаже сухом, сыпучем,
Глядя в карту, генерал
Те часы свои достал;
Хлопнул крышкой, точно дверкой,
Поднял шапку, вытер пот...

И дождался, слышит Теркин:
— Взвод! За Родину! Вперед!..

И хотя слова он эти —
Клич у смерти на краю —
Сотни раз читал в газете
И не раз слыхал в бою,—

В душу вновь они вступали
С одинаковою той
Властью правды и печали,
Сладкой горечи святой;

С тою силой неизменной,
Что людей в огонь ведет,
Что за все ответ священный
На себя уже берет.

— Взвод! За Родину! Вперед!..

Лейтенант щеголеватый,
Конник, спешенный в боях,
По-мальчишески усатый,
Весельчак, плясун, казак,
Первым встал, стреляя с ходу,
Побежал вперед со взводом,
Обходя село с задов.
И пролег уже далеко
След его в снегу глубоком —
Дальше всех в цепи следов.

Вот уже у крайней хаты
Поднял он ладонь к усам:
— Молодцы! Вперед, ребята! —
Крикнул так молодцевато,
Словно был Чапаев сам.

Только вдруг вперед подался,
Оступился на бегу,
Четкий след его прервался
На снегу...

И нырнул он в снег, как в воду,
Как мальчонка с лодки в вир.
И пошло в цепи по взводу:
— Ранен! Ранен командир!..

Подбежали. И тогда-то,
С тем и будет не забыт,
Он привстал:
— Вперед, ребята!
Я не ранен. Я — убит...

Край села, сады, задворки —
В двух шагах, в руках вот-вот...
И увидел, понял Теркин,
Что вести его черед.

— Взвод! За Родину! Вперед!..

И доверчиво по знаку,
За товарищем спеша,
С места бросились в атаку
Сорок душ — одна душа...

Если есть в бою удача,
То в исходе все подряд
С похвалой, весьма горячей,
Друг о друге говорят.

— Танки действовали славно.
— Шли саперы молодцом.
— Артиллерия подавно
Не ударит в грязь лицом.
— А пехота!
— Как по нотам,
Шла пехота. Ну да что там!
Авиация — и та...

Словом, просто — красота.

И бывает так, не скроем,
Что успех глаза слепит:
Столько сыщется героев,
Что — глядишь — один забыт.

Но для точности примерной,
Для порядка генерал,
Кто в село ворвался первым,
Знать на месте пожелал.

Доложили, как обычно:
Мол, такой-то взял село,
Но не смог явиться лично,
Так как ранен тяжело.

И тогда из всех фамилий,
Всех сегодняшних имен —
Теркин — вырвалось — Василий!
Это был, конечно, он.

СМЕРТЬ И ВОИН

За далекие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Теркин
Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
— Ну, солдат, пойдем со мной.

Я теперь твоя подруга,
Недалеко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой,
Вьюгой след запорошу.

Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.
— Я не звал тебя, Косая,
Я солдат еще живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:
— Полно, полно, молодец,
Я-то знаю, я-то вижу:
Ты живой, да не жилец.

Мимоходом тенью смертной
Я твоих коснулась щек,
А тебе и незаметно,
Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,
Ночь, поверь, не хуже дня...

— А чего тебе, однако,
Нужно лично от меня?

Смерть как будто бы замялась,
Отклонилась от него.
— Нужно мне... такую малость,
Ну почти что ничего.

Нужен знак один согласья,
Что устал беречь ты жизнь,
Что о смертном молишь часе...

— Сам, выходит, подпишись? —
Смерть подумала.
— Ну что же,—
Подпишись, и на покой.
— Нет, уволь. Себе дороже.
— Не торгуйся, дорогой.

Все равно идешь на убыль.—
Смерть подвинулась к плечу.—
Все равно стянулись губы,
Стынут зубы...
— Не хочу.

— А смотри-ка, дело к ночи,
На мороз горит заря.
Я к тому, чтоб мне короче
И тебе не мерзнуть зря...

— Потерплю.
— Ну, что ты, глупый!
Ведь лежишь, всего свело.
Я б тебя тотчас тулупом,
Чтоб уже навек тепло.

Вижу, веришь. Вот и слезы,
Вот уж я тебе милей.

— Врешь, я плачу от мороза,
Не от жалости твоей.

— Что от счастья, что от боли —
Все равно. А холод лют.
Завилась поземка в поле.
Нет, тебя уж не найдут...

И зачем тебе, подумай,
Если кто и подберет.
Пожалеешь, что не умер
Здесь, на месте, без хлопот...

— Шутишь, Смерть, плетешь тенета.—
Отвернул с трудом плечо.—
Мне как раз пожить охота,
Я и не жил-то еще...

— А и встанешь, толку мало,—
Продолжала Смерть, смеясь.—
А и встанешь — все сначала:
Холод, страх, усталость, грязь...
Ну-ка, сладко ли, дружище,
Рассуди-ка в простоте.

— Что судить! С войны не взыщешь
Ни в каком уже суде.

— А тоска, солдат, в придачу:
Как там дома, что с семьей?

— Вот уж выполню задачу —
Кончу немца — и домой.

— Так. Допустим. Но тебе-то
И домой к чему прийти?
Догола земля раздета
И разграблена, учти.
Все в забросе.

— Я работник,
Я бы дома в дело вник.
— Дом разрушен.
— Я и плотник...
— Печки нету.
— И печник...
Я от скуки — на все руки,
Буду жив — мое со мной.

— Дай еще сказать старухе:
Вдруг придешь с одной рукой?
Иль еще каким калекой,—
Сам себе и то постыл...

И со Смертью Человеку
Спорить стало свыше сил.
Истекал уже он кровью,
Коченел. Спускалась ночь...

— При одном моем условье,
Смерть, послушай... я не прочь...

И, томим тоской жестокой,
Одинок, и слаб, и мал,
Он с мольбой, не то с упреком
Уговариваться стал:

— Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце ее, послушай,
Дашь ты на день отпуск мне?
Дашь ты мне в тот день последний,
В праздник славы мировой,
Услыхать салют победный,
Что раздастся над Москвой?
Дашь ты мне в тот день немножко
Погулять среди живых?
Дашь ты мне в одно окошко
Постучать в краях родных?
И как выйдут на крылечко,—
Смерть, а Смерть, еще мне там
Дашь сказать одно словечко?
Полсловечка?
— Нет. Не дам...

Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.

— Так пошла ты прочь, Косая,
Я солдат еще живой.

Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа,
Но тебе по доброй воле
Я не сдамся никогда.

— Погоди. Резон почище
Я найду,— подашь мне знак...

— Стой! Идут за мною. Ищут.
Из санбата.
— Где, чудак?
— Вон, по стежке занесенной...

Смерть хохочет во весь рот:
— Из команды похоронной.
— Все равно: живой народ.

Снег шуршит, подходят двое.
Об лопату звякнул лом.

— Вот еще остался воин.
К ночи всех не уберем.

— А и то устали за день,
Доставай кисет, земляк.
На покойничке присядем
Да покурим натощак.

— Кабы, знаешь, до затяжки —
Щец горячих котелок.
— Кабы капельку из фляжки.
— Кабы так — один глоток.
— Или два...

И тут, хоть слабо,
Подал Теркин голос свой:
— Прогоните эту бабу,
Я солдат еще живой.

Смотрят люди: вот так штука!
Видят: верно,— жив солдат.

— Что ты думаешь!
— А ну-ка,
Понесем его в санбат.

— Ну и редкостное дело,—
Рассуждают не спеша.—
Одно дело — просто тело,
А тут — тело и душа.

— Еле-еле душа в теле...
— Шутки, что ль, зазяб совсем.
А уж мы тебя хотели,
Понимаешь, в наркомзем...

— Не толкуй. Заждался малый.
Вырубай шинель во льду.
Поднимай.

А Смерть сказала:
— Я, однако, вслед пойду.

Земляки — они к работе
Приспособлены к иной.
Врете, мыслит, растрясете —
И еще он будет мой.

Два ремня да две лопаты,
Две шинели поперек.
— Береги, солдат, солдата.
— Понесли. Терпи, дружок.
Норовят, чтоб меньше тряски,
Чтоб ровнее как-нибудь,
Берегут, несут с опаской:
Смерть сторонкой держит путь.

А дорога — не дорога,—
Целина, по пояс снег.
— Отдохнули б вы немного,
Хлопцы...
— Милый человек,—
Говорит земляк толково,—
Не тревожься, не жалей.
Потому несем живого,
Мертвый вдвое тяжелей.

А другой:
— Оно известно.
А еще и то учесть,
Что живой спешит до места,—
Мертвый дома — где ни есть.

— Дело, стало быть, в привычке,—
Заключают земляки.—
Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ко теплую, с руки...

И подумала впервые
Смерть, следя со стороны:
«До чего они, живые,
Меж собой свои — дружны.
Потому и с одиночкой
Сладить надобно суметь,
Нехотя даешь отсрочку».

И, вздохнув, отстала Смерть.

ТЕРКИН ПИШЕТ

...И могу вам сообщить
Из своей палаты,
Что, большой любитель жить,
Выжил я, ребята.

И хотя натер бока,
Належался лежнем,
Говорят, зато нога
Будет лучше прежней.

И намерен я опять
Вскоре без подмоги
Той ногой траву топтать,
Встав на обе ноги...

Озабочен я сейчас
Лишь одной задачей,
Чтоб попасть в родную часть,
Никуда иначе.

С нею жил и воевал,
Курс наук усвоил.
Отступая, пыль глотал,
Наступая, снег черпал
Валенками воин.

И покуда что она
Для меня — солдата —
Все на свете, все сполна:
И родная сторона,
И семья, и хата.

И охота мне скорей
К ней в ряды вклиниться
И, дождавшись добрых дней,
По Смоленщине своей
Топать до границы.

Впрочем, даже суть не в том,
Я скажу точнее:
Доведись другим путем
До конца идти,— пойдем,
Где угодно, с нею!

Если ж пуля в третий раз
Клюнет насмерть, злая,
То, по крайности, средь вас,
Братцы, свой последний час
Встретить я желаю.

Только с этим мы спешить
Без нужды не станем.
Я большой любитель жить,
Как сказал заране.

И, поскольку я спешу
Повстречаться с вами,
Генералу напишу
Теми же словами.

Полагаю, генерал
Как-никак уважит,—
Он мне орден выдавал,
В просьбе не откажет.

За письмом, надеюсь, вслед
Буду сам обратно...
Ну и повару привет
От меня двукратный.

Пусть и впредь готовит так,
Заправляя жирно,
Чтоб в котле стоял черпак
По команде «смирно»...

И одним слова свои
Заключить хочу я:
Что великие бои,
Как погоду, чую.

Так бывает у коня
Чувство близкой свадьбы...
До того большого дня
Мне без палок встать бы!

Сплю скорей да жду вестей.
Все сказал до корки...
Обнимаю вас, чертей.
Ваш
Василий Теркин.

ТЕРКИН — ТЕРКИН

Чья-то печка, чья-то хата,
На дрова распилен хлев...
Кто назябся — дело свято,
Тому надо обогрев.

Дело свято — чья там хата,
Кто их нынче разберет.
Грейся, радуйся, ребята,
Сборный, смешанный народ.

На полу тебе солома,
Задремалось, так ложись.
Не у тещи и не дома,
Не в раю, однако, жизнь.

Тот сидит, разувши ногу,
Приподняв, глядит на свет.
Всю ощупывает строго,—
Узнает — его иль нет.

Тот, шинель смахнув без страху,
Высоко задрав рубаху,
Прямо в печку хочет влезть.

— Не один ты, братец, здесь.
— Отслонитесь, хлопцы. Темень...
— Что ты, правда, как тот немец...
— Нынче немец сам не тот.

— Ну, брат, он еще дает,
Отпускает, не скупится...
— Все же с прежним не сравнится,—
Снял сапог с одной ноги.
— Дело ясное,— беги!

— Охо-хо. Война, ребятки.
— А ты думал! Вот чудак.
— Лучше нет — чайку в достатке,
Хмель — он греет, да не так.

— Это чья же установка
Греться чаем? Вот и врешь.
— Эй, не ставь к огню винтовку...
— А еще кулеш хорош...

Опрокинутый истомой,
Теркин дремлет на спине,
От беседы в стороне.
Так ли, сяк ли, Теркин дома,
То есть — снова на войне...

Это раненым известно:
Воротись ты в полк родной —
Все не то: иное место
И народ уже иной.

Прибаутки, поговорки
Не такие ловит слух...
— Где-то наш Василий Теркин? —
Это слышит Теркин вдруг.

Привстает, шурша соломой,
Что там дальше — подстеречь.
Никому он не знакомый —
И о нем как будто речь.

Но сквозь шум и гам веселый,
Что кипел вокруг огня,
Вот он слышит новый голос:
— Это кто там про меня?..

— Про тебя? —
Без оговорки
Тот опять:
— Само собой.
— Почему?
— Так я же Теркин.

Это слышит Теркин мой.

Что-то странное творится,
Непонятное уму.
Повернулись тотчас лица
Молча к Теркину. К тому.

Люди вроде оробели:
— Теркин — лично?
— Я и есть.
— В самом деле?
— В самом деле.
— Хлопцы, хлопцы, Теркин здесь!

— Не свернете ли махорки? —
Кто-то вытащил кисет.
И не мой, а тот уж Теркин
Говорит:
— Махорки? Нет.

Теркин мой — к огню поближе,
Отгибает воротник.
Поглядит, а он-то рыжий —
Теркин тот, его двойник.

Если б попросту махорки
Теркин выкурил второй,
И не встрял бы, может, Теркин,
Промолчал бы мой герой.

Но, поскольку водит носом,
Задается человек,
Теркин мой к нему с вопросом:
— А у вас небось «Казбек»?

Тот помедлил чуть с ответом:
Мол, не понял ничего.
— Что ж, трофейной сигаретой
Угощу.—
Возьми его!

Видит мой Василий Теркин —
Не с того зашел конца.
И не то чтоб чувством горьким
Укололо молодца,—

Не любил людей спесивых,
И, обиду затая,
Он сказал, вздохнув лениво:
— Все же Теркин — это я...

Смех, волненье.
— Новый Теркин!
— Хлопцы, двое...
— Вот беда...
— Как дойдет их до пятерки,
Разбудите нас тогда.

— Нет, брат, шутишь,— отвечает
Теркин тот, поджав губу,—
Теркин — я.

— Да кто их знает,
Не написано на лбу.

Из кармана гимнастерки
Рыжий — книжку:
— Что ж я вам...

— Точно: Теркин...
— Только Теркин
Не Василий, а Иван.

Но, уже с насмешкой глядя,
Тот ответил моему:
— Ты пойми, что рифмы ради
Можно сделать хоть Фому.

Этот выдохнул затяжку:
— Да, но Теркин-то — герой.

Тот шинелку нараспашку:
— Вот вам орден, вот другой,
Вот вам Теркин-бронебойщик,
Верьте слову, не молве.
И машин подбил я больше —
Не одну, а целых две...

Теркин будто бы растерян,
Грустно щурится в огонь.
— Я бы мог тебя проверить,
Будь бы здесь у нас гармонь.

Все кругом:
— Гармонь найдется,
Есть у старшего.
— Не тронь.
— Что не тронь?
— Смотри, проснется...
— Пусть проснется.
— Есть гармонь!

Только взял боец трехрядку,
Сразу видно: гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.

И к мехам припал щекою,
Строг и важен, хоть не брит,
И про вечер над рекою
Завернул, завел навзрыд...

Теркин мой махнул рукою:
— Ладно. Можешь,— говорит,—
Но одно тебя, брат, губит:
Рыжесть Теркину нейдет.

— Рыжих девки больше любят,—
Отвечает Теркин тот.

Теркин сам уже хохочет,
Сердцем щедрым наделен.
И не так уже хлопочет
За себя,— что Теркин он.

Чуть обидно, да приятно,
Что такой же рядом с ним.
Непонятно, да занятно
Всем ребятам остальным.

Молвит Теркин:
— Сделай милость,
Будь ты Теркин насовсем.
И пускай однофамилец
Буду я...

А тот:
— Зачем?..

— Кто же Теркин?
— Ну и лихо!..—
Хохот, шум, неразбериха...

Встал какой-то старшина
Да как крикнет:
— Тишина!

Что вы тут не разберете,
Не поймете меж собой?
По уставу каждой роте
Будет придан Теркин свой.

Слышно всем? Порядок ясен?
Жалоб нету? Ни одной?
Разойдись!

И я согласен
С этим строгим старшиной.
Я бы, может быть, и взводам
Придал Теркина в друзья...

Впрочем, все тут мимоходом
К разговору вставил я.

ОТ АВТОРА

По которой речке плыть,—
Той и славушку творить...

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Но еще не знал я, право,
Что с печатного столбца
Всем придешься ты по нраву,
А иным войдешь в сердца.

До войны едва в помине
Был ты, Теркин, на Руси.
Теркин? Кто такой? А ныне
Теркин — кто такой? — спроси.

— Теркин, как же!
— Знаем.
— Дорог.
— Парень свой, как говорят.

— Словом, Теркин, тот, который
На войне лихой солдат,
На гулянке гость не лишний,
На работе — хоть куда...

Жаль, давно его не слышно,
Может, что худое вышло?
Может, с Теркиным беда?

— Не могло того случиться.
— Не похоже.
— Враки.
— Вздор...

— Как же, если очевидца
Подвозил один шофер.

В том бою лежали рядом,
Теркин будто бы привстал,
В тот же миг его снарядом
Бронебойным — наповал.

— Нет, снаряд ударил мимо.
А слыхали так, что мина...

— Пуля-дура...
— А у нас
Говорили, что фугас.

— Пуля, бомба или мина —
Все равно, не в том вопрос.
А слова перед кончиной
Он какие произнес?

— Говорил насчет победы.
Мол, вперед. Примерно так...

— Жаль,— сказал,— что до обеда
Я убитый, натощак.
Неизвестно, мол, ребята,
Отправляясь на тот свет,
Как там, что: без аттестата
Признают нас или нет?

— Нет, иное почему-то
Слышал раненый боец.
Молвил Теркин в ту минуту:
«Мне — конец, войне — конец».

Если так, тогда не верьте,
Разве это невдомек:
Не подвержен Теркин смерти,
Коль войне не вышел срок...

Шутки, слухи в этом духе
Автор слышит не впервой.
Правда правдой остается,
А молва себе — молвой.

Нет, товарищи, герою,
Столько лямку протащив,
Выходить теперь из строя?
Извините! — Теркин жив!

Жив-здоров. Бодрей, чем прежде.
Помирать? Наоборот,
Я в такой теперь надежде:
Он меня переживет.

Все худое он изведал,
Он терял родимый край
И одну политбеседу
Повторял:
— Не унывай!

С первых дней годины горькой
Мир слыхал сквозь грозный гром,—
Повторял Василий Теркин:
— Перетерпим. Перетрем...

Нипочем труды и муки,
Горечь бедствий и потерь.
А кому же книги в руки,
Как не Теркину теперь?!

Рассуди-ка, друг-товарищ,
Посмотри-ка, где ты вновь
На привалах кашу варишь,
В деревнях грызешь морковь.

Снова воду привелося
Из какой черпать реки!
Где стучат твои колеса,
Где ступают сапоги!

Оглянись, как встал с рассвета
Или ночь не спал, солдат,
Был иль не был здесь два лета,
Две зимы тому назад.

Вся она — от Подмосковья
И от волжского верховья
До Днепра и Заднепровья —
Вдаль на запад сторона,—
Прежде отданная с кровью,
Кровью вновь возвращена.

Вновь отныне это свято:
Где ни свет, то наша хата,
Где ни дым, то наш костер,
Где ни стук, то наш топор,
Что ни груз идет куда-то,—
Наш маршрут и наш мотор!

И такую-то махину,
Где гони, гони машину,—
Есть где ехать вдаль и вширь,
Он пешком, не вполовину,
Всю промерил, богатырь.

Богатырь не тот, что в сказке —
Беззаботный великан,
А в походной запояске,
Человек простой закваски,
Что в бою не чужд опаски,
Коль не пьян. А он не пьян.

Но покуда вздох в запасе,
Толку нет о смертном часе.
В муках тверд и в горе горд,
Теркин жив и весел, черт!

Праздник близок, мать-Россия,
Оберни на запад взгляд:
Далеко ушел Василий,
Вася Теркин, твой солдат.

То серьезный, то потешный,
Нипочем что дождь, что снег,—
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек.

Разносись, молва, по свету:
Объявился старый друг...
— Ну-ка, к свету.
— Ну-ка, вслух.

ДЕД И БАБА

Третье лето. Третья осень.
Третья озимь ждет весны.
О своих нет-нет и спросим
Или вспомним средь войны.

Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.

Вспомним вьюгу-завируху
Прифронтовой полосы,
Хату с дедом и старухой,
Где наш друг чинил часы.

Им бы не было износу
Впредь до будущей войны,
Но, как водится, без спросу
Снял их немец со стены:

То ли вещью драгоценной
Те куранты посчитал,
То ль решил с нужды военной,—
Как-никак цветной металл.

Шла зима, весна и лето.
Немец жить велел живым.
Шла война далеко где-то
Чередом глухим своим.

И в твоей родимой речке
Мылся немец тыловой.
На твоем сидел крылечке
С непокрытой головой.

И кругом его порядки,
И немецкий, привозной
На смоленской узкой грядке
Зеленел салат весной.

И ходил сторонкой, боком
Ты по улочке своей,—
Убережся ненароком,
Жить живи, дышать не смей.

Так и жили дед да баба
Без часов своих давно,
И уже светилось слабо
На пустой стене пятно...

Но со страстью неизменной
Дед судил, рядил, гадал
О кампаниц военной,
Как в отставке генерал.

На дорожке возле хаты
Костылем старик чертил
Окруженья и охваты,
Фланги, клинья, рейды в тыл...

— Что ж, за чем там остановка? —
Спросят люди.— Срок не мал...
Дед-солдат моргал неловко,
Капнлял:
— Перегруппировка...—
И таинственно вздыхал.

У людей уже украдкой
Наготове был упрек,
Словно добрую догадку
Дед по скупости берег.

Словно думал подороже
Запросить с души живой.
— Дед, когда же?
— Дед, ну что же?
— Где ж он, дед, Буденный твой?

И едва войны погудки
Заводил вдали восток,
Дед, не медля ни минутки,
Объявил, что грянул срок.

Отличал тотчас по слуху
Грохот наших батарей.
Бегал, топал:
— Дай им духу!
Дай еще! Добавь! Погрей!

Но стихала канонада,
Потухал зарниц пожар.
— Дед, ну что же?
— Думать надо,
Здесь не главный был удар.

И уже казалось деду,—
Сам хотел того иль нет,—
Перед всеми за победу
Лично он держал ответ.

И, тая свою кручину,
Для всего на свете он
И угадывал причину,
И придумывал резон.

Но когда пора настала,
Долгожданный вышел срок,
То впервые воин старый
Ничего сказать не мог...

Все тревоги, все заботы
У людей слились в одну:
Чтоб за час до той свободы
Не постигла смерть в плену.

* * *

В ночь, как все, старик с женой
Поселились в яме.
А война — не стороной,
Нет, над головами.

Довелось под старость лет:
Ни в пути, ни дома,
А у входа на тот свет
Ждать в часы приема.

Под накатом из жердей,
На мешке картошки,
С узелком, с горшком углей,
С курицей в лукошке...

Две войны прошел солдат
Целый, невредимый.
Пощади его, снаряд,
В конопле родимой!

Просвисти над головой,
Но вблизи не падай,
Даже если ты и свой,—
Все равно не надо!

Мелко крестится жена,
Сам не скроешь дрожи:
Ведь живая смерть страшна
И солдату тоже.

Стихнул грохот огневой
С полночи впервые.
Вдруг — шаги за конопле́й.
— Ну, идут... немые...

По картофельным рядам
К погребушке прямо.
— Ну, старик, не выйти нам
Из готовой ямы.

Но старик встает, плюет
По-мужицки в руку,
За топор — и наперед:
Заслонил старуху.

Гибель верную свою,
Как тот миг ни горек,
Порешил встречать в бою,
Держит свой топорик.

Вот шаги у края — стоп!
И на шубу глухо
Осыпается окоп.
Обмерла старуха.

Все же вроде как жива,—
Наше место свято,—
Слышит русские слова:
— Жители, ребята?..

— Детки! Родненькие... Детки!..—
Уронил топорик дед.
— Мы, отец, еще в разведке,
Тех, встречай, что будут вслед.

На подбор орлы-ребята,
Молодец до молодца.
И старшой у аппарата,—
Хоть ты что, знаком с лица.

— Закурить? Верти, папаша.—
Дед садится, вытер лоб.
— Ну, ребята, счастье ваше —
Голос подали. А то б...

И старшой ему кивает:
— Ничего. На том стоим.
На войне, отец, бывает —
Попадает по своим.

— Точно так.— И тут бы деду
В самый раз что покурить,
В самый раз продлить беседу:
Столько ждал! — Поговорить.

Но они спешат не в шутку.
И еще не снялся дым...
— Погоди, отец, минутку,
Дай сперва освободим...

Молодец ему при этом
Подмигнул для красоты,
И его по всем приметам
Дед узнал:
— Так это ж ты!

Друг-знакомец, мастер-ухарь,
С кем сидели у стола.
Погляди скорей, старуха!
Узнаешь его, орла?

Та как глянула:
— Сыночек!
Голубочек. Вот уж гость.
Может, сала съешь кусочек,
Воевал, устал небось?

Смотрит он, шутник тот самый:
— Закусить бы счел за честь,
Но ведь нету, бабка, сала?
— Да и нет, а все же есть...

— Значит, цел, орел, покуда.
— Ну, отец, не только цел:
Отступал солдат отсюда,
А теперь, гляди, кто буду,—
Вроде даже офицер.

— Офицер? Так-так. Понятно,—
Дед кивает головой.—
Ну, а если... на попятный,
То опять как рядовой?..

— Нет, отец, забудь. Отныне
Нерушим простой завет:
Ни в большом, ни в малом чине
На попятный ходу нет.

Откажи мне в черствой корке,
Прогони тогда за дверь.
Это я, Василий Теркин,
Говорю. И ты уж верь.

— Да уж верю! Как получше,
На какой теперь манер:
Господин, сказать, поручик
Иль товарищ офицер?

— Стар годами, слаб глазами,
И, однако, ты, старик,
За два года с господами
К обращению привык...

Дед — плеваться, а старуха,
Подпершись одной рукой,
Чуть склонясь и эту руку
Взявши под локоть другой,
Все смотрела, как на сына
Смотрит мать из уголка.

— Закуси еще,— просила,—
Закуси, поешь пока...

И спешил, а все ж отведал,
Угостился, как родной.
Табаку отсыпал деду
И простился.

— Связь, за мной! —
И уже пройдя немного,—
Мастер памятлив и тут,—
Теркин будто бы с порога
Про часы спросил:
— Идут?

— Как не так! — и вновь причина
Бабе кинуться в слезу.

— Будет, бабка! Из Берлина
Двое новых привезу.

НА ДНЕПРЕ

За рекой еще Угрою,
Что осталась позади,
Генерал сказал герою:
— Нам с тобою по пути...

Вот, казалось, парню счастье,
Наступать расчет прямой:
Со своей гвардейской частью
На войне придет домой.

Но едва ль уже мой Теркин,
Жизнью тертый человек,
При девчонках на вечерке
Помышлял курить «Казбек»...

Все же с каждым переходом,
С каждым днем, что ближе к ней,
Сторона, откуда родом,
Земляку была больней.

И в пути, в горячке боя,—
На привале и во сне
В нем жила сама собою
Речь к родимой стороне:

— Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Приднепровский отчий край,
Здравствуй, сына привечай!

Здравствуй, пестрая осинка,
Ранней осени краса,
Здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка,
Здравствуй, речка Лучеса...

Мать-земля моя родная,
Я твою изведал власть,
Как душа моя больная
Издали к тебе рвалась!

Я загнул такого крюку,
Я прошел такую даль,
И видал такую муку,
И такую знал печаль!

Мать-земля моя родная,
Дымный дедовский большак,
Я про то не вспоминаю,
Не хвалюсь, а только так!..

Я иду к тебе с востока,
Я тот самый, не иной.
Ты взгляни, вздохни глубоко,
Встреться наново со мной.

Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня
Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня!..

Так в пути, в горячке боя,
В суете хлопот и встреч
В нем жила сама собою
Эта песня или речь.

Но война — ей все едино,
Все — хорошие края:
Что Кавказ, что Украина,
Что Смоленщина твоя.

Через реки и речонки,
По мостам, и вплавь, и вброд,
Мимо, мимо той сторонки
Шла дивизия вперед.

А левее той порою,
Ранней осенью сухой,
Занимал село героя
Генерал совсем другой...

Фронт полнел, как половодье,
Вширь и вдаль. К Днепру, к Днепру
Кони шли, прося поводья,
Как с дороги ко двору.

И в пыли, рябой от пота,
Фронтовой смеялся люд:
Хорошо идет пехота,
Раз колеса отстают.

Нипочем, что уставали
По пути к большой реке
Так, что ложку на привале
Не могли держать в руке.

Вновь сильны святым порывом,
Шли вперед своим путем,
Со страдальчески-счастливым,
От жары открытым ртом.

Слева наши, справа наши,
Не отстать бы на ходу.
— Немец кухни с теплой кашей
Второпях забыл в саду.

— Подпереть его да в воду.
— Занял берег, сукин сын!
— Говорят, уж занял с ходу
Населенный пункт Берлин...

Золотое бабье лето
Оставляя за собой,
Шли войска — и вдруг с рассвета
Наступил днепровский бой...

Может быть, в иные годы,
Очищая русла рек,
Все, что скрыли эти воды,
Вновь увидит человек.

Обнаружит в илах сонных,
Извлечет из рыбьей мглы,
Как стволы дубов мореных,
Орудийные стволы;

Русский танк с немецким в паре,
Что нашли один конец,
И обоих полушарий
Сталь, резину и свинец;

Хлам войны — понтона днище,
Трос, оборванный в песке,
И топор без топорища,
Что сапер держал в руке.

Может быть, куда как пуще
И об этом топоре
Скажет кто-нибудь в грядущей
Громкой песне о Днепре;

О страде неимоверной
Кровью памятного дня.

Но о чем-нибудь, наверно,
Он не скажет за меня.

Пусть не мне еще с задачей
Было сладить. Не беда.
В чем-то я его богаче,—
Я ступал в тот след горячий.
Я там был. Я жил тогда...

Если с грузом многотонным
Отстают грузовики,
И когда-то мост понтонный
Доберется до реки,—

Под огнем не ждет пехота,
Уставной держась статьи,
За паром идут ворота;
Доски, бревна — за ладьи.

К ночи будут переправы,
В срок поднимутся мосты,
А ребятам берег правый
Свесил на воду кусты.

Подплывай, хватай за гриву.
Словно доброго коня.
Передышка под обрывом
И защита от огня.

Не беда, что с гимнастерки,
Со всего ручьем течет...
Точно так Василий Теркин
И вступил на берег тот.

На заре туман кудлатый,
Спутав дымы и дымки,
В берегах сползал куда-то,
Как река поверх реки.

И еще в разгаре боя,
Нынче, может быть, вот-вот,
Вместе с берегом, с землею
Будет в воду сброшен взвод.

Впрочем, всякое привычно,—
Срок войны, что жизни век.
От заставы пограничной
До Москвы-реки столичной
И обратно — столько рек!

Вот уже боец последний
Вылезает на песок
И жует сухарь немедля,
Потому — в Днепре намок.

Мокрый сам, шуршит штанами.
Ничего! — На то десант.
— Наступаем. Днепр за нами,
А, товарищ лейтенант?..

Бой гремел за переправу,
А внизу, южнее чуть —
Немцы с левого на правый,
Запоздав, держали путь.

Но уже не разминуться,
Теркин строго говорит:
— Пусть на левом в плен сдаются,
Здесь пока прием закрыт.

А на левом с ходу, с ходу
Подоспевшие штыки
Их толкали в воду, в воду,
А вода себе теки...

И еще меж берегами
Без разбору, наугад
Бомбы сваи помогали
Загонять, стелить накат.

Но уже из погребушек,
Из кустов, лесных берлог
Шел народ — родные души —
По обочинам дорог...

К штабу на берег восточный
Плелся стежкой, стороной
Некий немец беспорточный,
Веселя народ честной.

— С переправы?
— С переправы.
Только-только из Днепра.
— Плавал, значит?
— Плавал, дьявол,
Потому — пришла жара...

— Сытый, черт!
Чистопородный.
— В плен спешит, как на привал...

Но уже любимец взводный —
Теркин, в шутки не встревал.
Он курил, смотрел нестрого,
Думой занятый своей.
За спиной его дорога
Много раз была длинней.

И молчал он не в обиде,
Не кому-нибудь в упрек,—
Просто, больше знал и видел,
Потерял и уберег...

— Мать-земля моя родная,
Вся смоленская родня,
Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня!
Не в плену тебя жестоком,
По дороге фронтовой,
А в родном тылу глубоком
Оставляет Теркин твой.
Минул срок годины горькой,
Не воротится назад.

— Что ж ты, брат, Василий Теркин,
Плачешь вроде?..
— Виноват...

ПРО СОЛДАТА-СИРОТУ

Нынче речи о Берлине.
Шутки прочь,— подай Берлин.
И давно уж не в помине,
Скажем, древний город Клин.

И на Одере едва ли
Вспомнят даже старики,
Как полгода с бою брали
Населенный пункт Борки.

А под теми под Борками
Каждый камень, каждый кол
На три жизни вдался в память
Нам с солдатом-земляком.

Был земляк не стар, не молод,
На войне с того же дня
И такой же был веселый,
Наподобие меня.

Приходилось парню драпать,
Бодрый дух всегда берег,
Повторял: «Вперед, на запад»,
Продвигаясь на восток.

Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.

И по странности, бывало,
Одному ему почет,
Так что даже генералы
Были будто бы не в счет.

Срок иной, иные даты.
Разделен издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

В общем, битый, тертый, жженый,
Раной меченный двойной,
В сорок первом окруженный,
По земле он шел родной.

Шел солдат, как шли другие,
В неизвестные края:
«Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?..»

И в плену семью кидая,
За войной спеша скорей,
Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей.

Но какая ни морока,
Правда правдой, ложью ложь.
Отступали мы до срока.
Отступали мы далеко,
Но всегда твердили:
— Врешь!..

И теперь взглянуть на запад
От столицы. Край родной!
Не на шутку был он заперт
За железною стеной.

И до малого селенья
Та из плена сторона
Не по щучьему веленью
Вновь сполна возвращена,

По веленью нашей силы,
Русской, собственной своей.
Ну-ка, где она, Россия,
У каких гремит дверей!

И, навеки сбив охоту
В драку лезть на свой авось,
Враг ее — какой по счету! —
Пал ничком и лапы врозь.

Над какой столицей круто
Взмыл твой флаг, отчизна-мать!
Подождемте до салюта,
Чтобы в точности сказать.

Срок иной, иные даты.
Правда, ноша не легка...
Но продолжим про солдата,
Как сказали, земляка.

Дом родной, жена ли, дети,
Брат, сестра, отец иль мать
У тебя вот есть на свете,—
Есть куда письмо послать.

А у нашего солдата —
Адресатом белый свет.
Кроме радио, ребята,
Близких родственников нет.

На земле всего дороже,
Коль имеешь про запас
То окно, куда ты сможешь
Постучаться в некий час.

На походе за границей,
В чужедальней стороне,
Ах, как бережно хранится
Боль-мечта о том окне!

А у нашего солдата,—
Хоть сейчас войне отбой,—
Ни окошка нет, ни хаты,
Ни хозяйки, хоть женатый,
Ни сынка, а был, ребята,—
Рисовал дома с трубой...

Под Смоленском наступали.
Выпал отдых. Мой земляк
Обратился на привале
К командиру: так и так,—

Отлучиться разрешите,
Дескать, случай дорогой,
Мол, поскольку местный житель,
До двора — подать рукой.

Разрешают в меру срока...
Край известный до куста.
Но глядит — не та дорога,
Местность будто бы не та.

Вот и взгорье, вот и речка,
Глушь, бурьян солдату в рост,
Да на столбике дощечка,
Мол, деревня Красный Мост.

И нашлись, что были живы,
И скажи ему спроста
Все по правде, что служивый —
Достоверный сирота.

У дощечки на развилке,
Сняв пилотку, наш солдат
Постоял, как на могилке,
И пора ему назад.

И, подворье покидая,
За войной спеша скорей,
Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей...

Но, бездомный и безродный,
Воротившись в батальон,
Ел солдат свой суп холодный
После всех, и плакал он.

На краю сухой канавы,
С горькой, детской дрожью рта,
Плакал, сидя с ложкой в правой,
С хлебом в левой,— сирота.

Плакал, может быть, о сыне,
О жене, о чем ином,
О себе, что знал: отныне
Плакать некому о нем.

Должен был солдат и в горе
Закусить и отдохнуть,
Потому, друзья, что вскоре
Ждал его далекий путь.

До земли советской края
Шел тот путь в войне, в труде.

А война пошла такая —
Кухни сзади, черт их где!

Позабудешь и про голод
За хорошею войной.
Шутки, что ли, сутки — город,
Двое суток — областной.

Срок иной, пора иная —
Бей, гони, перенимай.
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Здравствуй, пели, и прощай.

Позабудешь и про жажду,
Потому что пиво пьет
На войне отнюдь не каждый
Тот, что брал пивной завод.

Так-то с ходу ли, не с ходу,
Соступив с родной земли,
Пограничных речек воду
Мы с боями перешли.

Счет сведен, идет расплата
На свету, начистоту.
Но закончим про солдата,
Про того же сироту.

Где он нынче на поверку.
Может, пал в бою каком,
С мелкой надписью фанерку
Занесло сырым снежком.

Или снова был он ранен,
Отдохнул, как долг велит,
И опять на поле брани
Вместе с нами брал Тильзит?

И, Россию покидая,
За войной спеша скорей,
Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей.

Может, здесь еще бездомней
И больней душе живой,
Так ли, нет,— должны мы помнить
О его слезе святой.

Если б ту слезу руками
Из России довелось
На немецкий этот камень
Донести,— прожгла б насквозь.

Счет велик, идет расплата.
И за той большой страдой
Не забудемте, ребята,

Вспомним к счету про солдата,
Что остался сиротой.

Грозен счет, страшна расплата
За мильоны душ и тел.
Уплати — и дело свято,
Но вдобавок за солдата,
Что в войне осиротел.

Далеко ли до Берлина,
Не считай, шагай, смоли,—
Вдвое меньше половины
Той дороги, что от Клина,
От Москвы уже прошли.

День идет за ночью следом,
Подведем штыком черту.
Но и в светлый день победы
Вспомним, братцы, за беседой
Про солдата-сироту...

ПО ДОРОГЕ НА БЕРЛИН

По дороге на Берлин
Вьется серый пух перин.

Провода умолкших линий,
Ветки вымокшие лип
Пух перин повил, как иней,
По бортам машин налип.

И колеса пушек, кухонь
Грязь и снег мешают с пухом.
И ложится на шинель
С пухом мокрая метель...

Скучный климат заграничный,
Чуждый край краснокирпичный,
Но война сама собой,
И земля дрожит привычно,
Хрусткий щебень черепичный
Отряхая с крыш долой...

Мать-Россия, мы полсвета
У твоих прошли колес,
Позади оставив где-то
Рек твоих раздольный плес.

Долго-долго за обозом
В край чужой тянулся вслед
Белый цвет твоей березы
И в пути сошел на нет.

С Волгой, с древнею Москвою
Как ты нынче далека.
Между нами и тобою —
Три не наших языка.

Поздний день встает не русский
Над немилой стороной.
Черепичный щебень хрусткий
Мокнет в луже под стеной.

Всюду надписи, отметки,
Стрелки, вывески, значки,
Кольца проволочной сетки,
Загородки, дверцы, клетки —
Все нарочно для тоски...

Мать-земля родная наша,
В дни беды и в дни побед
Нет тебя светлей и краше
И желанней сердцу нет.

Помышляя о солдатской
Непредсказанной судьбе,
Даже лечь в могиле братской
Лучше, кажется, в тебе.

А всего милей до дому,
До тебя дойти живому,
Заявиться в те края:
— Здравствуй, родина моя!

Воин твой, слуга народа,
С честью может доложить:
Воевал четыре года,
Воротился из похода
И теперь желает жить.

Он исполнил долг во славу
Боевых твоих знамен.
Кто еще имеет право
Так любить тебя, как он!

День и ночь в боях сменяя,
В месяц шапки не снимая,
Воин твой, защитник-сын,
Шел, спешил к тебе, родная,
По дороге на Берлин...

По дороге немшучей
Пух перин клубится тучей.
Городов горелый лом
Пахнет паленым пером.

И под грохот канонады
На восток, из мглы и смрада,
Как из адовых ворот,
Вдоль шоссе течет народ.

Потрясенный, опаленный,
Всех кровей, разноплеменный,
Горький, вьючный, пеший люд...
На восток — один маршрут.

На восток, сквозь дым и копоть,
Из одной тюрьмы глухой
По домам идет Европа.
Пух перин над ней пургой.

И на русского солдата
Брат француз, британец брат,
Брат поляк и все подряд
С дружбой будто виноватой,
Но сердечною глядят.

На безвестном перекрестке
На какой-то встречный миг —
Сами тянутся к прическе
Руки девушек немых.

И от тех речей, улыбок
Залит краской сам солдат:
Вот Европа, а спасибо
Все по-русски говорят.

Он стоит, освободитель,
Набок шапка со звездой.
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой.
Мол, такая служба наша,
Прочим флагам не в упрек...

— Эй, а ты куда, мамаша?
— А туда ж,— домой, сынок.

В чужине, в пути далече,
В пестром сборище людском
Вдруг слова родимой речи,
Бабка в шубе, с посошком.

Старость вроде, да не дряхлость
В ту котомку впряжена.
По-дорожному крест-накрест
Вся платком оплетена.

Поздоровалась и встала,
Земляку-бойцу под стать,
Деревенская, простая
Наша труженица-мать.

Мать святой извечной силы,
Из безвестных матерей,
Что в труде неизносимы
И в любой беде своей;

Что судьбою, повторенной
На земле сто раз подряд,
И растят в любви бессонной,
И теряют нас, солдат;

И живут, и рук не сложат,
Не сомкнут своих очей,
Коль нужны еще, быть может,
Внукам вместо сыновей.

Мать одна в чужбине где-то!
— Далеко ли до двора?
— До двора? Двора-то нету,
А сама из-за Днепра...

Стой, ребята, не годится,
Чтобы этак с посошком
Шла домой из-за границы
Мать солдатская пешком.

Нет, родная, по порядку
Дай нам делать, не мешай.
Перво-наперво лошадку
С полной сбруей получай.

Получай экипировку,
Ноги ковриком укрой.
А еще тебе коровку
Вместе с приданной овцой.

В путь-дорогу чайник с кружкой
Да ведерко про запас,
Да перинку, да подушку,—
Немцу в тягость, нам как раз...

— Ни к чему. Куда, родные? —
А ребята — нужды нет —
Волокут часы стенные
И ведут велосипед.

— Ну, прощай. Счастливо ехать! —
Что-то силится сказать
И закашлялась от смеха,
Головой качает мать.

— Как же, детки, путь не близкий,
Вдруг задержат где меня:
Ни записки, ни расписки
Не имею на коня.

— Ты об этом не печалься,
Поезжай да поезжай.
Что касается начальства,—
Свой у всех передний край.

Поезжай, кати, что́ с горки,
А случится что-нибудь,
То скажи, не позабудь:
Мол, снабдил Василий Теркин,—
И тебе свободен путь.

Будем живы, в Заднепровье
Завернем на пироги.
— Дай господь тебе здоровья
И от пули сбереги...

Далеко, должно быть, где-то
Едет нынче бабка эта,
Правит, щурится от слез.
И с боков дороги узкой,
На земле еще не русской —
Белый цвет родных берез.

Ах, как радостно и больно
Видеть их в краю ином!..

Пограничный пост контрольный,
Пропусти ее с конем!

В БАНЕ

На околице войны —
В глубине Германии —
Баня! Что там Сандуны
С остальными банями!

На чужбине отчий дом —
Баня натуральная.
По порядку поведем
Нашу речь похвальную.

Дом ли, за́мок, все равно,
Дело безобманное:
Банный пар занес окно
Пеленой туманною.

Стулья графские стоят
Вдоль стены в предбаннике.
Снял подштанники солдат,
Докурил без паники.

Докурил, рубаху с плеч
Тащит через голову.
Про солдата в бане речь,—
Поглядим на голого.

Невысок, да грудь вперед
И в кости надежен.
Телом бел,— который год
Загорал в одеже.

И хоть нет сейчас на нем
Форменных регалий,
Что знаком солдат с огнем,
Сразу б угадали.

Подивились бы спроста,
Что остался целым.
Припечатана звезда
На живом, на белом.

Неровна, зато красна,
Вприямь под стать награде,
Пусть не спереди она,—
На лопатке сзади.

С головы до ног мельком
Осмотреть атлета:
Там еще рубец стручком,
Там иная мета.

Знаки, точно письмена
Памятной страницы.

Тут и Ельня, и Десна,
И родная сторона
В строку с заграницей.

Столько верст и столько вех,
Не забыть иную.
Но разделся человек,
Так идет в парную.

Он идет, но как идет,
Проследим сторонкой:
Так ступает, точно лед
Под ногами тонкий;

Будто делает с трудом
Шаг — и непременно:
— Ух, ты! — крякает, притом
Щурится блаженно.

Говор, плеск, веселый гул,
Капли с потных сводов...
Ищет, руки протянув,
Прежде пар, чем воду.

Пар бодает в потолок.
Ну-ка, с ходу на полок!

В жизни мирной или бранной,
У любого рубежа,
Благодарны ласке банной
Наше тело и душа.

Ничего, что ты природой
Самый русский человек,
А берешь для бани воду
Из чужих, далеких рек.

Много хуже для здоровья,
По зиме ли, по весне,
Возле речек Подмосковья
Мыться в бане на войне.

— Ну-ка ты, псковской, елецкий
Иль еще какой земляк,
Зачерпни воды немецкой
Да уважь, плесни черпак.

Не жалей, добавь на пфенниг,
А теперь погладить швы
Дайте, хлопцы, русский веник,
Даже если он с Литвы.

Честь и слава помпохозу,
Снаряжавшему обоз,
Что советскую березу
Аж за Кенигсберг завез.

Эй, славяне, что с Кубани,
С Дона, с Волги, с Иртыша,
Занимай высоты в бане,
Закрепляйся не спеша!

До того, друзья, отлично
Так-то всласть, не торопясь,
Парить веником привычным
Заграничный пот и грязь.

Пар на славу, молодецкий,
Мокрым доскам горячо.
Ну-ка, где ты, друг елецкий,
Кинь гвардейскую еще!

Кинь еще, а мы освоим
С прежней дачей заодно.
Вот теперь спасибо, воин,
Отдыхай. Теперь — оно!

Кто не нашей подготовки,
Того с полу на полок
Не встянуть и на веревке,—
Разве только через блок.

Тут любой старик любитель,
Сунься только, как ни рьян,
Больше двух минут не житель,

А и житель — не родитель,
Потому не даст семян.

Нет, куда, куда, куда там,
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом,—
Даже черту самому.

Пусть он жиловатый парень,
Да такими вряд ли он,
Как солдат, жарами жарен
И морозами печен.

Пусть он, в общем, тертый малый,
Хоть, понятно, черта нет,
Да поди сюда, пожалуй,
Так узнаешь, где тот свет.

На полке́, полке́, что тесан
Мастерами на войне,
Ходит веник жарким чесом
По малиновой спине.

Человек поет и стонет,
Просит:
— Гуще нагнетай.—
Стонет, стонет, а не донят:
— Дай! Дай! Дай! Дай!

Не допариться в охоту,
В меру тела для бойца —
Все равно что немца с ходу
Не доделать до конца.

Нет, тесни его, чтоб вскоре
Опрокинуть навзничь в море,
А который на земле —
Истолочь живьем в «котле».

И за всю войну впервые —
Немца нет перед тобой.
В честь победы огневые
Грянут следом за Москвой.

Грянет залп многоголосый,
Заглушая шум волны.
И пошли стволы, колеса
На другой конец войны.

С песней тронулись колонны
Не в последний ли поход?
И ладонью запыленной
Сам солдат слезу утрет.

Кто-то свистнет, гикнет кто-то,
Грусть растает, как дымок.
И война — не та работа,
Если праздник недалек.

И война — не та работа,
Ясно даже простаку,
Если по три самолета
В помощь придано штыку.

И не те как будто люди,
И во всем иная стать,
Если танков и орудий —
Сверх того, что негде стать.

Сила силе доказала:
Сила силе — не ровня.
Есть металл прочней металла,
Есть огонь страшней огня!

Бьют Берлину у заставы
Судный час часы Москвы...

А покамест суд да справа —
Пропотел солдат на славу,
Кость прогрел, разгладил швы,
Новый с ног до головы —
И слезай, кончай забаву...

А внизу — иной уют,
В душевой и ванной
Завершает голый люд
Банный труд желанный.

Тот упарился, а тот
Борется с истомой.
Номер первый спину трет
Номеру второму.

Тот, механик и знаток,
У светца хлопочет,
Тот макушку мылит впрок,
Тот мозоли мочит;

Тот платочек носовой,
Свой трофей карманный,
Моет мыльною водой,
Дармовою банной.

Ну, а наш слегка остыл
И — конец лежанке.
В шайке пену нарастил,
Обработал фронт и тыл,
Не забыл про фланги.

Быстро сладил с остальным,
Обдался и вылез.
И невольно вслед за ним
Все поторопились.

Не затем, чтоб он стоял
Выше в смысле чина,
А затем, что жизни дал
На полке мужчина.

Любит русский человек
Праздник силы всякий,
Оттого и хлеще всех
Он в труде и драке.

И в привычке у него
Издавна, извечно
За лихое удальство
Уважать сердечно.

И с почтеньем все глядят,
Как опять без паники
Не спеша надел солдат
Новые подштанники.

Не спеша надел штаны
И почти что новые,
С точки зренья старшины,
Сапоги кирзовые.

В гимнастерку влез солдат,
А на гимнастерке —
Ордена, медали в ряд
Жарким пламенем горят...

— Закупил их, что ли, брат,
Разом в военторге?

Тот стоит во всей красе,
Занят самокруткой.
— Это что! Еще не все,—
Метит шуткой в шутку.

— Любо-дорого. А где ж
Те, мол, остальные?..
— Где последний свой рубеж
Держит немец ныне.

И едва простился он,
Как бойцы в восторге
Вслед вздохнули:
— Ну, силен!
— Все равно что Теркин.

ОТ АВТОРА

«Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна...»

Теркин, Теркин, в самом деле,
Час настал, войне отбой.
И как будто устарели
Тотчас оба мы с тобой.

И как будто оглушенный
В наступившей тишине,
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.

В том беды особой нету:
Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок, придет она.

Я сказать хотел иное,
Мой читатель, друг и брат,
Как всегда, перед тобою
Я, должно быть, виноват.

Больше б мог, да было к спеху,
Тем, однако, дорожи,
Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.

И, по совести, порою
Сам вздохнул не раз, не два,
Повторив слова героя,
То есть Теркина слова:

«Я не то еще сказал бы,—
Про себя поберегу.
Я не так еще сыграл бы,—
Жаль, что лучше не могу».

И хотя иные вещи
В годы мира у певца
Выйдут, может быть, похлеще
Этой книги про бойца,—

Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слез,
Как тот сын, что рос не в холе,
А в годину бед и гроз...

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне,
Повстречавшись на войне.

От Москвы, от Сталинграда
Неизменно ты со мной —
Боль моя, моя отрада,
Отдых мой и подвиг мой!

Эти строки и страницы —
Дней и верст особый счет,
Как от западной границы
До своей родной столицы,
И от той родной столицы
Вспять до западной границы,
А от западной границы
Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.

Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.

Скольких их на свете нету,
Что прочли тебя, поэт,
Словно бедной книге этой
Много, много, много лет.

И сказать, помыслив здраво:
Что ей будущая слава!

Что ей критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет, нет ли где ошибки,—
Горе, если не найдет.

Не о том с надеждой сладкой
Я мечтал, когда украдкой
На войне, под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Без отлучки от колес,

В дождь, укрывшись плащ-палаткой,
Иль зубами сняв перчатку
На ветру, в лютой мороз,
Заносил в свою тетрадку
Строки, жившие вразброс.

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,

Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
Что случится где-нибудь.

Толку нет, что, может статься,
У гармошки за душой
Весь запас, что на два танца,—
Разворот зато большой.

И теперь, как смолкли пушки,
Предположим наугад,
Пусть нас где-нибудь в пивнушке
Вспомнит после третьей кружки
С рукавом пустым солдат;

Пусть в какой-нибудь каптерке
У кухонного крыльца
Скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!» —
Про какого-то бойца;

Пусть о Теркине почтенный
Скажет важно генерал,—
Он-то скажет непременно,—
Что медаль ему вручал;

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...

Я доволен был бы, право,
И — не гордый человек —
Ни на чью иную славу
Не сменю того вовек.

Повесть памятной годины,
Эту книгу про бойца,
Я и начал с середины
И закончил без конца

С мыслью, может, дерзновенной
Посвятить любимый труд
Павшим памяти священной,
Всем друзьям поры военной,
Всем сердцам, чей дорог суд.

1941—1945

ГЛАВА 1

Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студеной
Война стояла у ворот
Столицы осажденной.

Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно —
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной.

Твоей судьбой я только жил
И пел ее доныне,
А эту песню отложил,
Прервав на половине.

И как вернуться ты не мог
С войны к жене-солдатке,
Так я не мог
Весь этот срок
Вернуться к той тетрадке.

Но как ты помнил на войне
О том, что сердцу мило,
Так песня, начавшись во мне,
Жила, кипела, ныла.

А я ее в себе берег,
Про будущее прочил,
И боль и радость этих строк
Меж строк скрывая прочих.

Я нес ее и вез с собой
От стен родной столицы —
Вслед за тобой,
Вслед за тобой —
До самой заграницы.

От рубежа до рубежа —
На каждом новом месте
Ждала с надеждою душа
Какой-то встречи, вести...

И где бы ни переступал
Каких домов пороги,
Я никогда не забывал
О доме у дороги.

О доме горестном, тобой
Покинутом когда-то.
И вот в пути, в стране чужой
Я встретил дом солдата.

Тот дом без крыши, без угла,
Согретый по-жилому,
Твоя хозяйка берегла
За тыщи верст от дому.

Она тянула кое-как
Вдоль колеи шоссейной —
С меньшим, уснувшим на руках,
И всей гурьбой семейной.

Кипели реки подо льдом,
Ручьи взбивали пену,
Была весна, и шел твой дом
На родину из плена.

Он шел в Смоленщину назад,
Что так была далече...
И каждый наш солдатский взгляд
Теплел при этой встрече.

И как там было не махнуть
Рукой: «Бывайте живы!»,
Не обернуться, не вздохнуть
О многом, друг служивый.

О том хотя бы, что не все
Из тех, что дом теряли,
На фронтовом своем шоссе
Его и повстречали.

Ты сам, шагая в той стране
С надеждой и тревогой,
Его не встретил на войне,—
Другою шел дорогой.

Но дом твой в сборе, налицо.
К нему воздвигнуть стены,
Приставить сени и крыльцо —
И будет дом отменный.

С охотой руки приложить —
И сад, как прежде, дому
Заглянет в окна.
Жить да жить,
Ах, жить да жить живому!

А мне бы петь о жизни той,
О том, как пахнет снова
На стройке стружкой золотой,
Живой смолой сосновой.

Как, огласив войне конец
И долголетье миру,
Явился беженец-скворец
На новую квартиру.

Как жадно в рост идет трава
Густая на могилах.

Трава — права,
И жизнь жива,
Но я про то хочу сперва,
Про что забыть не в силах.

Так память горя велика,
Глухая память боли.
Она не стишится, пока
Не выскажется вволю.

И в самый полдень торжества,
На праздник возрожденья
Она приходит, как вдова
Бойца, что пал в сраженье.

Как мать, что сына день за днем
Ждала с войны напрасно,
И позабыть еще о нем,
И не скорбеть всечасно
Не властна.

Пусть меня простят,
Что снова я до срока
Вернусь, товарищи, назад,
К той памяти жестокой.

И все, что выразится здесь,
Да вникнет в душу снова,
Как плач о родине, как песнь
Ее судьбы суровой.

ГЛАВА 2

В тот самый час воскресным днем,
По праздничному делу,
В саду косил ты под окном
Траву с росою белой.

Трава была травы добрей —
Горошек, клевер дикий,
Густой метелкою пырей
И листья земляники.

И ты косил ее, сопя,
Кряхтя, вздыхая сладко.
И сам подслушивал себя,
Когда звенел лопаткой:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,
Роса ручьем бежала.

Покос высокий, как постель,
Ложился, взбитый пышно,
И непросохший сонный шмель
В покосе пел чуть слышно.

И с мягким махом тяжело
Косье в руках скрипело.
И солнце жгло,
И дело шло,
И все, казалось, пело:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

И палисадник под окном,
И сад, и лук на грядах —
Все это вместе было дом,
Жилье, уют, порядок.

Не тот порядок и уют,
Что, никому не веря,
Воды напиться подают,
Держась за клямку двери.

А тот порядок и уют,
Что всякому с любовью
Как будто чарку подают
На доброе здоровье.

Помытый пол блестит в дому
Опрятностью такою,
Что просто радость по нему
Ступить босой ногою.

И хорошо за стол свой сесть
В кругу родном и тесном,
И, отдыхая, хлеб свой есть,
И день хвалить чудесный.

Тот вправду день из лучших дней,
Когда нам вдруг с чего-то —
Еда вкусней,
Жена милей
И веселей работа.

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

Домой ждала тебя жена,
Когда с нещадной силой
Старинным голосом война
По всей стране завыла.

И, опершися на косье,
Босой, простоволосый,
Ты постоял — и понял все,
И не дошел прокоса.

Не докосил хозяин луг,
В поход запоясался,
А в том саду все тот же звук
Как будто раздавался:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

И был ты, может быть, уже
Забыт самой войною,
И на безвестном рубеже
Зарыт иной землею.

Не умолкая, тот же звук,
Щемящий звон лопатки,
В труде, во сне тревожил слух
Твоей жене-солдатке.

Он сердце ей насквозь изжег
Тоскою неизбытой,
Когда косила тот лужок
Сама косой небитой.

Слепили слезы ей глаза,
Палила душу жалость.
Не та коса,
Не та роса,
Не та трава, казалось...

Пусть горе женское пройдет,
Жена тебя забудет
И замуж, может быть, зайдет
И будет жить, как люди.

Но о тебе и о себе,
О давнем дне разлуки
Она в любой своей судьбе
Вздохнет при этом звуке:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

ГЛАВА 3

Еще не здесь, еще вдали
От этих нив и улиц
Стада недоеные шли
И беженцы тянулись.

Но шла, гудела, как набат,
Беда по всей округе.
За черенки взялись лопат,
За тачки бабьи руки.

Готовы были день и ночь
Копать с упорством женским,
Чтоб чем-нибудь войскам помочь
На рубеже смоленском.

Чтоб хоть в родимой стороне,
У своего порога,
Хотя б на малый срок войне
Перекопать дорогу.

И сколько рук — не перечтешь! —
Вдоль той канавы длинной
Живьем приваливали рожь
Сырой тяжелой глиной.

Живьем хлеба, живьем траву
Приваливали сами.

А *он* уж бомбы на Москву
Возил над головами.

Копали ров, валили вал,
Спешили, будто к сроку.

А *он* уж по земле ступал,
Гремел неподалеку.

Ломал и путал фронт и тыл
От моря и до моря,
Кровавым заревом светил,
В ночи смыкая зори.

И страшной силой буревой,
В медовый срок покоса,
В дыму, в пыли перед собой
От фронта гнал колеса.

И столько вывалило вдруг
Гуртов, возов, трехтонок,
Коней, подвод, детей, старух,
Узлов, тряпья, котомок...

Моя великая страна,
У той кровавой даты
Как ты была еще бедна
И как уже богата!

Зеленой улицей села,
Где пыль легла порошей,
Огромный край война гнала
С поспешно взятой пошей.

Смятенье, гомон, тяжкий стон
Людской страды горячей.
И детский плач, и патефон,
Поющий, как на даче,—
Смешалось все, одной беды —
Войны знаменьем было...

Уже до полудня воды
В колодцах не хватило.

И ведра глухо грунт скребли,
Гремя о стенки сруба,
Полупустые кверху шли,
И к капле, прыгнувшей в пыли,
Тянулись жадно губы.

А сколько было там одних —
С жары совсем соловых —
Курчавых, стриженых, льняных,
Чернявых, русых и иных
Ребяческих головок.

Нет, ты смотреть не выходи
Ребят на водопое.
Скорей своих прижми к груди,
Пока они с тобою.

Пока с тобой,
В семье родной,
Они, пускай не в холе,
В любой нужде,
В своем гнезде —
Еще на зависть доля.

И приведись на горький путь
Сменить свое подворье —
Самой детей одеть, обуть —
Еще, поверь,— полгоря.

И, притерпевшись, как-никак
Брести в толпе дорожной
С меньшим, уснувшим на руках,
С двумя при юбке — можно!

Идти, брести,
Присесть в пути
Семьей на отдых малый.
Да кто сейчас
Счастливей вас!

Смотри-ка, есть, пожалуй.

Где светит свет хоть краем дня,
Где тучей вовсе застится.
И счастье счастью не ровня,
И горе — горю разница.

Ползет, скрипит кибитка-дом,
И головы детишек
Хитро укрыты лоскутом
Железной красной крыши.

И служит кровлей путевой
Семье, войной гонимой,
Та кровля, что над головой
Была в краю родимом.

В краю ином
Кибитка-дом,
Ее уют цыганский,
Не как-нибудь
Налажен в путь,—
Мужской рукой крестьянской.

Ночлег в пути, ребята спят,
Зарывшись в глубь кибитки.
И в небо звездное глядят
Оглобли, как зенитки.

Не спит хозяин у огня.
На этом трудном свете
Он за детей, и за коня,
И за жену в ответе.

И ей, хоть лето, хоть зима,
Все ж легче путь немилый.
А ты реши-ка все сама,
Своим умом и силой.

В полдневный зной
И в дождь ночной
Укрой в дороге деток.

Далекий мой,
Родимый мой,
Живой ли, мертвый — где ты?..

Нет, ни жена, ни даже мать,
Что думала о сыне,
Не в силах были угадать
Всего, что станет ныне.

Куда там было в старину,—
Все нынче по-иному:
Ушел хозяин на войну,
Война подходит к дому.

И, чуя гибель, этот дом
И сад молчат тревожно.
И фронт — уж вот он — за холмом
Вздыхает безнадежно.

И пыльных войск отход, откат
Не тот, что был вначале.
И где колонны кое-как,
Где толпы зашагали.

Все на восток, назад, назад,
Все ближе бьют орудья.
А бабы воют и висят
На изгороди грудью.

Пришел, настал последний час,
И нет уже отсрочки.
— А на кого ж вы только нас
Кидаете, сыночки?..

И то, быть может, не упрек,
А боль за них и жалость.
И в горле давящий комок
За все, что с жизнью сталось.

И сердце женское вдвойне
Тоска, тревога гложет,
Что своего лишь там, в огне,
Жена представить может.

В огне, в бою, в чадном дыму
Кровавой рукопашной.
И как, должно быть, там ему,
Живому, смерти страшно.

Не подсказала б та беда,
Что бабьим воем выла,
Не знала б, может, никогда,
Что до смерти любила.

Любила — взгляд не оброни
Никто, одна любила.
Любила так, что от родни,
От матери отбила.

Пускай не девичья пора,
Но от любви на диво —
В речах остра,

В делах быстра,
Как змейка вся ходила.

В дому — какое не житье —
Детишки, печь, корыто,—
Еще не видел он ее
Нечесаной, немытой.

И весь она держала дом
В опрятности тревожной,
Считая, может, что на том
Любовь вовек надежней.

И та любовь была сильна
Такою властной силой,
Что разлучить одна война
Могла.
И разлучила.

ГЛАВА 4

Томила б только ты бойца,
Война, тоской знакомой,
Да не пылила б у крыльца
Его родного дома.

Давила б грузным колесом
Тех, что твои по списку,
Да не губила б детский сон
Пальбой артиллерийской.

Гремя, бесилась бы спьяна
У своего предела,—
И то была бы ты, война,
Еще святое дело.

Но ты повыгнала ребят
В подвалы, в погребушки,
Ты с неба наземь наугад
Свои кидаешь чушки.

И люди горькой стороны
У фронта сбились тесно,
Боясь и смерти и вины
Какой-то неизвестной.

А ты все ближе ко двору,
И дети, чуя горе,
Пугливым шепотом игру
Ведут в углу, не споря...

В тот первый день из горьких дней,
Как собрался в дорогу,
Велел отец беречь детей,
Смотреть за домом строго.

Велел детей и дом беречь,—
Жена за все в ответе.
Но не сказал, топить ли печь
Сегодня на рассвете.

Но не сказал, сидеть ли тут,
Бежать ли в свет куда-то.
Все бросить вдруг.
А где нас ждут,
Где просят?
Свет — не хата.

Здесь потолок над головой,
Здесь — дом, в хлеву — корова...
А немец, может, он иной
И не такой суровый,—
Пройдет, минет.

А вдруг как нет?
Не тою славен славой.
А что ж, тогда ты в сельсовет
Пойдешь искать управы?

Каким сгрозишь ему судом,
Как встанет на пороге,
Как в дом войдет?
Нет, кабы дом
Подальше от дороги...

...Последних четверо солдат
Калитку в сад открыли,
Железом кованых лопат
Устало грюкнули не в лад,
Присели, закурили.

И улыбнулся, обратясь
К хозяйке, старший вроде:
— Хотим тут пушечку у вас
Поставить в огороде.

Сказал, как будто человек
Проезжий, незнакомый
С конем просился на ночлег,
С телегой возле дома.

Ему и ласка и привет.
— Не уходите только,
Не покидайте нас...
— Да нет,—
Переглянулись горько.

— Да нет, от этой конопли
Мы не уйдем, мамаша.
Затем, чтоб все уйти могли,—
Такая служба наша.

— И ты спеши,— сказал боец,—
Поскольку эту пушку,
А заодно и твой дворец
Уж *он* возьмет на мушку.
А впрочем, малость погоди,—
Прислушавшись, добавил: —
Кладет уж вон где, впереди,
Как раз по переправе.

Земля вокруг как на волне,
И день оглох от грома.
— Вот жизнь: хозяин на войне,
А ты, выходит, дома.

А у нее про всех готов
Один вопрос печальный:
— Сивцов — фамилия. Сивцов.
Не слышали случайно?

— Сивцов? Постой, подумать дай.
Ну да, слыхал Сивцова.
Сивцов — ну как же, Николай,
Так он — живой, здоровый.
Не твой? Ага, а твой Андрей?
Андрей, скажи на милость...

Но чем-то вроде дорог ей
И тот однофамилец.

— Ну, что, друзья, кончай курить.—
Разметил план лопатой
И стал усердно землю рыть
Солдат в саду солдата.

Не для того, чтоб там взросла
Какая-либо штука,
И не нарочно, не со зла,
А как велит наука.
Он рыл окоп, по форме чтоб
И глубина и бруствер...

Ах, сколько в том рытье одном
Покорной делу грусти!

Он делал дело — землю рыл,
Но, может, думал мельком
И даже, может, говорил,
Вздыхал:
— Земля, земелька...

Уже они по грудь в земле,
Зовет к столу солдатка,
Как будто помочи в семье,
Обед и отдых сладкий.

— Устали, кушайте.
— Ну что ж,
Горячего, покамест...

— Еще, признаться, грунт хорош,
А то бывает — камень...

И первым старший ложку нес,
А вслед за ним солдаты.
— А что, богатый был колхоз?
— Нет, не сказать богатый,
Не так, а все-таки. Хлеба
Сильнее за Угрою...
— Смотри, притихнула пальба.
— Детишек трое?
— Трое...

И общий вздох:
— С детьми — беда.—
И разговор с заминкой.
Жирна не вовремя еда,
Грустна, как на поминках.

— Спасибо наше за обед,
Хозяюшка, спасибо.
А что касается... так — нет,
Не жди, беги как-либо.

— Постой,— сказал другой солдат,
В окно с тревогой глядя,—
Смотри, народ как раз назад
Потек.
— Чего бы ради?

Дорога пыльная полна,
Идут, бредут понуро.
С востока к западу война
Оглобли завернула.

— Выходит, он уж впереди.
— А что ж теперь, куда же?
— Молчи, хозяйка, и сиди,
Что дальше — день покажет.
А нам стеречь твой огород,
Хозяйка,— дело худо,
Выходит, наш теперь черед
Искать ходов отсюда.

И по лихой нужде своей
Теперь они, солдаты,
Казалось, женщины слабей,
И не виновны перед ней,
А все же виноваты.

— Прощай, хозяйка, жди, придем,
Настанут наши сроки.
И твой найдем приметный дом
У столбовой дороги.
Придем, найдем, а может, нет;
Война,— нельзя ручаться.
Еще спасибо за обед.

— И вам спасибо, братцы.
Прощайте.—
Вывела людей.
И с просьбой безнадежной:
— Сивцов,— напомнила,— Андрей,
Услышите, возможно...

Шагнула вслед, держась за дверь,
В слезах, и сердце сжалось,
Как будто с мужем лишь теперь
Навеки распрощалась.
Как будто он ушел из рук
И скрылся без оглядки...

И ожил вдруг в ушах тот звук,
Щемящий звон лопатки:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой...

ГЛАВА 5

Вам не случилось быть при том,
Когда в ваш дом родной
Входил, гремя своим ружьем,
Солдат земли иной?

Не бил, не мучил и не жег,—
Далеко до беды.
Вступил он только на порог
И попросил воды.

И, наклонившись над ковшом,
С дороги весь в пыли,
Попил, утерся и ушел
Солдат чужой земли.

Не бил, не мучил и не жег,—
Всему свой срок и ряд.
Но он входил, уже он мог
Войти, чужой солдат.

Чужой солдат вошел в ваш дом,
Где свой не мог войти.
Вам не случилось быть при том?
И бог не приведи!

Вам не случилось быть при том,
Когда, хмельной, дурной,
За вашим тешится столом
Солдат земли иной?

Сидит, заняв тот край скамьи,
Тот угол дорогой,
Где муж, отец, глава семьи
Сидел,— не кто другой.

Не доведись вам злой судьбой
Не старой быть при том
И не горбатой, не кривой
За горем и стыдом.

И до колодца по селу,
Где есть чужой солдат,
Как по толченому стеклу,
Ходить вперед-назад.

Но если было суждено
Все это, все в зачет,
Не доведись хоть то одно,
Чему еще черед.

Не доведись вам за войну,
Жена, сестра иль мать,
Своих
Живых
Солдат в плену
Воочью увидать.

...Сынов родной земли,
Их стыдным, сборным строем
По той земле вели
На запад под конвоем.

Идут они по ней
В позорных сборных ротах,
Иные без ремней,
Иные без пилоток.

Иные с горькой, злой
И безнадежной мукой
Несут перед собой
На перевязи руку...

Тот хоть шагать здоров,
Тому ступить задача,—
В пыли теряя кровь,
Тащись, пока ходячий.

Тот, воин, силой взят
И зол, что жив остался.
Тот жив и счастью рад,
Что вдруг отвоевался.

Тот ничему цены
Еще не знает в мире.
И все идут, равны,
В колонне по четыре.

Ботинок за войну
Одних не износили,
И вот они в плену,
И этот плен — в России.

Поникнув от жары,
Переставляют ноги.
Знакомые дворы
По сторонам дороги.

Колодец, дом и сад
И все вокруг приметы.
День или год назад
Брели дорогой этой?

Год или только час
Прошел без проволочки?..
«А на кого ж вы нас
Кидаете, сыночки!..»

Теперь скажи в ответ
И встреть глаза глазами,
Мол, не кидаем, нет,
Глядите, вот мы с вами.

Порадуй матерей
И жен в их бабьей скорби.
Да не спеши скорей
Пройти. Не гнись, не горбись...

Бредут ряды солдат
Угрюмой вереницей.
И бабы всем подряд
Заглядывают в лица.

Не муж, не сын, не брат
Проходят перед ними,
А только свой солдат —
И нет родни родимей.

И сколько тех рядов
Ты молча проводила
И стриженых голов,
Поникнувших уныло.

И вдруг — ни явь, ни сон,—
Послышалось как будто,—
Меж многих голосов
Один:
— Прощай, Анюта...

Метнулась в тот конец,
Теснясь в толпе горячей.
Нет, это так. Боец
Кого-то наудачу
Назвал в толпе. Шутник.
До шуток здесь кому-то.

Но если ты меж них,
Окликни ты Анютой.

Ты не стыдись меня,
Что вниз сползли обмотки,
Что, может, без ремня
И, может, без пилотки.

И я не попрекну
Тебя, что под конвоем
Идешь. И за войну
Живой, не стал героем.

Окликни — отзовусь.
Я здесь, твоя Анюта.
Я до тебя прорвусь,
Хоть вновь навек прощусь
С тобой. Моя минута!

Но как спросить сейчас,
Произнести хоть слово:
А нет ли здесь у вас,
В плену, его, Сивцова
Андрея?

Горек стыд.
Спроси, а он, пожалуй,
И мертвый не простит,
Что здесь его искала.

Но если здесь он, вдруг
Идет в колонне знойной,
Закрыв глаза...
— Цурюк!
Цурюк! — кричит конвойный.

Ему ни до чего
И дела нету, право,
И голос у него,
Как у ворон, картавый:

— Цурюк! —
Не молод он,
Устал, до черта жарко,
До черта обозлен,
Себя — и то не жалко...

Бредут ряды солдат
Угрюмой вереницей.
И бабы всем подряд
Заглядывают в лица.

Глазами поперек
И вдоль колонны ловят.
И с чем-то узелок,
Какой ни есть кусок
У многих наготове.

Не муж, не сын, не брат,
Прими, что есть, солдат,
Кивни, скажи что-либо,
Мол, тот гостинец свят
И дорог, мол. Спасибо.

Дала из добрых рук,
За все, что стало вдруг,
С солдата не спросила.
Спасибо, горький друг,
Спасибо, мать-Россия.

А сам, солдат, шагай
И на беду не сетуй:
Ей где-то есть же край,
Не может быть, что нету.

Пусть пахнет пыль золой,
Поля — горелым хлебом
И над родной землей
Висит чужое небо.

И жалкий плач ребят,
Не утихая, длится,
И бабы всем подряд
Заглядывают в лица...

Нет, мать, сестра, жена
И все, кто боль изведал,
Та боль не отмщена
И не прошла с победой.

За этот день один
В селе одном смоленском —
Не отплатил Берлин
Своим стыдом вселенским.

Окаменела память,
Крепка сама собой.

Да будет камнем камень,
Да будет болью боль.

ГЛАВА 6

Еще не та была пора,
Что входит прямо в зиму.
Еще с картошки кожура
Счищалась об корзину.

Но становилась холодна
Земля нагрева летнего.
И на ночь мокрая копна
Впускала неприветливо.

И у костра был сон — не сон.
Под робкий треск валежника
Теснила осень из лесов
Тех горьких дней ночлежника.

Манила памятью жилья,
Тепла, еды и прочего.
Кого в зятья,
Кого в мужья —
Куда придется прочила.

Внушала голосом молвы,
Дождем, погодой золкою,
Что из-под Ельни до Москвы
Идти — дорога долгая...

...В холодной пуне, у стены,
От лишних глаз украдкой,
Сидел отставший от войны
Солдат с женой-солдаткой.

В холодной пуне, не в дому,
Солдат, под стать чужому,
Хлебал, что вынесла ему
Жена тайком из дому.

Хлебал с усердьем горевым,
Забрав горшок в колени.
Жена сидела перед ним
На том остывшем сене,
Что в давний час воскресным днем,
По праздничному делу
В саду косил он под окном,
Когда война приспела.

Глядит хозяйка: он — не он
За гостя в этой пуне.
Недаром, видно, тяжкий сон
Ей снился накануне.

Худой, заросший, словно весь
Посыпанный золою.
Он ел, чтоб, может быть, заесть
Свой стыд и горе злое.

— Бельишка пару собери
Да свежие портянки,
Чтоб мне в порядке до зари
Сниматься со стоянки.

— Все собрала уже, дружок,
Все есть. А ты в дороге
Хотя б здоровье поберег,
И первым делом ноги.

— А что еще? Чудные вы,
С такой заботой, бабы.
Начнем-ка лучше с головы,—
Ее сберечь хотя бы.

И на лице солдата — тень
Усмешки незнакомой.
— Ах, я как вспомню: только день
Ты этот дома.

— Дома!
Я б тоже рад не день побыть,—
Вздохнул.— Прими посуду.
Спасибо. Дай теперь попить.
С войны вернусь,— побуду.

И сладко пьет, родной, большой,
Плечьми упершись в стену,
По бороде его чужой
Катятся капли в сено.

— Да, дома, правду говорят,
Что и вода сырая
Куда вкусней,— сказал солдат,
В раздумье утирая
Усы бахромкой рукава,
И помолчал с минуту.—
А слух такой, что и Москва
На очереди, будто...

Идти — не штука, был бы толк,—
Добавил он с заминкой
И так невесело примолк,
Губами сжав сенинку.

Жена подвинулась к нему
С участливой тревогой.
Мол, верить стоит не всему,
Болтают нынче много.
А немец, может, он теперь
К зиме остепенится...

А он опять:
— Ну, что же, верь
Тому, что нам годится.
Один хороший капитан
Со мной блуждал вначале.
Еще противник по пятам
За нами шел. Не спали,
Не ели мы тогда в пути.
Ну, смерть. Так он, бывало,
Твердил: идти, ползком ползти —
Хотя бы до Урала.
Так человек был духом зол
И ту идею помнил.

— И что же?
— Шел и не дошел.
— Отстал?
— От раны помер.
Болотом шли. А дождь, а ночь,
А тоже холод лютый.
— И не могли ничем помочь?
— И не могли, Анюта...

Лицом к плечу его припав,
К руке — девчонкой малой,
Она схватила за рукав
Его и все держала,
Как будто думала она
Сберечь его хоть силой,
С кем разлучить одна война
Могла, и разлучила.

И друг у друга отняла
В воскресный день июня.
И вновь ненадолго свела
Под крышей этой пуни.

И вот он рядом с ней сидит
Перед другой разлукой.
Не на нее ли он сердит
За этот стыд и муку?

Не ждет ли он, чтобы сама
Жена ему сказала:
— Сойти с ума — идти. Зима.
А сколько до Урала!

И повторяла бы:
— Пойми,
Кому винить солдата,
Что здесь жена его с детьми,
Что здесь — родная хата.
Смотри, пришел домой сосед
И не слезает с печи...

А он тогда сказал бы:
— Нет,
Жена, дурные речи...

Быть может, горький свой удел,
Как хлеб щепоткой соли,
Приправить, скрасить он хотел
Таким геройством, что ли?

А может, просто он устал,
Да так, что через силу
Еще к родным пришел местам,
А дальше — не хватило.

И только совесть не в ладу
С приманкой-думкой этой:
Я дома. Дальше не пойду
Искать войну по свету.

И неизвестно, что верней,
А к горю — в сердце смута.
— Скажи хоть что-нибудь, Андрей.
— Да что сказать, Анюта?
Ведь говори не говори,
А будет легче разве
Сниматься завтра до зари
И пробираться к Вязьме?
Никем не писанный маршрут
Распознавать на звездах.

Дойти до фронта — тяжкий труд,
Дойдешь, а там — не отдых.
Там день один, как год тяжел,
Что́ день, порой минута...
А тот — он шел и не дошел,
Но все идет как будто.
Ослабший, раненый идет,
Что в гроб кладутся краше.
Идет.
«Товарищи, вперед.
Дойдем. Настанет наше!
Дойдем, иному не бывать,
Своих достигнем линий.
И воевать — не миновать.
А отдыхать?
В Берлине!»
На каждом падая шагу
И поднимаясь снова,
Идет. А как же я могу
Отстать, живой, здоровый?
Мы с ним прошли десятки сел,
Где как, где смертным лазом.
И раз он шел, да не дошел,
Так я дойти обязан.
Дойти. Хоть я и рядовой,
Отстать никак не волен.
Еще добро бы он живой
А то он — павший воин.
Нельзя! Такие вот дела...—
И ей погладил руку.

А та давно уж поняла,
Что боль — не боль еще была,
Разлука — не разлука.

Что все равно — хоть наземь ляг,
Хоть вдруг лишись дыханья...
Прощалась прежде, да не так,
А вот когда прощанье!

Тихонько руку отняла
И мужние колени
С покорным плачем обняла
На том угретом сене...

И ночь прошла у них.
И вдруг
Сквозь кромку сна на зорьке,
Сквозь запах сена в душу звук
Вошел ей давний, горький:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой...

ГЛАВА 7

Все сборы в путь любой жены
И без войны не сладки.
И без войны тревог полны
Все сборы в жизни краткой.

Но речь одна, когда добром,—
Не по нужде суровой
Мы край на край и дом на дом
Иной сменить готовы.

Другая речь — в годину бед
Жене самой, без мужа,
Из дома выйти в белый свет
И дверь закрыть снаружи.

С детьми из теплого угла,
С гнезда родного сняться,
Где, может быть, еще могла
Ты весточки дождаться.

С котомкой выйти за порог —
И, всей той мукой мучась,
Брести...
Но если на восток,—
То как бы ни был путь жесток,—
Бывает горше участь.

Как на родной земле своей,
Так ты, и дом теряя,
Хоть под кустом, а все ж на ней —
В любом далеком крае.

А вот когда чужим судом
Обмен решен иначе,—
Не край на край, не дом на дом,
А плен —
На плен с придачей.

С какой придачей — погоди:
Расчеты эти впереди.

Еще он твой — последний час
В твоем дому, пока
Переведут тебе приказ
С чужого языка.

Но твой — он выбран не тобой —
Лежит на запад путь.
И взять ни имени с собой,
Ни отчества. Забудь.

Забудь себя еще живой
И номер получи.
И только этот номер свой
На память заучи.

И только можешь ты молчать,
Приказ в дорогу дан.
На нем недвижная печать
И подпись: комендант.

И в нем твой дом, и хлеб, и соль,
Что от немых властей.
И хоть самой — на снег босой,
Троих одеть успей.

Рукой дрожащею лови
Крючки, завязки, мать.
Нехитрой ложью норови
Ребячий страх унять.

Зови меньших живей, живей,
Как в гости, в тот поход.
И только старшенькой своей
Не лги — и так поймет.

И соберись, и уложись,
И в час беды такой
Еще хозяйкой окажись
Проворной и лихой.

И всю свою в дорогу кладь,
Как из огня, схвати.
И перед тем, как выйти, мать,
Не оглянись и не присядь,—
Нельзя.
И дом — прости!..

Прости-прощай, родимый дом,
Раскрытый, разоренный,
И пуня с давешним сенцом,
И садик занесенный.

Прости-прощай, родимый дом,
И двор, и дровосека,
И все, что памятно кругом
Заботой, замыслом, трудом,—
Всей жизнью человека.

Дом, где он жил среди хлопот
И всем хозяйством правил.
И, чтоб годам был виден счет,
Он надпись: тыща девятьсот
Такой-то год поставил.

Среди такой большой земли,
Родной, заветный угол,
Где эти девочки росли
И наряжали кукол.

И где как будто жизнь прошла,
Куда хозяйка дома
Как будто девочкой вошла
К парнишке молодому.

Где пел по веснам свой скворец
И жил, как все на свете,
Порядком вечным: мать, отец,
Потом скворчата-дети.

Пришла в родную сторону
Чужая злая сила.
И порознь мужа и жену
Из дома проводила.

И где-то, где-то он сейчас,
Какой идет дорогой,
Солдат, что воинскую часть
Свою искал с тревогой.

Теперь меж небом и землей,
Огнем вокруг объятой,
Она была его семьей,
Его родною хатой.

И человек среди людей,
Как хлебом и одеждой,
Он был обязан только ей
Своей мечтой-надеждой.

В пути, за тридевять земель,
У Волги ли, у Дона
Свою в виду держал он цель,
Солдат,— дойти до дома.

Хоть кружным, может быть, путем —
Дойдем, придем с победой
Домой!
А что уже тот дом —
Не все ты знал и ведал.

В тот первый день из горьких дней,
Как собрался в дорогу,
Велел отец беречь детей,
Смотреть за домом строго.

Велел сидеть в своем углу
В недобрую годину,
А сам жену в чужом тылу,
В глухом плену покинул.

Ну что ж, солдат, взыщи с нее,
С жены своей, солдатки,
За то, что, может быть, жилье
Родное не в порядке;

Что не могла глядеть назад,
Где дом пылал зажженный,
Как гнал ее чужой солдат
На станцию с колонной;

Что не могла она сберечь
В саду трехлеток-яблонь;
Что шла, покинув дом и печь,
А так детишки зябли!

Что шла, как пленные, в толпе
На запад под конвоем;
Что не отправила тебе
Письма с дороги, воин.

За все с того, кто виноват,
По всем статьям устава,
Взыщи со строгостью, солдат,
Твое, хозяин, право.

Всего и нужно для суда
И для сведенья счетов
Прийти с победою туда,
Проверить, как и что там.

Отдать поклон краям своим,
Припав к земле с винтовкой,
Сквозь смерть прийти туда живым,—
За малым остановка.

Сквозь смерть иди, не умирай,
В жару лица не утирай,
В снегах не мерзни в зиму.
Там, впереди, твой отчий край,
Солдат, твой дом родимый.

Шагай, солдат, свои права
Имея в этом мире,
Шагай, воюй и год, и два,
И три, и все четыре!..

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.

И каждый дом и каждый сад
В ряду — большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над темным лесом — алый.

Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье — не в забвенье!

ГЛАВА 8

Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме,—
Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.

Еще он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел —
И был уже под стражей.

Уже в числе всех прочих он
Был там, на всякий случай,
Стеной-забором огражден
И проволокой колючей.

И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.

Родился мальчик, брат меньшой
Троих детей крестьянки,
И подают его родной
В подаренной портянке.

И он к груди ее прирос —
Беда в придачу к бедам,
И вкус ее соленых слез
Он с молоком отведал.

И начал жить, пока живой,
Жилец тюрьмы с рожденья.
Чужое море за стеной
Ворочало каменья.

Свирепый ветер по ночам
Со свистом рвался в щели,
В худую крышу дождь стучал,
Как в полог колыбели.

И мать в кругу птенцов своих
Тепло, что с нею было,
Теперь уже не на троих,
На четверых делила.

В сыром тряпье лежала мать,
Своим дыханьем грея
Сынка, что думала назвать
Андреем — в честь Андрея,
Отцовским именем родным.

И в каторжные ночи
Не пела — думала над ним:
— Сынок, родной сыночек.

Зачем ты, горестный такой,
Слеза моя, росиночка,
На свет явился в час лихой,
Краса моя, кровиночка?

Зачем в такой недобрый срок
Зазеленела веточка?
Зачем случился ты, сынок,
Моя родная деточка?

Зачем ты тянешься к груди
Озябшими ручонками,
Не чуя горя впереди,
В тряпье сучишь ножонками?

Живым родился ты на свет,
А в мире зло несытое.
Живым — беда, а мертвым — нет,
У смерти под защитою.

Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:

— А я при чем,— скажи, сынок,—
А мне какое дело?

Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,
Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.

Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.

Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето.

И дела нету мне, что здесь
Шумит чужое море
И что на свете только есть
Большое, злое горе.

Я мал, я слаб, я свежесть дня
Твоею кожей чую,
Дай ветру дунуть на меня —
И руки развяжу я.

Но ты не дашь ему подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.

И пусть не лето, а зима,
И ветошь греет слабо,
Со мной ты выживешь сама,
Где выжить не могла бы.

И пусть ползет сырой туман
И ветер дует в щели,
Я буду жить, ведь я так мал,
Я теплюсь еле-еле.

Я мал, я слаб, я нем, и глуп,
И в мире беззащитен;
Но этот мир мне все же люб —
Затем, что я в нем житель.

Я сплю крючком, ни встать, ни сесть
Еще не в силах, пленник,
И не лежал раскрытый весь
Я на твоих коленях.

Я на полу не двигал стул,
Шагая вслед неловко,
Я одуванчику не сдул
Пушистую головку.

Я на крыльцо не выползал
Через порог упрямый,
И даже «мама» не сказал,
Чтоб ты слыхала, мама.

Но разве знает кто-нибудь,
Когда родятся дети,
Какой большой иль малый путь
Им предстоит на свете?

Быть может, счастьем был бы я
Твоим, твой горький, лишний,—
Ведь все большие сыновья
Из маленьких повышли.

Быть может, с ними белый свет
Меня поставит вровень.
А нет, родимая, ну, нет,—
Не я же в том виновен,

Что жить хочу, хочу отца
Признать, обнять на воле.
Ведь я же весь в него с лица —
За то и люб до боли.

Тебе приметы дороги,
Что никому не зримы.
Не дай меня, побереги...
— Не дам, не дам, родимый.

Не дам, не дам, уберегу
И заслоню собою,
Покуда чувствовать могу,
Что ты вот здесь, со мною.

...И мальчик жил, со всех сторон
В тюрьме на всякий случай
Стеной-забором огражден
И проволокой колючей.

И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.

И люди знали: мальчик им —
Ровня в беде недетской.
Он виноват, как все одним:
Что крови не немецкой.

И по утрам, слыхала мать,
Являлся Однорукий,
Кто жив, кто помер, проверять
По правилам науки.

Вдоль по бараку взад-вперед
С немецким табелем пройдет:
Кто умер — ставит галочку,
Кто жив — тому лишь палочку.

И ровным голосом своим,
Ни на кого не глядя,
Убрать покойников — живым
Велит порядка ради.

И мальчик жил. Должно быть, он
Недаром по природе
Был русской женщиной рожден,
Возросшей на свободе.

Должно быть, он среди больших
И маленьких в чужбине
Был по крови крепыш мужик,
Под стать отцу — мужчине.

Он жил да жил. И всем вокруг
Он был в судьбе кромешной
Ровня в беде, тюремный друг,
Был свой — страдалец здешний.

И чья-то добрая рука
В постель совала маме
У потайного камелька
В золе нагретый камень.

А чья-то добрая рука
В жестянке воду грела,
Чтоб мать для сына молока
В груди собрать сумела.

Старик поблизости лежал
В заветной телогрейке
И, умирая, завещал
Ее мальцу, Андрейке.

Из новоприбывших иной —
Гостинцем не погребуй —
Делился с пленною семьей
Последней крошкой хлеба.

И так, порой полумертвы,
У смерти на примете,
Все ж дотянули до травы
Живые мать и дети.

Прошел вдоль моря вешний гром
По хвойным перелескам.

И очутились всем двором
На хуторе немецком.

Хозяин был ни добр, ни зол,—
Ему убраться с полем.
А тут работницу нашел —
Везет за двух,— доволен.

Харчи к столу отвесил ей
По их немецкой норме,
А что касается детей,—
То он рабочих кормит.

А мать родную не учить,
Как на куски кусок делить,
Какой кусок ни скудный,
Какой дележ ни трудный.

И не в новинку день-деньской,
Не привыкать солдатке
Копать лопатою мужской
Да бабьей силой грядки.

Но хоть земля — везде земля,
А как-то по-другому
Чужие пахнут тополя
И прелая солома.

И хоть весна — везде весна,
А жутко вдруг и странно:
В Восточной Пруссии она
С детьми, Сивцова Анна.

Журчал по-своему ручей
В чужих полях нелюбых,
И солона казалась ей
Вода в бетонных трубах.

И на чужом большом дворе
Под кровлей черепичной
Петух, казалось, на заре
Горланит непривычно.

Но там, в чужбине, выждав срок,—
Где что — не разбирая,—
Малютка вылез за порог
Хозяйского сарая.

И дочка старшая в дому,
Кому меньшого нянчить,
Нашла в Германии ему
Пушистый одуванчик.

И слабый мальчик долго дул,
Дышал на ту головку.
И двигал ящик, точно стул,
В ходьбе ловя сноровку.

И, засмотревшись на дворе,
Едва не рухнул в яму.
И все пришло к своей поре,
Впервые молвил:
— Мама.

И мать зажмурилась от слез,
От счастья и от боли,
Что это слово пронзнес
Ее меньшой в неволе...

Покоса раннего пора
За дальними пределами
Пришла. Запахли клевера,
Ромашки, кашки белые.

И эта памятная смесь
Цветов поры любимой
Была для сердца точно весть
Со стороны родимой.

И этих запахов тоска
В тот чуждый край далекий
Как будто шла издалека —
Издалека с востока.

И мать с детьми могла тогда
Подчас поверить в чудо:
— Вот наш отец придет сюда
И нас возьмет отсюда.

Могло пригрезиться самой
В надежде и тревоге,
Как будто он спешит домой,
Да припоздал в дороге.

А на недальнем рубеже,
У той границы где-то,
Война в четвертое уже
Свое вступала лето.

И по дорогам фронтовым
Мы на дощечках сами
Себе самим,
Кто был живым,
Как заповедь писали:

Не пощади
Врага в бою,
Освободи
Семью
Свою.

ГЛАВА 9

Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студеной
Война стояла у ворот
Столицы осажденной.

И завершаю в год иной,
Когда от стен Берлина
Пришел солдат с войны домой
Своей дорогой длинной.

Чего, чего не повидал,
Казалось, все знакомо.
Но вот пришел, на взгорке стал —
И ни двора, ни дома.

И там, где канули в огне
Венцы, столбы, стропила,—
Темна, жирна по целине,
Как конопля, крапива.

Да груда глины с кирпичом,
Золою перебитая,
Едва видна на месте том,
Уже травой прошитая.

Глухой, нерадостный покой
Хозяина встречает.
Калеки-яблони с тоской
Гольем ветвей качают.

Глядит солдат: ну, ладно — дом,
А где жена, где дети?..

Да, много лучше о другом,
О добром петь на свете.

Но не минуешь горьких слез,
Которым срок не минул.
Не каждой матери пришлось
Обнять родного сына.

Не каждой женщине — жене,
Родной сестре, невесте —
О тех, что сгинули в войне,
В конце дождаться вести.

Ответ не каждому письму,—
Иное без ответа.
Привет не каждому тому,
Чье сердце ждет привета.

Но если та горька печаль,
Чье место свято в доме,
То, может, легче, да едва ль,
Печаль особой доли.

Печаль подвижника-бойца,
Что год за годом кряду
Войну исполнил до конца,
И вот тебе награда!

Присел на камушке солдат
У бывшего порога,
Больную с палочкою в ряд
Свою устроил ногу.

Давай солдат курить табак,
Сходиться люди стали,
Не из чего-нибудь, а так —
В свидетели печали.

Стоят над нею, опершись
На грабли, на мотыги.
Вздохнул один и молвил:
— Жизнь...—
Другой сказал:
— Как в книге...

А третьи только и могли
Добавить осторожно:
— Еще не все домой пришли
Из той дали острожной.

И отвести старались взгляд
Соседи в разговоре,
Чтоб не видать, как он, солдат,
Давясь, глотает горе.

Не мог он душу освежить
Тем трудным, скрытым плачем...
Все так.
А надо было жить.
И жить хозяин начал.

Погостевал денек-другой.
— Ну что ж, на том спасибо.—
И потянул с больной ногой
На старую селибу.

Перекурил, шинель долой,
Разметил план лопатой.
Коль ждать жену с детьми домой,
Так надо строить хату.

А где боец за столько лет
Себе жилья не строил!
Не только там, где лесу нет,
А нет земли порою.

Где нет земли, один песок.
А то, как камень, грунт жесток,
А то — болото. Мука!
А на земле — не штука.

Так-сяк, колхоз
Леску подвез,
Помог до крыши сруба.
А дальше сам
Мостил, тесал,—
Займись — оно и любо.

И все спешил покончить в срок,
Как будто в хате новой
Скорей солдат увидеть мог
Семью живой-здоровой.

К покосу был окончен дом,
Как раз к поре горячей.
А сам солдат ютился в нем
Со дня, как строить начал.

На свежеструганом полу,
Что облекал прохладой,
Он отдыхал в своем углу
С великою отрадой.

Да что! У смерти на краю
На каждом новоселье
И то любитель был свою
Обжить, устроить келью.

Не знаешь, год иль день там быть,
А все же и в землянке
Охота гвоздь какой-то вбить,
Зажечь фитиль в жестянке.

Водой, дровами запастись,
Соломой побогаче.
А там — приказ. И в ночь снялись,
И с тем жильем навек простись! —
А жить нельзя иначе.

Соорудил хозяин стол,
Лежанку возле печи.
И все в порядок произвел
Желанной ради встречи.

Гадал, старался что к чему
Приладить, вспомнить кстати...

И так тоскливо самому
Вдруг стало в этой хате.
Такая горькая нашла
Душе его минута.

— Зачем не ты меня ждала,
А я тебя, Анюта?

И не мила, не дорога
Ему своя светлица...
Пошел солдат с людьми в луга,
Чтоб на людях забыться.

«Дом у дороги»

Чтоб горе делом занялось,
Солдат вставал с рассвета
И шире, шире гнал прокос —
За все четыре лета.

Вслед за косой качал солдат
Спиной, от пота серой.
И точно время на свой лад,
Своею мерил мерой.

И добрым ладом шли часы,
И грудь дышала жадно
Цветочным запахом росы,
Живой травы из-под косы —
Горькавой и прохладной.

И сладкий пек июльский зной,
Как в годы молодые,
Когда еще солдат с женой
Ходил в луга впервые.

В луга верст за пять от села.
И пот кипел на коже,
И точно сила, как была,—
Не та, не та, а все же!..

И косу вытерши травой
На остановке краткой,
Он точно голос слушал свой,
Когда звенел лопаткой.

И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нес с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

1942—1946

ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ

Пора! Ударил отправленье
Вокзал, огнями залитой,
И жизнь, что прожита с рожденья,
Уже как будто за чертой.

Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А между тем дороги этой
За столько лет не совершил;

Хотя своей считал дорогой
И про себя ее берег,
Как книгу, что прочесть до срока
Все собирался и не мог.

Мешало многое другое,
Что нынче в памяти у всех.
Мне нужен был запас покоя,
Чтоб ей отдаться без помех.

Но книги первую страницу
Я открываю в срок такой,
Когда покой, как говорится,
Опять уходит на покой...

Я еду. Малый дом со мною,
Что каждый в путь с собой берет.
А мир огромный за стеною,
Как за бортом вода, ревет.

Он над моей поет постелью
И по стеклу сечет крупой,
Дурной, безвременной метелью
Свистит и воет вразнобой.

Он полон сдавленной тревоги,
Беды, что очереди ждет.
Он здесь еще слышней, в дороге,
Лежащей прямо на восход...

Я еду. Спать бы на здоровье,
Но мне покамест не до сна:
Еще огнями Подмосковья
Снаружи ночь озарена.

Еще мне хватит этой полки,
Еще московских суток жаль.
Еще такая даль до Волги,
А там-то и начнется даль —
За той великой водной гранью.

И эта лестница из шпал,
Пройдя Заволжье,
Предуралье,
Взойдет отлого на Урал.
Урал, чьей выработки сталью
Звенит под нами магистраль.

А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.

А там Байкал, за тою далью,—
В полсуток обогнуть едва ль,—
А за Байкалом —
Забайкалье.

А там еще другая даль,
Что обернется далью новой.

А та, неведомая мне,
Еще с иной, большой, суровой,
Сомкнется и пройдет в окне...

А той порой, отменно точный,
Всего пути исполнив срок,
Придет состав дальневосточный
На Дальний, собственно, Восток,
Где перед станцией последней,
У пограничного столба,
Сдается мне, с земли соседней
Глухая слышится пальба...

Но я еще с Москвою вместе,
Еще во времени одном.

И, точно дома перед сном,
Ее последних жду известий;
Она свой голос подает
И мне в моей дороге дальней.

А там из-за моря восход
Встает, как зарево, печальный.

И день войны, нещадный день,
Вступает в горы и долины,
Где городов и деревень
Дымятся вновь и вновь руины.

И длится вновь бессонный труд,
Страда защитников Кореи.
С утра усталые ревут
Береговые батареи...

Идут бои, горит земля.
Не нов, не нов жестокий опыт:
Он в эти горы и поля
Перенесен от стен Европы.

И вы, что горе привезли
На этот берег возрожденный,
От вашей собственной земли
Всем океаном отдаленный,—
Хоть в цвет иной рядитесь вы,
Но ошибется мир едва ли:
Мы вас встречали у Москвы
И до Берлина провожали...

Народ — подвижник и герой —
Оружье зла оружьем встретил.
За грех войны — карал войной,
За смерть — печатью смерти метил.

В борьбе исполнен новых сил,
Он в годы грозных испытаний
Восток и Запад пробудил —
И вот —
Полмира в нашем стане!

Что ж, или тот урок забыт
И вновь, под новым только флагом,
Живой душе война грозит,
Идет на мир знакомым шагом?

И, чуждый жизни, этот шаг,
Врываясь в речь ночных известий,
У человечества в ушах
Стоит, как явь и как предвестье.

С ним не забыться, не уснуть,
С ним не обвыкнуть и не сжиться.
Он — как земля во рву на грудь
Зарытым заживо ложится...

Дорога дальняя моя,
Окрестный мир страны обширной,
Родные русские поля,
В ночи мерцающие мирно,—

Не вам ли памятны года,
Когда по этой магистрали
Во тьме оттуда и туда
Составы без огней бежали;

Когда тянулись в глубь страны
По этой насыпи и рельсам
Заводы — беженцы войны —
И с ними люди — погорельцы;

Когда, стволы зениток ввысь
Подняв над «улицей зеленой»,
Безостановочно неслись
Туда, на запад, эшелоны.

И только, может, мельком взгляд
Тоски немой и бесконечной
Из роты маршевой солдат
Кидал на санитарный встречный...

Та память вынесенных мук
Жива, притихшая, в народе,
Как рана, что нет-нет — и вдруг
Заговорит к дурной погоде.

Но, люди, счастье наше в том,
Что счастья мы хотим упорно,
Что на века свой строим дом,
Свой мир живой и рукотворный.

Он всех людских надежд оплот,
Он всем людским сердцам доступен.
Его ли смерти мы уступим?..

На Спасской башне полночь бьет...

В ДОРОГЕ

Лиха беда — пути начало,
Запев дается тяжело,
А там, глядишь: пошло, пожалуй?
Строка к строке — ну да, пошло.

Да как пошло!
Сама дорога,—
Ты только душу ей отдай,—
Твоя надежная подмога,
Тебе несет за далью — даль.

Перо поспешно по бумаге
Ведет, и весело тебе:
Взялся огонь, и доброй тяги
Играет музыка в трубе.

И счастья верные приметы:
Озноб, тревожный сердца стук,
И сладким жаром лоб согретый,
И дрожь до дела жадных рук...

Когда в безвестности до срока,
Не на виду еще, поэт
Творит свой подвиг одиноко,
Заветный свой хранит секрет;

Готовит людям свой подарок,
В тиши затеянный давно,—
Он может быть больным и старым,
Усталым — счастлив все равно.

И даже пусть найдет морока —
Нелепый толк, обидный суд,
Когда бранить его жестоко
На первом выходе начнут,—

Он слышит это и не слышит
В заботах нового труда,
Тем часом он — поэт, он пишет,
Он занимает города.

И все при нем в том добром часе:
Его Варшава и Берлин,
И слава, что еще в запасе,
И он на свете не один.

И пусть за критиками следом
В тот гордый мир войдет жена,
Коснувшись, к слову, за обедом
Вопросов хлеба и пшена,—
Все эти беды —
К малым бедам,
Одна беда ему страшна.

Она придет в иную пору,
Когда он некий перевал
Преодолел, взошел на гору
И отовсюду виден стал.

Когда он всеми шумно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики намечен,
Почти уже увековечен,
И хвать писать —
Пропал запал!

Пропал запал.
По всем приметам
Твой горький день вступил в права.
Все — звоном, запахом и цветом —
Нехороши тебе слова;
Недостоверны мысли, чувства,
Ты строго взвесил их — не те́...
И все вокруг мертво и пусто,
И тошно в этой пустоте.

Да, дело будто бы за малым,
А хвать-похвать — и ни рожна.
И здесь беда, что впрямь страшна,
Здесь худо быть больным, усталым,
Здесь горько молодость нужна!

Чтоб не смириться виновато,
Не быть у прошлого в долгу,
Не говорить: я мог когда-то,
А вот уж больше не могу.

Но верным прежней быть гордыне,
Когда ты щедрый, не скупой,
И все, что сделано доныне,
Считаешь только черновой;

Когда, заминкой не встревожен,
Еще беспечен ты и смел,
Еще не думал, что положен
Тебе хоть где-нибудь предел;

Когда — покамест суд да справа —
Богат, широк — полна душа —
Ты водку пьешь еще для славы,—
Не потому, что хороша.

И врешь еще для интересу,
Что нету сна,
И жизнь сложна...

Ах, как ты горько, до зарезу,
Попозже, молодость, нужна!

Пришла беда — и вроде не с кем
Делиться этою бедой.
А время жмет на все железки,
И не проси его:
— Постой!

Повремени, крутое время,
Дай осмотреться, что к чему.
Дай мне в пути поспеть со всеми,
А то, мол, тяжко одному...

И знай, поэт, ты нынче вроде
Как тот солдат, что от полка
Отстал случайно на походе.
И сушит рот ему тоска.

Бредет обочиной дороги.
Туда ли, нет — не знает сам,
И счет в отчаянной тревоге
Ведет потерянным часам.

Один в пути — какой он житель!
Догнать, явиться: виноват,
Отстал, взыщите, накажите...
А как наказан, так — солдат!
Так свой опять — и дело свято.
Хоть потерпел, зато учен.
А что еще там ждет солдата,
То все на свете нипочем...

Изведав горькую тревогу,
В беде уверившись вполне,
Я в эту бросился дорогу,
Я знал, она поможет мне.

Иль не меня четыре года,
Покамест шла войны страда,
Трепала всякая погода,
Мотала всякая езда.
И был мне тот режим не вреден,
Я жил со всеми наравне.

Давай-ка, брат, давай поедем:
Не только свету, что в окне.
Скорее вон из кельи тесной,
И все не так, и ты хорош,—
Самообман давно известный,
Давно испытанный, а все ж —
Пусть трезвый опыт не перечит,
Что нам дорога — лучший быт.
Она трясет и бьет,
А — лечит.
И старит нас,
А — молодит.

Понять ли доброму соседу,
Что подо мной внизу в купе,
Как сладко мне слова: «Я еду,
Я еду»,— повторять себе.

И сколько есть в дороге станций,
Наверно б, я на каждой мог
Сойти с вещами и остаться
На некий неизвестный срок.

Я рад любому месту в мире,
Как новожил московский тот,
Что счастлив жить в любой квартире,
Какую бог ему пошлет.

Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где нынче нет меня,
Я ощущаю, как потерю
Из жизни выбывшего дня.

Я сердце по свету рассеять
Готов. Везде хочу поспеть.
Нужны мне разом

Юг и север,
Восток и запад,
Лес и степь;

Моря и каменные горы,
И вольный плес равнинных рек.
И мой родной далекий город,
И тот, где не был я вовек;

И те края, куда я еду,
И те места, куда — нет-нет —
По зарастающему следу
Уводит память давних лет...

Есть два разряда путешествий:
Один — пускаться с места вдаль;
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот — мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне.

Помимо прочего, при этом
Я полон радости побыть
С самим собою, с белым светом,
Что в жизни вспомнить, что забыть...

Но знай, читатель, эти строки,
С отрадой лежа на боку,
Сложил я, будучи в дороге,
От службы как бы в отпуску,
Подальше как бы от начальства.

И если доброй ты души,
Ты на меня не ополчайся
И суд свой править не спеши.

Не метусись, как критик вздорный,
По пустякам не трать огня.
И не ищи во мне упорно
Того, что знаешь без меня...

Повремени вскрывать причины
С угрюмой важностью лица.

Прочти хотя б до половины,
Авось — прочтешь и до конца.

СЕМЬ ТЫСЯЧ РЕК

Еще сквозь сон на верхней полке
Расслышал я под стук колес,
Как слово первое о Волге
Негромко кто-то произнес.

Встаю — вагон с рассвета в сборе,
Теснясь у каждого окна,
Уже толпится в коридоре,—
Уже вблизи была она.

И пыл волненья необычный
Всех сразу сблизил меж собой,
Как перед аркой пограничной
Иль в первый раз перед Москвой...

И мы стоим с майором в паре,
Припав к стеклу, плечо в плечо,
С кем ночь в купе одном проспали
И не знакомились еще.

Стоим и жадно курим оба,
Полны взаимного добра,
Как будто мы друзья до гроба
Иль вместе выпили с утра.

И уступить спешим друг другу
Мы лучший краешек окна.
И вот мою он тронул руку
И словно выдохнул:
— Она!

— Она! —
И тихо засмеялся,
Как будто Волгу он, сосед,

Мне обещал, а сам боялся,
Что вдруг ее на месте нет.

— Она! —
И справа, недалеко,
Моста не видя впереди,
Мы видим плес ее широкий
В разрыве поля на пути.

Казалось, поезд этот с ходу —
Уже спасенья не проси —
Взлетит, внизу оставив воду,
Убрав колеса, как шасси.

Но нет, смиренно ход убавив
У будки крохотной поста,
Втянулся он, как подобает,
В тоннель решетчатый моста

И загремел над ширью плеса,
Покамест сотни звонких шпал,
Поспешно легших под колеса,
Все до одной не перебрал...

И не успеть вглядеться толком,
А вот уже ушла из глаз
И позади осталась Волга,
В пути не покидая нас;

Не уступая добровольно
Раздумий наших и речей
Ничьей иной красе окольной
И даже памяти ничьей.

Ни этой дали, этой шири,
Что новый край за ней простер.
Ни дерзкой славе рек Сибири,
Коль их касался разговор.

Ни заграницам отдаленным,
Ни любопытной старине,
Ни городам, вчера рожденным,
Как будто взятым на войне.

Ни новым замыслам ученым,
Ни самым, может быть, твоим
Воспоминаньям береженым,
Местам, делам и дням иным...

Должно быть, той влекущей силой,
Что люди знали с давних лет,
Она сердца к себе манила,
Звала их за собою вслед.

Туда, где нынешнею славой
Не смущена еще ничуть,
Она привычно, величаво
Свой древний совершала путь...

Семь тысяч рек,
Ни в чем не равных:
И с гор стремящих бурный бег,
И меж полей в изгибах плавных
Текущих вдаль — семь тысяч рек
Она со всех концов собрала —
Больших и малых — до одной,
Что от Валдая до Урала
Избороздили шар земной.

И в том родстве переплетенном,
Одной причастные семье,
Как будто древом разветвленным
Расположились по земле.

Пусть воды их в ее теченье
Неразличимы, как одна.
Краев несчетных отраженье
Уносит волжская волна.

В нее смотрелось пол-России:
Равнины, горы и леса,
Сады и парки городские,
И вся наземная краса —
Кремлевских стен державный гребень,
Соборов главы и кресты,
Ракиты старых сельских гребель,
Многопролетные мосты,

Заводы, вышки буровые,
Деревни с пригородом смесь,
И школьный дом, где ты впервые
Узнал, что в мире Волга есть...

Вот почему нельзя не верить,
Любуясь этою волной,
Что сводит Волга — берег в берег —
Восток и Запад над собой;
Что оба края воедино
Над нею сблизились навек;
Что Волга — это середина
Земли родной.
Семь тысяч рек!

В степи к назначенному сроку,
Извечный свой нарушив ход,
Она пришла донской дорогой
В бескрайний плес всемирных вод.

Ее стремленью уступила
Водораздельная гора.
И стало явью то, что было
Мечтой еще царя Петра;
Наметкой смутной поколений,
Нуждой, что меж несчетных дел
И нужд иных великий Ленин
Уже тогда в виду имел...

Пусть в океанском том смешенье
Ее волна растворена.
Земли родимой отраженье
Уже и там несет она.

Пусть реки есть, каким дорога
Сама собой туда дана
И в мире слава их полна;
Пусть реки есть мощней намного —
Но Волга-матушка одна!

И званье матушки носила
В пути своем не век, не два —
На то особые права —

Она,
Да матушка-Россия,
Да с ними матушка-Москва.

...Сидим в купе с майором рядом,
Как будто взяли перевал.

Он, мой сосед, под Сталинградом
За эту Волгу воевал.

ДВЕ КУЗНИЦЫ

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.

И отсвет жара горнового
Под закопченным потолком,
И свежесть пола земляного,
И запах дыма с деготьком —
Привычны мне с тех пор, пожалуй,
Как там, взойдя к отцу в обед,
Мать на руках меня держала,
Когда ей было двадцать лет...

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он
Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне
В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне.

Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути;
Где мог бы все свое железо
Мужик под мышкой унести;
Где был заказчик — гость случайный,
Кто к кузнецу раз в десять лет
Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет.

И этот голос наковальни,
Да скрип мехов, да шум огня
С далекой той поры начальной
В ушах не молкнет у меня.

Не молкнет память жизни бедной,
Обидной, горькой и глухой,
Пускай исчезнувшей бесследно,
С отцом ушедшей на покой.

И пусть она не повторится,
Но я с нее свой начал путь,
Я и добром, как говорится,
Ее обязан помянуть.

За все ребячьи впечатленья,
Что в зрелый век с собой принес;
За эту кузницу под тенью
Дымком обкуренных берез.

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.

И с топором отхожим плотник,
И старый воин — грудь в крестах,
И местный мученик-охотник
С ружьишком ветхим на гвоздях,
И землемер, и дьякон медный,
И в блестках сбруи коновал,
И скупщик лиха Ицка бедный,—
И кто там только не бывал!

Там был приют суждений ярых
О недалекой старине,
О прежних выдумщиках-барах,
Об ихней пище и вине;
О заграннце и России,
О хлебных сказочных краях,
О боге, о нечистой силе,
О полководцах и царях;

О нуждах мира волостного,
Затменьях солнца и луны,
О наставленьях Льва Толстого
И притесненьях от казны...

Там человеческой природе
Отрада редкая была —
Побыть в охоту на народе,
Забыть, что жизнь невесела.

Сиди, пристроившись в прохладе,
Чужой махоркою дыми,
Кряхти, вздыхай — не скуки ради,
А за компанию с людьми.
И словно всяк — хозяин-барин,
И ни к чему спешить домой...

Но я особо благодарен
Тем дням за ранний навык мой.
За то, что там ребенком малым
Познал, какие чудеса
Творит союз огня с металлом
В согласье с волей кузнеца.

Я видел в яви это диво,
Как у него под молотком
Рождалось все, чем пашут ниву,
Корчуют лес и рубят дом.

Я им гордился бесконечно,
Я знал уже, что мастер мог
Тем молотком своим кузнечным
Сковать такой же молоток.

Я знал не только понаслышке,
Что труд его в большой чести,
Что без железной кочедыжки
И лаптя даже не сплести.

Мне с той поры в привычку стали
Дутья тугой, бодрящий рев,
Тревожный свет кипящей стали
И под ударом взрыв паров.

И садкий бой кувалды древней,
Что с горделивою тоской
Звенела там, в глуши деревни,
Как отзвук славы заводской.

...Полжизни с лишком миновало,
И дался случай мне судьбой
Кувалду главную Урала
В работе видеть боевой.

И хоть волною грозной жара
Я был далеко отстранен,
Земля отчетливо дрожала
Под той кувалдой в тыщи тонн.

Казалось, с каждого удара
У всех под пятками она
С угрюмым стоном припадала,
До скальных недр потрясена...

И пусть тем грохотом вселенским
Я был вначале оглушен,
Своей кувалды деревенской
Я в нем родной расслышал звон.

Я запах, издавна знакомый,
Огня с окалиной вдыхал,
Я был в той кузнице, как дома.
Хоть знал,
Что это был Урал.

Урал!
Завет веков и вместе —
Предвестье будущих времен,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он —
Урал!

Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Когда на запад эшелоны,
На край пылающей земли
Тот груз, до срока зачехленный,
Стволов и гусениц везли,—
Тогда, бывало, поголовно
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом нежности сыновней
Два слова:
— Батюшка-Урал...

Когда, добром его груженный,
На встречной скорости состав,
Как сквозь тоннель гремит бетонный,
С прогибом рельсов даль прорвав,—
Не диво мне, что люд вагонный,
Среди своих забот, забав,
Невольно связь речей теряя,
На миг как будто шапку снял,
Примолкнет, сердцем повторяя
Два слова:
— Батюшка-Урал...

Урал!
Я нынче еду мимо,
И что-то сжалося в груди:
Тебя, как будто край родимый,
Я оставляю позади.

Но сколько раз в дороге дальней
Я повторю — как лег, как встал,—
И все теплей и благодарней
Два слова:
— Батюшка-Урал...

Урал!
Невольною печалью
Я отдаю прощанью дань...

А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.

ДВЕ ДАЛИ

Иная даль, иная зона,
И не гранит под полотном —
Глухая мякоть чернозема
И степь без края за окном.

И на ее равнине плоской —
Где малой рощицей, где врозь —
Старообразные березки
Белеют — голые, как кость.

Идут, сквозные, негустые,
Вдоль горизонта зеленя
Да травы изжелта-седые,
Под ветром ждущие огня.

И час за часом край все шире,
Уже он день и два в окне,
Уже мы едем в той стране,
Где говорят:
— У нас, в Сибири...

Сибирь!
Не что-то там в дали,
Во мгле моей дороги длинной,
Не бог весть где, не край земли,
А край такой же серединный,

Как на Урале был Урал,
А там — Поволжье, Подмосковье,
И все, что ты уже терял
За неустанной встречной новью.

И ненасытная мечта
В пути находит неизменно:
Две дали разом — та и та —
Влекут к себе одновременно...

Стожок подщипанный сенца,
Колодец, будка путевая.
И в оба от нее конца
Уходят, землю обвивая,

Две эти дали, как одна.
И обе вдруг душе предстали.
И до краев душа полна
Теплом восторга и печали...

Опять рассвет вступил в окно —
Ему все ближе путь с востока,
А тот стожок давным-давно
Уже на западе далеко.

И словно год назад прошли
Уральской выемки откосы,
Где громоздились из земли
Пласты породы, как торосы.

И позади, вдали места,
Что так же шли в окне вагона.
И Волга — с волжского моста,
И все за нею перегоны.

Столичный пригород, огни,
Что этот поезд провожали,
И те, что в этот час в тени
Или в лучах закатных дали...

С дороги — через всю страну —
Я вижу отчий край смоленский
И вспомнить вновь не премину
Мой первый город деревенский.

Он славой с древности гремел,
Но для меня в ребячью пору
Названья даже не имел —
Он был один, был просто *город*.

И, как тогда я ни был мал,
Я не забыл и не забуду
Тот запах, что в избу вступал
С отцом, приехавшим оттуда.

Как будто с поскрипом сеней,
С морозным облаком надворья,
В былинках сена из саней
Сам город прибывал в Загорье,

Нездешний, редкий, привозной,
Тревожно-праздничный и пряный,
То запах жизни был иной —
Такой немыслимой и странной.

Он долго жил для нас во всем:
В гостинце каждом и покупке,
В нагольном старом полушубке,
Что побыл в городе с отцом...

Волненью давнему парнишки
Доступна полностью душа,
Как вспомню запах первой книжки
И самый вкус карандаша...

Всем, чем к земле родной привязан,
Чем каждый день и час дышу,
Я, как бы ни было, обязан
Той книжке и карандашу;
Тому ребячьему смятенью,
С каким касался их рукой
И приступал к письму и чтенью —
Науке первой городской.

И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал!

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы.
И счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.

Мы все — почти что поголовно —
Оттуда люди, от земли,
И дальше деда родословной
Не знаем: предки не вели,
Не беспокоились о древе,
Рождались, жили в свой черед,
Хоть род и мой — он так же древен,
Как, скажем, твой, читатель, род...

Читатель!
Друг из самых лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой,
Все кряду слушать мастер дивный,
Неприхотливый, безунывный.
(Не то что слушатель иной,
Что нам встречается в натуре:
То у него сонливый вид,
То он свистит, глаза прищуря,
То сам прорваться норовит.)
Пусть ты меня уже оставил,
Загнув странички уголок,
Зевнул — хоть это против правил —
И даже пусть на некий срок
Вздремнул ты, лежа или сидя,
Устав от множества стихов,
Того не зная и не видя,
Я на тебя и не в обиде:
Я сам, по слабости, таков.

Меня, опять же, не убудет,
Коль скажешь ты иль кто другой:
Не многовато ль, дескать, будет
Подряд материи такой,
Как отступленья, восклицанья
Да оговорок этих тьма?
Не стать ли им чрезмерной данью
Заветам старого письма?

Я повторю великодушно:
Не хлопочи о том, дружок,—
Читай, пока не станет скучно,
А там — бросай.
И я — молчок.

Тебя я тотчас покидаю,
Поникнув скромно головой.
Я не о том совсем мечтаю,
Чтоб был читатель волевой,
Что, не страшась печатной тины,
Вплоть до конца несет свой крест
И в силу самодисциплины
Что преподносят, то и ест.

Нет, мне читатель слабовольный,
Нестойкий, пуганый милей:
Уж если вник,— с меня довольно,
Горжусь победою моей,
Волнуясь, руки потираю:
Ты — мой.
И холод по спине:
А вдруг такого потеряю?
Тогда конец и горе мне.

Тогда забьюсь в куток под лавкой
И затаю свою беду.
А нет — на должность с твердой ставкой
В Союз писателей пойду...

Продолжим, стало быть, беседу.
Для одного тебя, учти,
Я с юных дней иду и еду
И столько лет уже в пути.
И все одна командировка,—
Она мне слишком дорога...

Но что там — вроде остановка?
— Какая станция?
— Тайга.

Состав стоит, пробег немалый
В пути оставив за хвостом.
И от уставшего металла
Внизу течет звенящий стон.

Снаружи говор оживленный,
В огне перрон, как днем светло.
Опять за стенкою вагонной
Полтыщи верст в ночи прошло.

Прошли мосты, мелькнули реки,
Минули целые края,
Которых, может быть, вовеки
Вот так и не увижу я,
И что за земли — знать не буду —
Во сне ушли из-под колес...

А тут еще весны причуды,—
Не вспять ли время подалось?

Как будто мы в таежный пояс
Вошли за станцией Тайгой.
Теплом полей обдутый поезд
Как будто взял маршрут другой.

Как будто вдруг сменился климат:
Зима — и все вокруг бело.
Сухой пурги дремотным дымом
Костлявый лес заволокло...

Но с путевой надежной сталью
Смыкая туго сталь колес,
Спешит состав за новой далью.
Гребет пространство паровоз.

И разрывает мир единый,
Что отступает с двух сторон,
На две большие половины,
На юг и север вдоль окон.

Сквозь муть пурги еще невнятно
Вступает новый край в права.
А где-то там, в дали обратной,—
Урал, и Волга, и Москва,
Смоленск, мосты и переправы
Днепра, Березины, Двины,
Весь запад — до границ державы
И дальше — по следам войны,
По рубежам ее остывшим,
По блиндажам ее оплывшим,
По стольким памятным местам...

Я здесь, в пути, но я и там —
И в той дороге незабвенной,
У тех, у дорогих могил,
Где мой герой поры военной
С войсками фронта проходил.

Хоть та пора все дале, дале,
Все больше верст, все больше дней.
Хоть свет иной, желанной дали
В окне вагона все видней.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР

А скажем прямо, что не шутки —
Уже одно житье-бытье,
Когда в дороге третьи сутки —
Еще едва ли треть ее.

Когда в пути почти полмира,
Через огромные края
Пройдет вагон — твоя квартира,
Твой дом и улица твоя...

В такой дороге крайне дорог
Особый лад на этот срок,
Чтоб все тебе пришлося впору,
Как добрый по ноге сапог.

И время года, и погода,
И звук привычного гудка,
И даже радио в охоту,
И самовар проводника...

С людьми в дороге надо сжиться,
Чтоб стали, как свои, тебе
Впервые встреченные лица
Твоих соседей по купе.

Как мой майор, седой и тучный,
С краснотцей жесткой бритых щек,
Иль этот старичок научный,
Сквозной, как молодой сморчок.

И чтоб в привычку стали вскоре,
Как с давних пор заведено,
Полузнакомства в коридоре,
Где на двоих-троих окно;

Где моряка хрустящий китель
В соседстве с мягким пиджаком,
Где областной руководитель —
Не в кабинете со звонком;

Где в орденах старик кудрявый
Таит в улыбке торжество
Своей, быть может, громкой славы,
Безвестной спутникам его;

Где дама строгая в пижаме
Загромоздит порой проход,
Смущая щеголя с усами,
Что не растут такие сами
Без долгих, вдумчивых забот;

Где все — как все: горняк, охотник,
Путеец, врач солидных лет
И лысый творческий работник,
С утра освоивший буфет.

Все сведены дорожной далью:
И тот, и та, и я, и вы,
И даже — к счету — поп с медалью
Восьмисотлетия Москвы...

И только держатся особо,
Друг другом заняты вполне —
Выпускники, наверно, оба,—
Молодожены в стороне.

Рука с рукой — по-детски мило —
Они у крайнего окна
Стоят посередине мира —
Он и она,
Муж и жена.

Своя безмолвная беседа
У этой новенькой четы.
На край земли, быть может, едут,
А может, только до Читы.

Ну, до какой-нибудь Могочи,
Что за Читою невдали.
А может, путь того короче.
А что такое край земли?

Тот край и есть такое место,
Как раз такая сторона,
Куда извечно,
Как известно,
Была любовь устремлена.

Ей лучше знать, что все едино,
Что место, где ни загадай,
Оно — и край, и середина,
И наша близь, и наша даль.

А что ей в мире все напасти,
Когда при ней ее запас!
А что такое в жизни счастье?
Вот это самое как раз —
Их двое, близко ли, далеко,
В любую часть земли родной,
С надеждой ясной и высокой
Держащих путь — рука с рукой...

Нет, хорошо в дороге долгой
В купе освоить уголок
С окошком, столиком и полкой
И ехать, лежа поперек
Дороги той.

И ты не прежний,
Не тот, чем звался, знался, жил,
А безымянный, безмятежный,
Спокойный, дальний пассажир.

И нет на лбу иного знака,
Дымишь, как всякий табакур.
Отрада полная.
Однако
Не обольщайся чересчур...

Хоть не в твоей совсем натуре
Трибуной тешиться в пути,
Но эту дань литературе
И здесь приходится нести.

Провинциальный ли, столичный —
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт;
Заполнить устную анкету
И на досуге, без помех
Призвать, как принято, к ответу
Не одного тебя, а всех.

Того-то вы не отразили,
Того-то не дали опять.
А сколько вас в одной России?
Наверно, будет тысяч пять?

Мол, дело, собственно, не в счете.
Но мимо вас проходит жизнь,
А вы, должно быть, водку пьете,
По кабинетам запершись.

На стройку вас, в колхозы срочно,
Оторвались, в себя ушли...

И ты киваешь:
— Точно, точно,
Не отразили, не учли...

Но вот другой:
— Ах, что там — стройка,
Завод, колхоз! Не в этом суть.
Бывает, их наедет столько,
Творцов, певцов.
А толку — чуть.

Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат,
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том.

Глядишь, роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед;
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...

И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом — вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть.

Да неужели
В самом деле
Тоска такая все кругом —
Все наши дни, труды, идеи
И завтра нашего закон?

Нет, как хотите, добровольно
Не соглашусь, не уступлю.
Мне в жизни радостно и больно,
Я верю, мучаюсь, люблю.

Я счастлив жить, служить отчизне,
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.

Кончаю книгу в раздраженье.
С души воротит: где же край?
А края нет. Есть продолженье.
Нет, братец, хватит. Совесть знай.

И ты киваешь:
— Верно, верно,
Понятно, критика права...

Но ты их слышать рад безмерно —
Все эти горькие слова.

За их судом и шуткой грубой
Ты различаешь без труда
Одно, что дорого и любо
Душе, мечте твоей всегда,—
Желанье той счастливой встречи
С тобой иль с кем-нибудь иным,
Где жар живой, правдивой речи,
А не вранья холодный дым;
Где все твое незаменимо,
И есть за что тебя любить,
И ты тот самый, тот любимый,
Каким еще ты можешь быть.

И ради той любви бесценной,
Забыв о горечи годов,
Готов трудиться ты и денно
И нощно —
Душу сжечь готов.

Готов на все суды и толки
Махнуть рукой. Все в этом долге,
Все в этой доблести. А там...

Вдруг новый голос с верхней полки:
— Не выйдет...
— То есть как?
— Не дам...

Не то чтоб это окрик зычный,
Нет, но особый жесткий тон,
С каким начальники обычно
Отказ роняют в телефон.

— Не выйдет,— протянул вторично.
— Но кто вы там, над головой?
— Ты это знаешь сам отлично...
— А все же?
— Я — редактор твой.

И с полки голову со смехом
Мой третий свесил вдруг сосед:
— Ты думал что? Что ты уехал
И от меня? Нет, милый, нет.

«За далью — даль»

Мы и в пути с тобой соседи,
И все я слышу в полусне.
Лишь до поры мешать беседе,
Признаться, не хотелось мне.

Мне было попросту занятно,
Смотрю: ну до чего хорош,
Ну как горяч невероятно,
Как смел! И как ты на попятный
От самого себя пойдешь.

Как, позабавившись игрою,
Ударишь сам себе отбой.
Зачем? Затем, что я с тобою —
Всегда, везде,— редактор твой.

Ведь ты над белою бумагой,
Объятый творческой мечтой,
Ты, умник, без меня ни шагу,
Ни строчки и ни запятой.

Я только мелочи убавлю
Там, сям — и ты как будто цел.
И все нетронутым оставлю,
Что сам ты вычеркнуть хотел.

Там карандаш, а тут резинка,
И все по чести, все любя.
И в свет ты выйдешь, как картинка,
Какой задумал я тебя.

— Стой, погоди,— сказал я строго,
Хоть самого кидало в дрожь.—
Стой, погоди, ты слишком много,
Редактор, на себя берешь!

И, голос вкрадчиво снижая,
Он отвечает:
— Не беру.
Отнюдь. Я все препоручаю
Тебе и твоему перу.

Мне самому-то нет расчету
Корпеть, черкать, судьбу кляня.
Понятно? Всю мою работу
Ты исполняешь за меня.

Вот в чем секрет, аника-воин,
И спорить незачем теперь.
Все так. И я тобой доволен
И не нарадуюсь, поверь.

Я всем тебя предпочитаю,
Примером ставлю — вот поэт,
Кого я просто не читаю:
Тут опасаться нужды нет.

И подмигнул мне хитрым глазом:
Мол, ты, да я, да мы с тобой...
Но тут его прервал я разом:

— Поговорил — слезай долой.
В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен
По той одной простой причине,
Что ты не явь, а только сон
Дурной. Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.

В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты — только тень.
Ты — лень моя.

Встряхнусь — и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь,
Когда, утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему...

И о тебе все эти строчки,
Чтоб кто другой, смеясь, прочел,—
Ведь я их выдумал до точки,
Я сам. А ты-то здесь при чем?

А между тем народ вагонный,
Как зал, заполнив коридор,
Стоял и слушал возбужденно
Весь этот жаркий разговор.

И молча тешились забавой
Майор с научным старичком.
И пустовала полка справа:
В купе мы ехали втроем.

И только — будь я суевером —
Я б утверждать, пожалуй, мог,
Что с этой полки запах серы
В отдушник медленно протек...

ОГНИ СИБИРИ

Сибирь!
Леса и горы скопом,
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь пяти Европам
Со всею музыкой своей.

Могучий край всемирной славы,
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Ее рудник и арсенал.

Край, где несметный клад заложен,
Под слоем — слой мощней вдвойне.
Иной еще не потревожен,
Как донный лед на глубине.

Родимый край лихих сибирских
Трем войнам памятных полков
С иртышских,
Томских,

Обских,
Бийских
И енисейских берегов...

Сестра Урала и Алтая,
Своя, родная вдаль и вширь,
С плечом великого Китая
Плечо сомкнувшая, Сибирь!

Сибирь!
И лег и встал — и снова —
Вдоль полотна пути Сибирь.
Но как дремучестью суровой
Еще объят ее пустырь!

Идет, идет в окне экспресса
Вдоль этой просеки одной
Неотодвинутого леса
Оббитый ветром перестой.

По хвойной тьме — березы проседь...
Откосы сумрачные гор...
И все кругом — как бы укор
Из давней давности доносит.

Земля пробитых в глушь путей,
Несчетных верст и редких дымов,
Как мало знала ты людей,
Кому была б землей родимой!

Кому была бы той одной,
Что с нами в радости и в горе,
Как юг иль степь душе иной,
Как взморье с теплою волной,
Как мне навек мое Загорье...

Недоброй славы край глухой
В новинку твой нелегок норов.
Ушел тот век, настал другой,
Но ты — все ты — с твоим укором.

И в старых песнях не устал
Взывать с тоской неутолимой
Твой Александровский централ
И твой бродяга с Сахалина.

Да, горделивая душа
Звучит и в песнях, с бурей споря,
О диком береге Иртыша
И о твоем священном море.

Но, может быть, в твоей судьбе,
И величавой и суровой,
Чего недодано тебе —
Так это мощной песни новой,
Что из конца прошла б в конец
По всем краям с зазывной силой
И с миллионами сердец
Тебя навеки породнила.

Та честь была бы дорога
И слава — не товар лежалый,
Когда бы мне принадлежала
В той песне добрая строка...

И снова — сутки прочь, и снова —
Сибирь!
Как свист пурги — Сибирь,—
Звучит и ныне это слово,
Но та ли только эта быль!

В часы дорожные ночные
Вглядишься — глаз не отвести:
Как Млечный Путь, огни земные
Вдоль моего текут пути.

Над глухоманью вековечной,
Что днем и то была темна.
И точно в небе эта млечность
Тревожна чем-то и скрытна...

Текут, бегут огни Сибири,
И с нерассказанной красой
Сквозь непроглядность этой шири
И дали длятся полосой.

Лучатся в тех угрюмых зонах,
Где время шло во мгле слепой.

Дробятся в дебрях потрясенных,
Смыкая зарева бессонных
Таежных кузниц меж собой.

И в том немеркнущем свеченье
Вдали угадываю я
Ночное позднее движенье,
Оседлый мир, тепло жилья;
Нелегкий труд и отдых сладкий,
Уют особенной цены,
Что с первой детскою кроваткой
У голой лепится стены...

Как знать, какой отрадой дивной
И там бывает жизнь полна —
С тайгою дикой, серединной,
Чуть отступившей от окна,
С углом в бараке закопченном
И чаем в кружке жестяной,—
Под стать моим молодоженам,
Что едут рядом за стеной,
У первой нежности во власти,
В плену у юности своей...

И что такое в жизни счастье,
Как ни мудри, а им видней...

Так час ли, два в работе поезд,
А точно годы протекли,
И этот долгий звездный пояс
Уж опоясал полземи.

А что там — в каждом поселенье
И кем освоена она,
На озаренном протяженье
Лесная эта сторона.

И как в иной таежный угол
Издалека вели сюда
Кого приказ,
Кого заслуга,
Кого мечта,
Кого беда...

Но до того, как жизнь рассудит,
Судьбу назвав, какая чья,
Любой из тысяч этих судеб
И так и так обязан я.

Хотя бы тем одним, что знаю,
Что полон памятью живой
Твоих огней, Сибирь ночная,
Когда все та же, не иная,
Видна ты далее дневной...

Тот свет по ней идет все шире,
Как день сменяя ночи тьму.
И что! Какие силы в мире
Потщатся путь закрыть ему!

Он и в столетьях не померкнет,
Тот вещий отблеск наших дней.
Он — жизнь.
А жизнь сильнее смерти:
Ей больше нужно от людей.

И перемен бесповоротных
Неукротим победный ход.
В нем власть и воля душ несчетных,
В нем страсть, что вдаль меня зовет.

Мне дорог мир большой и трудный,
Я в нем — моей отчизны сын.
Я полон с ней мечтою чудной —
Дойти до избранных вершин.

Я до конца в походе с нею,
И мне все тяготы легки.
Я всех врагов ее сильнее:
Мои враги —
Ее враги.

Да, я причастен гордой силе
И в этом мире — богатырь
С тобой, Москва,
С тобой, Россия,
С тобою, звездная Сибирь!

Со всем — без края, без предела,
С чем людям жить и счастью быть.
Люблю!
И что со мной ни делай,
А мне уже не разлюбить.

И той любви надежной мерой
Мне мерить жизнь и смерть до дна.
И нет на свете большей веры,
Что сердцу может быть дана.

С САМИМ СОБОЙ

Избыток лет бесповоротных
Не лечит слабостей иных:
Я все, как в юности, охотник
До разговоров молодых.

Я все, как в дни мои былые,
Хоть до утра часов с восьми
Решать вопросы мировые
Любитель, хлебом не корми.

Мне дорог дружбы неподдельной
Душевный лад и обиход,
Где слово шутки безыдейной
Тотчас тебе не ставят в счет;
Где о грядущих днях Сибири,
Пути гвардейского полка,
Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака
И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей,—
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей...

Так вот, как высказано выше,
С годами важен я не стал.
Еще не весь, должно быть, вышел
Живучей юности запал.

Нет, я живу, спешу тревожно —
Не тем ли доля хороша —
Заполнить мой дневник дорожный
Всем, чем полна еще душа;
Что бьется, просится наружу,—
И будь такой ли он, сякой,—
Читатель-друг, я не нарушу
Условий дружбы дорогой.

Согласно принятому плану,
Вернусь назад, рванусь вперед.
Но я, по совести, не стану
Зазря вводить тебя в расход.

Я не позволю на мякину
Тебя заманивать хитро.
И не скажу, что сердце выну:
Ему на месте быть добро.

С меня довольно было б чуда
И велика была бы честь
То слово вынуть из-под спуда,
Что нужно всем, как пить и есть.

У бога дней не так уж много,
Но стану ль попусту скорбеть,
Когда не вся еще дорога
И есть, что видеть, есть, что петь.

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

И в захолустье, потрясенном
Всемирным чудом наших дней,—
Старинных зим с певучим стоном
Далеких — за лесом — саней.

И весен в дружном развороте,
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.

И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,
Пастушьих радостей и тягот,
И слез над книгой дорогой.

И ранней горечи и боли,
И детской мстительной мечты,
И дней, не высиженных в школе,
И босоты, и наготы.
Всего — и скудости унылой
В потемках отчего угла...

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Ни щедрой выдачей здоровья
И сил, что были про запас,
Ни первой дружбой и любовью,
Что во второй не встретишь раз.

Ни славы замыслом зеленым,
Отравой сладкой строк и слов;
Ни кружкой с дымным самогоном
В кругу певцов и мудрецов —
Тихонь и спорщиков до страсти,
Чей толк не прост и речь остра
Насчет былой и новой власти,
Насчет добра
И недобра...

Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом.
И сорок первым.
И иным...

И столько в сердце поместила,
Что диву даться до поры,
Какие жесткие под силу
Ему ознобы и жары.

И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоездом, стороною
Ее увидеть без хлопот.
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.

И будто дело молодое —
Все, что затеял и слепил,
Считать одной лишь малой долей
Того, что людям должен был.

Зато порукой обоюдной
Любая скрашена страда:
Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно —
Никогда.

ДРУГ ДЕТСТВА

И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть,
Что сердцу встали на пути...

Я не скажу, что в ней отрада,
Что память эта мне легка,
Но мне свое исполнить надо,
Чтоб в даль глядеть наверняка.

В ней и великой нет заслуги —
Не тем помечена числом...

А речь идет о старом друге,
О лучшем сверстнике моем.
С кем мы пасли скотину в поле,
Палили в залесье костры,
С кем вместе в школе,
В комсомоле
И всюду были до поры.

И врозь по взрослым шли дорогам
С запасом дружбы юных дней.
И я-то знаю: он во многом
Был безупречней и сильней.

Я знаю, если б не случиться
Разлуке, горшей из разлук,
Я мог бы тем одним гордиться,
Что это был мой первый друг.

Но годы целые за мною,
Весь этот жизни лучший срок —
Та дружба числилась виною,
Что мне любой напомнить мог...

Легка ты, мудрость, на помине:
Лес рубят — щепки, мол, летят.
Но за удел такой доныне
Не предусмотрено наград.

А жаль!
Вот, собственно, и повесть,
И не мудрен ее сюжет...

Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.

Два знатных поезда, и каждый
Был полон судеб, срочных дел
И с независимостью важной
На окна встречного глядел.

Один туда, другой обратно.
Равны маршруты и права.
— «Москва — Владивосток»? — Понятно.
— Так-так: «Владивосток — Москва»...

Я вышел в людный шум перронный,
В минутный вторгнулся поток
Газетой запастить районной,
Весенней клюквы взять кулек.

В толпе размять бока со смаком,
Весь этот обозреть мирок —
До окончаний с твердым знаком
В словах: «Багажъ» и «Кипятокъ»...

Да, я люблю тебя душевно
И, сколько еду, все не сыт
Тобой, дорожный, многодневный,
Простой и в меру быстрый быт;

Вагон и эти остановки
Всего бегущего в окне,
И даже самозаготовки
По среднерыночной цене...

Так, благодушествуя вволю,
Иду. Не скоро ли свисток?
Вдруг точно отзыв давней боли
Внутри во мне прошел, как ток...

Кого я в памяти обычной,
Среди иных потерь своих,
Как за чертою пограничной,
Держал,
он, вот он был,
в живых.

Я не ошибся, хоть и годы
И эта стеганка на нем.
Он!
И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.

И чувство стыдное испуга,
Беды пришло еще на миг,
Но мы уже трясли друг друга
За плечи, за руки...
— Старик!

— Старик! —
Взаимной давней клички
Пустое, в сущности, словцо
Явилось вдруг по той привычке,
А я смотрю ему в лицо:

Все то же в нем, что прежде было,
Но седина, усталость глаз,
Зубов казенных блеск унылый —
Словцо то нынче в самый раз,
Ровесник-друг. А я-то что же?
Хоть не ступал за тот порог,
И я, конечно, не моложе,
Одно, что зубы уберег.
— Старик.

И нет нелепей муки:
Ему ли, мне ль свисток дадут,
И вот семнадцать лет разлуки
И этой встречи пять минут!

И вот они легли меж нами —
Леса, и горы, и моря,
И годы, годы с их мечтами,
Трудами,
войнами,
смертями —
Вся жизнь его,
Вся жизнь моя...

— Ну вот, и свиделись с тобою.
Ну, жив, здоров?
— Как видишь, жив.
Хоть непривычно без конвоя,
Но, так ли, сяк ли, пассажир
Заправский: с полкой и билетом...
— Домой?
— Да как сказать, где дом...

— Ах, да! Прости, что я об этом...
— Ну, что там, можно и о том.
Как раз, как в песенке не новой,
Под стать приходятся слова:
Жена найдет себе другого,
А мать... Но если и жива...
— Так. Ты туда, а я обратно...
— Да, встреча: вышел, вдруг — смотрю...
— И я смотрю: невероятно...
— Не куришь?
— Как еще курю!..

Стоим. И будто все вопросы.
И встреча как ни коротка,
Но что еще без папиросы
Могли мы делать до свистка?

Уже его мы оба ждали,
Когда донесся этот звук.
Нам разрешали
Наши дали
Друг друга выпустить из рук...

— Пора!
— Ну что же, до свиданья.
— Так ты, смотри — звони, пиши...—
Слова как будто в оправданье,
Что тяжесть некая с души.

И тут, на росстани тайшетской,
Когда вагон уже потек,
Он, прибодрившись молодецки,
Вдруг взял мне вслед под козырек.

И этот жест полушутливый,
Из глаз ушедший через миг,
Тоской безмолвного порыва
Мне в сердце самое проник.

И все. И нету остановки.
И не сойти уже мне здесь,
Махнув на все командировки,
Чтоб в поезд к другу пересесть.

И от нелегкой этой были,
На встречной скорости двойной,
Мы в два конца свои спешили
Вприпирку с ветром за стеной.

Бежал, размеченный столбами,
Как бы кружась в окне, простор.
И расстоянье между нами
Росло на запад и восток.

И каждый миг был новой вехой
Пути, что звал к местам иным...

А между тем я как бы ехал
И с ним, товарищем моим.

И подо мной опять гудела
В пути оставленная сталь.
И до обратного предела
Располагалась та же даль.

И от вокзала до вокзала
Я снова в грудь ее вбирал:
И тьму тайги, и плес Байкала,
И степь, и дымчатый Урал.

И к Волге-матушке с востока
Я приближался в должный срок
И, стоя с другом локоть в локоть,
Ее заранее стерег.

А через сутки с другом вместе,
Вцепившись намертво в окно,
Встречал столичные предместья,
Как будто их давным-давно,
Как он, не видел. И с тревогой
В вокзальный тот вступал поток...

А между тем своей дорогой
Все дальше ехал на восток.

И разве диво то, что с другом
Не мог расстаться я вполне?
Он был недремлющим недугом,
Что столько лет горел во мне.

Он сердца был живою частью,
Бедой и болью потайной.
И годы были не во власти
Нас разделить своей стеной.

И, не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел.
Я с другом был за той стеною.
И ведал все. И хлеб тот ел.

В труде, в пути, в страде походной
Я неразлучен был с одной
И той же думой неисходной,—
Да, я с ним был, как он со мной.

Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.

И те же радости и беды
Душой сыновней ведал он:
И всю войну,
И День Победы,
И будни нынешних времен.

Я знал: вседневно и всечасно
Его любовь была верна.
Винить в беде своей безгласной
Страну?
При чем же здесь страна!

Он жил ее мечтой высокой,
Он вместе с ней глядел вперед.
Винить в своей судьбе жестокой
Народ?
Какой же тут народ!..

И минул день в пути и вечер.
И ночь уже прошла в окне,
А боль и радость этой встречи,
Как жар, теснилися во мне.

Врываясь в даль, работал поезд,
И мне тогда еще в пути
Стучала в сердце эта повесть,
Что я не вправе обойти.

Нет, обойти ее — не дело
И не резон душе моей:
Мне правда партии велела
Всегда во всем быть верным ей.

С той правдой малого разлада
Не понесет моя строка.
И мне свое исполнить надо,
Чтоб в даль глядеть наверняка.

ФРОНТ И ТЫЛ

Быть может, этот спор дорожный,
Порой почти пустопорожний,
Но жаркий — грудь на грудь, в упор —
В вагоне шел бы до сих пор,
Не встрянь с улыбкой осторожной
И легким вздохом мой майор.

А может, перед вспышкой новой
Он сам собою поостыл,
Всегда, везде зайти готовый
Тот спор на тему:
Фронт и *тыл*...

Давно война отгрохотала,
Давно в страде иной страна,
По данным выхода с гектара
В пудах и центнерах зерна
И данным — на душу — металла,
Свои убытки наверстала,—
Душа, казалось бы, полна.

Однако,— нужды нет лукавить,—
Душа, минуя давность лет,
Той горькой памяти оставить
Еще не может и — нет-нет —
В тот самый заступает след.

И неизмеренное море
Печали, тяжких мук и горя
И славы — тот душевный пыл,
Что вновь и вновь родится в споре
На эту тему: фронт и тыл.

Он возникает не по знаку
Организованных начал,
А сам собой и тоже всяко:
То днем, а то и по ночам.

В пути, в гостинице, в больнице,
На переправе затяжной,
В районе, в области, в столице,
В гостях и дома,— хоть с женой.

В бараке, в клубе и сторожке,
В тайге, в степи, на целине,
«На кукурузе», «на картошке»,—
Как говорят еще в стране.

На даче, на горячем пляже,
В Крыму и в заполярной тьме,
Во льдах торосистых, и даже,
Не диво, если и в тюрьме...

Но время лучшее для спора,
Когда Москва — его исток,
А устье — где-то там, не скоро,
В конце, вдали — Владивосток.

Итак, в дороге три-четыре,
А то и пять, пожалуй, дней
Шел спор о фронте и о тыле,—
Не что важней,
А где трудней.

Спор в постановке чисто русской:
Где круче в смысле всех страстей —
Обычной на душу нагрузки,
Жары,
морозов
и харчей.

Горячность пылкая без меры
Со стороны фронтовика,
Минувшей службы офицера,
Рвалася вон из пиджака.

Казалось, был он кровный, личный,
Извечный враг тыловиков,
Да и оратор был каков! —
Куда там — наш трибун столичный,
Любимец публики Сурков.

Казалось так в разгаре спора,
Что он, случись в иную пору,
Отцу б родному не простил,
Когда бы с цехом иль конторой
Старик нестойкий убыл в тыл
И под огнем на фронте не был,
Не отступал за Днепр и Дон...

Должно быть, там с овчинку небо
Однажды сам увидел он.

И это тяжкое виденье
Он нес теперь сквозь жизнь свою,
Крутого полон озлобленья
На всех, кто не был в том бою...

Зато его противник в споре
Прощал охотно старика.
И о своей тех лет конторе
Он дал понять издалека.

На пафос тот, отчасти зверский,
Он отвечал — уму учил —
С улыбкой мягко-министерской
Больших секретарей-мужчин,
Что лишены обычной страсти
И с правом входа на доклад
Располагают большей властью,
Чем тот, при коем состоят...

Сперва с усталостью заметной
Он пояснил, что не секрет,
В наш век — век атомно-ракетный —
Былых понятий фронта нет,
Как нет былых понятий тыла.
Но с точки зренья прежних дней.
Понятно, где труднее было:
В тылу у нас — куда трудней.

Он так сказал: ходить в атаки
И умирать, коль выпал час,
Есть тот гражданский долг, что всякий
Обязан выполнить из нас.

Он к месту вспомнил утвержденья
Самих прославленных вояк,
Что нет героев от рожденья,—
Они рождаются в боях.

И возразить, казалось, нечем,
Когда вздохнул он тихо:
— Но...—
В тылу, мол, дело обеспечить
Уже не всякому дано.

И в правоте неоспоримой
Подвел черту, как говорят:
Тыл фронту, верно, брат родимый,
Но он сказал бы:
Старший брат.

Сказал — гляди, куда как метче —
И с новым вздохом повторил:
Тыл — старший брат, за все ответчик,—
И потому избрал он тыл.

Ему в годину испытаний
Крепить его велел закон.
С ним разговаривать не стали,
Когда на фронт просился он...

И, дескать, несколько неловкий,
По меньшей мере, этот спор,
При современной обстановке
Он лишь несет в ряды раздор...

И тут как раз вздохнул майор.

Майор, молчун тяжеловатый,
Что был курить да спать здоров,
Сказал с улыбкой виноватой:

— Скажу сперва насчет рядов...
Зачем же вдруг!.. Ряды — рядами.
И от беседы нет беды,
Поскольку мы же с вами
Сами
И есть те самые ряды...

Теперь насчет меньшого брата,
Скажу, не хвастаясь отнюдь,
Что от солдата
До комбата
Я сам прошел когда-то путь.

И что, причастный с ополченья
К боям, походам и котлу,
Я вправе сделать заключенье:
На фронте — легче, чем в тылу.

Я поясню,— сказал он, видя
Смущенье спорящих сторон,—
Не к чьей-нибудь из вас обиде
И чистой правде не в урон.

Как говорил один нестарый
Мой из запаса рядовой,
Знаток и той, что он оставил,
И этой жизни, фронтовой:
«Воюй — и все твое с тобой».
Мол, все по форме и по норме:

О чем заботиться тебе?
Случись, что если не накормлен,—
Так это есть уже ЧП.

В твое траншейное жилище,
У самой смерти на глазах,
К тебе ползут с горячей пищей
И даже с чаем в термосах.

Твой килограмм, с надбавкой, хлеба,
Твой спецпаек
И доптабак
Тебе должны доставить с неба,
Раз по земле нельзя никак.

С жилищем — тоже много проще:
Дворец ли, погреб — все твой дом.
Ни доставать прописку теще,
Ни уплотнять ее судом.

Что в жизни нужно — все бесплатно,
За все ответчица — казна.
Убьют иль ранят?
Фронт.
Понятно.
И не твоя уже вина.

В той жизни — долгой иль короткой —
Уж там добро иль недобро,—
Тебя согреть спешат и водкой,
И сводкой
Совинформбюро.

В недальнем следуя обозе,
А то в бою — тебе хвалу
Вовсю поют в стихах и прозе
Твои певцы.
А что в тылу!

В тылу совсем не та картина,
Хотя все то же существо.
Во-первых, если ты мужчина,
То вроде как-то не того...

Опять же кухня полевая
Тебе не придана в тылу.
Посеял карточки в трамвае,—
Садись к заочному столу.

И та опаска всем знакома:
В тылу проштрафился чуть-чуть,
Глядишь, привет от военкома:

Прошу зайти.
И — в добрый путь.

На фронте нет того в заводе.
Чтоб опасаться: вдруг да в тыл.

Ошибся в роте,
Так во взводе
Исправишь все, что допустил.

И даже, если ты там штуку
Уже подсудную удрал,
То ни к чему тебя в науку
Возить куда-то на Урал,
Писать от фронта открепленье,
Давать в дорогу аттестат.
Нет, где вина — там искупленье,—
Всегда поблизости штрафбат.

На месте весь тебе зачтется
Тот срок к недальнему числу
Без упущенья в производстве,
Как это водится в тылу.

С пристрастьем слушали майора
Два главных спорщика в купе.
Но самый след крутого спора
Уже по новой шел тропе.

Все ближе, ближе постепенно
К сужденьям тем склоняли слух
И наш профессор, и военный
Моряк, и врач, и все вокруг...

И в орденах старик кудрявый
Не усидел в своем углу,
Тряхнул своей безвестной славой:
— Нет, легче все-таки в тылу.
Как ни хотите — легче трошки...—
Успех майора он учел.—
Уже одно, что нет бомбежки,
А есть — так в шахте нипочем.

— Смотря какая бомба-дура,—
Поправил кто-то старика.
Но тот сказал:
— Нет, жизнь горька,
Как под землей без перекура,
А наверху — без табака...

— Ах, в табаке ли только дело,—
Включился вздох со стороны.—
В одном равны душа и тело,
Что легче — вовсе без войны...

Тот вывод с благостной печалью
Кивком почтенной головы
Одобрил попик наш с медалью
Восьмисотлетия Москвы.

Но означал его уместный
Простой кивок-полупоклон,
Что, может, волею чудесной
И сверх того, что всем известно,
Он кое в чем осведомлен...

А мой майор невозмутимый,
Со слов солдата выдав речь,
На весь вагон добавил дыма
И вновь намерен был залечь...

Солдатской притчи юмор грубый
Улыбкой лица подсветил,
И сам собой пошел на убыль
Тот спор на тему: фронт и тыл.

И те, кому в завидных далях,
В раю глубоком тыловом
У их станков и наковален
Был без отрыва стол и дом.

И после них не канут в нетях
Та боль, и мужество, и честь.
Но перейдет в сердца их детям
И внукам памятная песнь.

О том, как шли во имя жизни
В страде — два брата, два бойца.
Великой верные Отчизне
Тогда.
И впредь.
И до конца.

Вагонный быт в дороге дальней,
Как отмечалось до меня,
Под стать квартире коммунальной,
Где все жильцы — почти родня.

Родня, как есть она в природе:
И та, с которой век бы жил,
И та, с которой в обиходе
Столкнешься утром —
День постыл.

И есть всегда в случайном сборе
Соседей — злостный тот сосед,
Что любит в общем коридоре
Торчать, как пень, и застить свет.

И тот, что спать ложится рано,
И тот бессонный здоровяк,
Что из вагона-ресторана
Приходит в полночь «на бровях».

И тот, что пьет всех больше чая,
Притом ворчит,
Что чай испит,
И, ближних в храпе обличая,
Сам, как зарезанный, храпит.

И тот, что радио не любит,
И тот, что слушать дай да дай,
И тот, и всякий...
Словом, люди,
В какую их ни кинуть даль.

И на путях большого мира
Мне дорог, мил
И этот мир...

Съезжает вдруг жилец с квартиры,
Вдруг сходит спутник-пассажир...

И пусть с тобой он даже спички
Не разделил за этот срок,
Но вот уже свои вещички
Он выдвигает за порог.

Вот сел у двери отрешенно —
Уже на убыль стук колес,—
Вот встал и вышел из вагона,
И жизни часть твоей унес...

Но это что. Иное дело,
Когда, как водится в пути,
Знакомство первое успело
До дружбы, что ли, дорасти.

Читатель, может быть, припомнит
Молодоженов-москвичей,
Что в стороне держались скромно,
Дорогой заняты своей,
Своей безмолвною беседой
Про тот, наверно, край земли,
Куда они впервые едут
В составе собственной семьи.

Когда пошли уже к Уралу
Холмы — заставы главных гор,—
Супруги юные помалу
Втянулись в общий разговор.

Должно быть, так, что с непривычки
Взгрустнулось,— критик, погоди:
Не версты дачной электрички,
А вся Европа позади.

И, отдаваясь этой дали,
Что открывалась душам их,
Они с отрадой обретали
Опору в спутниках своих.

И постигали въявь при свете
Дневном на этом рубеже,
Что — да, они уже — не дети,
И счет пошел иной уже...

Расспросы, толки, тары-бары...
Уже, проход загородив,
Вокруг и возле этой пары
Вагонный сладился актив.

На всех пахнуло в самом деле
Как будто временем иным,
И все по-своему хотели
Не сплоховать при встрече с ним;
Не оттолкнуть почтенной спесью:
Мол, то ли дело в наши дни;
Не затянуть унылой песни
Во вкусе матушки-родни —
Той, чьи советы, поученья
И справки — в горле у детей:
Насчет превратностей снабженья
И климатических страстей.

Но все ж избыточное время
В пути заставило и нас
Отдать свой долг обычной теме,
Что все имеют про запас.

Мол, край земли — оно понятно,
И в шалаше с любимым — рай.
Но на Арбат попасть обратно
Сложнее, чем на этот край.

Да, да. Не всем в аспирантуру,—
Нет, нужно в жизнь пойти сперва,
Но взять Калинин либо Тулу:
И жизнь, и в трех часах Москва.

Беда, что все до меду падки,—
Себе не враг никто живой:
Тот строит город на Камчатке,
А дачу лепит под Москвой.

Тот редкой верностью Сибири
Уже повсюду знаменит,
А там, в столице, на квартире
Жена за сторожа сидит...

И, кстати, речь зашла о женах,
Особо любящих Москву,
Что хоть в каких ютятся зонах,
Лишь ею грезят наяву.

Хоть где-то, где-то, чуть маяча,
Томит им души до беды
Москва — мечта,
Москва — задача,
Москва — награда за труды.

А впрочем, если виновата
Она — Москва — какой виной,
Так разве той, что маловато
На всех про всех ее одной.
И хоть бы втрое растянулась,
Так не вместиться всем в одну...

Но не твое ли время, юность,
Нести ее на всю страну?
В леса и степи до предела
Идти со связью от нее.
То не твое ли нынче дело,
Друг верный — молодость?..

Твое!
Твое по праву и по нраву.
Твое по счету голосов.
Несет тебе и честь и славу
Земли родимой этот зов.

Не для того тебя растили
И сберегали, как могли,
Чтоб ты в поре своей и силе
Чуралась матери-земли.

Земли нетоптаной, нерытой,
Таящей зря свои дары,
Необжитой, недомовитой
И небом крытой
До поры.

Тебе сродни тех далей ветер.
Ты знаешь: очередь твоя —
Самой в особом быть ответе
За все передние края.

За всю громоздкую природу,
Что в дело нам отведена,
За хлеб и свет, тепло и воду,
За все, чем в мире жизнь красна...

Прошу учесть, читатель строгий,
Что у стиха свои права:
Пусть были сказаны в дороге
Не эти именно слова.
И за отсутствием трибуны
Шла речь обыденней вдвойне...

Но вот супруг, наш спутник юный,
Вдруг поднял руку:
— Дайте мне.
Он старшим был в их славной паре
И, видно, парень с головой,
Из тех, что в каждом семинаре
Резон отстаивают свой.

— Позвольте мне,— сказал он тихо.—
Мы сами вызвались сюда.
Хоть знаем все, почем там лихо,
Но сами... Просто — от стыда.

Да! Что же: речи, песни, письма,
А как до дела — так меня
Авось хоть в ту же Тулу втиснет
Руководящая родня...

И нужды нет притом лукавить,
Что мне Москва не хороша,
И что не жаль ее оставить,
И не лежала к ней душа.

Зачем выдумывать пустое,—
Вдали она еще милей.
Еще теплей.
Но разве стоят
Те блага — совести моей!

Бочком ходить, светить глазами —
Была бы нам судьба тошна.
Иную мы избрали сами,
Я правду говорю, жена?

Мы с ним в купе сидели рядом,
И та из своего угла
Его влюбленным, долгим взглядом,
Не отрываясь, берегла.

И не впервые вслух, должно быть,
Она сказала те слова,
Что про себя имели оба:
— Где мы с тобой, там и Москва...

И даже чуть плечом пожала —
Мол, знаешь сам: ответ готов.
И все признали, что, пожалуй,
Не скажешь лучше этих слов.

Пусть жизнь своею жесткой меркой
Измерит емкость их потом,
Когда любовь пройдет проверку
И обживет свой новый дом.

Но это доброе присловье —
Залог и дружбы и семьи.
И с ним полезен для здоровья
Любой на свете край земли...

Тот край, тот мир иной — до срока
Он не вступал еще в права.
И от Москвы, как ни далеко,
То все еще была Москва.

Москва, что дали рассекала
Своей стальною колеей,
Тайга ли, степи или скалы —
Все это было за стеной,
Все за окном неслось вагонным.

А тут, внутри, была она
С ее уютом, протяженным
До крайней шпалы полотна.

Тут из конца в конец державы,
Защищена от непогод,
Она тепло свое держала
И свой столичный обиход.

И если поезд передышку
Себе в работе позволял,
Там был хоть малый городишко —
Москвы образчик, хоть вокзал;
Хоть водокачка — знак приметный
Культуры с дедовских времен;
Хоть «Пиво — воды», хоть газетный
Киоск, закрытый на ремонт...

Так час за часом вдаль столица
Свою разматывает нить,
Пока не время с ней проститься,
С ее подножки соступить
И очутиться вдруг в Сибири,
В полубезвестной точке той,
Что для тебя в подлунном мире —
Отныне дом и адрес твой,
Где жить и быть, располагаться,
Топтать земли тот самый край,
Брать в оборот его богатства.
И вот когда, Москва, прощай!

Она помедлит там учтиво,
Но тихо тронется состав,
И канет в далях это диво...

Ты не случайно ли отстал?
Не побежишь за этим спальным
Цепляться, виснуть как-нибудь?
Нет? Все в порядке, все нормально?
Тогда живи и счастлив будь.

И мы своим молодоженам,
Когда настала их пора,
На остановке всем вагоном
Желали всякого добра.

Как будто мы уже имели
На них особые права.
Как будто мы их к этой цели
И подготовили сперва.

Как будто наша в том заслуга,
Что старше мы друзей своих.
Как будто мы их друг для друга
Нашли и поженили их...

И вот они на том вокзале,
Уже в толпе других людей...

И мы глядим на них глазами
Минувшей юности своей,
Глазами памяти суровой
И светлой — тех ушедших лет,
Когда по зову жизни новой
Мы брали дальний свой билет...

Все та же даль.
Но годы — те ли!
Мы юным сменщикам своим
Сказать, быть может, не хотели,
Как мы завидовали им.

Полна, красна земля родная
Людьми надежных душ и рук.

Всё та же, та же, да иная
И даль,
и жизнь,
и всё вокруг...

НА АНГАРЕ

В крутые памятные сроки
Я побывал на Ангаре,
Когда особая для стройки
Была задача на поре.

Она была для многих внове,
Видавших всякие жары,
Все, словом, было наготове
Для перекрытья Ангары.

Все начеку, чтоб разом прянуть
На приступ: люди — до души,
Борта машин, и стрелы кранов,
И экскаваторов ковши...

А между тем река играла,
Крошила берег насыпной,
Всю прибыль мощных вод Байкала
В резерве чуя за собой.

Играла беглыми цветами
И, вся прозрачная до дна,
Свиваясь длинными жгутами,
Неслась, дика и холодна.

Крутой отсвечивая гладью,
Гнала волну волне вослед,
Как будто ей и толку нет,
Что люди вправду пядь за пядью
К ней подбирались столько лет;

Что не на шутку шли подкопом
В пластах породы и песков,
Призвав сюда немалый опыт
С иных далеких берегов;

Что эта сила,
С флангов, с тыла
Пододвигаясь день за днем,
На клетки плес разгородила,
Прошла по дну и подо дном;

Вдавила вглубь рубеж бетонный,
Стальной решеткой проплетенный,
Недвижно вечный, как скала,
И, выбрав наверх гравий донный,
Громаду-насыпь возвела.

И в ней из хитрого расчета,
Убавив исподволь простор,
Реке оставила ворота,
Чтоб взять их завтра на запор.

Уже был связан мост понтонный
На быстрине — звено в звено,—
Откуда груз тысячетонный
В свой час низринется на дно.

Тот час уже в окно стучался
Не без торжественных затей:
Съезжались гости и начальство
Различных рангов и статей;

Корреспондентов специальных
Нетерпеливая орда —
Одной и вместе с тем «Центральной»
В те дни гостиницы страда.

Сбивалось множество народу,
Толпясь, глядеть на эту воду
И переглядываться:
— Д-да...

Предположенья, слухи, толки,
Сужденья вольных знатоков
О недостатках подготовки,
О риске и перестраховке
И установке
От верхов.

Но и о том, как эти воды,
Подобно волжским и иным,
Уже не дар, а дань природы —
Войдут в назначенный режим;

Подтянут к центрам захолустья,
Дадут запев Сибири всей.
А там еще и Братск, и Устье,
А там и братец Енисей,
А там...

Жестокий в Приангарье —
Под стать зиме — держался зной,
Уже сдавалось — пахнет гарью,
Бедой извечною лесной;

Что со ствола на ствол смолистый
Бежит, как белка, налегке
И в трубку скручивает листья
Зловещим жаром вдалеке;

И сна лишает край таежный,
И расставляет в цепь войска,
И самолетов гул тревожный
Заводит в небе...

А река —
Шурша, жгуты свои свивала,
И от лихой жары тех дней
Вода студеная с Байкала
Еще казалась холодней;

Неслась, красуясь мощью дикой,
Шипучей пеной на груди...

Всё наготове. А поди-ка,
Встань поперек.
Загороди!..

С утра, с утра
В тот день воскресный,
Во что горазд принаряжен,
И городской народ и местный,
И свой на стройке и безвестный,
Забрав подруг своих и жен
С детьми,— на праздник необычный
Теснился, точно в ГУМ столичный,
Ломился грудью, чтоб места
Занять поближе у моста.

И в самый полдень, как ни жарок,
Не убывал людской напор.
И пестр, и ярмарочно ярок,
И вместе строг был этот сбор.

Один глазел —
Врожденный зритель,
Любитель истый — стар ли, мал;
Другой как раз был сам водитель,
Но в эту смену не попал.

А та пришла, чтоб видеть сына
Иль мужа в самый этот час,
Когда к воде его машина
Пойдет под тысячами глаз.

А кто-то дочку
По платочку,
А кто подружку — на посту
Среди построенных в цепочку
Регулировщиц на мосту —
Распознавал.

Но в этом сборе
Невольно каждый брал в расчет,
Что тут народ —
Не на футболе,
Что праздник — праздник, да не тот.
И речь не та, и смех, и шутки...

А там, у самой Ангары,
Собрался штаб в тесовой будке,
Как улей, душной от жары.

Все службы стройки там сидели —
Воды, земли, колес, дорог.
Но всем уже речам о деле,
Как перед боем, срок истек.

Последним кругом для порядка
Поверка старших обошла,
И, на часы взглянув украдкой,
Начальник встал из-за стола.

С последней доброю затяжкой
Вздохнул — как будто с плеч гора.
И виды видевшей фуражкой
Стол обмахнул.
— Ну что ж, пора...

— Пора!

И враз моторы взвыли,
Секунд своих не упустив,
И самосвалы в клубах пыли
Взошли на пляшущий настил
И развернулись по теченью
Реки — во всю длину моста,
И строем — в ряд, как на ученье,
Над кромкой вздыбили борта.

Рванулся вниз флажок сигнальный,
И точно вдруг издалека
Громовый взрыв породы скальной
Толкнулся в эти берега.

Так первый сброс кубов бетонных,
Тех сундуков десятитонных,
Раздавшись, приняла река...

Она грядой взметнулась пенной,
Сверкнула радугой мгновенной
И, скинув рваную волну,
Сомкнулась вновь.
И видно было,
Как этот груз она катила,
Гнала по каменному дну.

И над ее волной верченой,
Бренча оснасткою стальной,
Мост всколыхнулся, облегченный,
И, вновь подняв заезд груженый,
Прогнулся вровень с той волной.

И снова — в очередь машины,
Под грузом тужась тяжело,
На цель с боков и середины
Зашли.
И так оно пошло.

С погрузки на́ мост, с моста в гору —
Заезд в заезд смыкался круг.
И был любой шофер шоферу
Как будто кровный брат и друг.

В таком взаимном береженье,
Блюдя черту —
Бортом к борту,—
Кругообразное движенье
Не прерывалось на мосту.

Еще тревожная задача
Наружный сдерживала пыл,
Как бой, что был красиво начат,
Но только-только начат был.

И был труднее с каждым часом
В разгаре памятного дня:
Не подоспей боеприпасы —
Бой захлебнется без огня.

Машины шли, теснясь и пятясь,
Держась на той струне тугой:
Не сплоховать,
Не сбавить натиск,
Не проморгать беды лихой...

То был порыв души артельной,
Самозабвенный, нераздельный,—
В нем все слилось — ни дать, ни взять:
И удаль русская мирская,
И с ней повадка заводская,
И строя воинского стать,
И глазомер, и счет бесспорный,
И сметка делу наперед.

Сибиряки! —
Молва не врет,—
Хоть с бору, с сосенки народ,
Хоть сборный он, зато отборный,
Орел-народ!
Как в свой черед
Плечом надежным подопрет,—
Не подведет!

Сибиряками
Охотно все они звались,
Хоть различались языками,
Разрезом глаз и складом лиц.

Но цвет был общего закала:
Сибири выслуженный дар —
Под слоем летнего загара
Еще там зимний был загар.

Тут были: дальний украинец
И житель ближних мест — бурят,
Казах, латыш и кабардинец,
И гуще прочих — *старший брат.*

И те, кого сюда чин чином
Везли с путевкой поезда,
И те, что по иным причинам
Однажды прибыли сюда;

В труде отбыв глухие сроки,
Перемогли урок жестокий,—
Всего видали до поры,
Бывали дальше Ангары...

Но все теперь как будто дивом,
Своею нынешней судьбой,
Одним охвачены порывом,
В семье сравнялись трудовой,
В сыновней службе не лукавой,
Огнем ученые бойцы.

Деньга — деньгою, слава — славой,
Но сверх всего еще по нраву
Класс показать.
Самим по праву
Сказать:
«А что — не молодцы?»

Как дорог мне в родном народе
Тот молодеческий резон,
Что звал всегда его к свободе,
К мечте, живущей испокон.

Как дорог мне и люб до гроба
Тот дух, тот вызов удалой
В труде,
В страде,

В беде любой,—
Тот горделивый жар особый,
Что — бить,— так бей,
А петь,— так пой!..

Гори вовеки негасимо
Тот добрый жар у нас в груди —
И все нам впору, все по силам,
Все по плечу, что впереди.

Немало жито-пережито,
Что хочешь будь и впредь со мной,—
Ты здесь — венец красы земной,
Моя опора и защита
И песнь моя —
Народ родной!

День отпылал над сталью плеса
И долгий зной увел в закат.
Все так же по мосту колеса
Держали свой тяжелый лад.

Свергали в воду самосвалы
Свой груз,— казалось, там — гора.
Как в прорву все. Как не бывало!
И Ангара —
Как Ангара.

Лишь под не виданным вовеки
Огнем прожекторных лучей
Играла,— все на свете реки
Могли завидовать бы ей.

В лучах играла вся окрестность,—
Сверкала, что дворцовый бал.
И неохотно люд воскресный
Домой с площадки убывал.

Работам ночь не помешала,
Забыто было есть и пить,
И смена смене не желала
Добром штурвалы уступить.

И ночь прошла.
И новый полный
День на дежурство заступил.
И все вились жгутами волны,
Все тот же был
Байкальский тыл.

И только в полдень, в лад со сроком,
Что был назначен неспроста,
Как над невидимым порогом,
Вода забилась у моста.

И крупной пеной богатея,
Пошла в десяток рукавов,
Когда означились над нею
Углы бетонных сундуков.

Ярясь, грозясь, кипела пуще,
Гремел с бортов за сбросом сброс,
Над быстриной, ревмя ревущей,
Ходил гармонью зыбкий мост.

За сбросом сброс гремел в придачу,
Росла бетонная гряда,
Но не хотела стать стоячей
Весь век бежавшая вода,
Не собиралась кончить миром...

Я помню миг, как тень беды
Прошла по лицам командиров,
Не отходивших от воды.

Ей зоркий глаз людской не верил...
Чуть стихла, силы притаив.
И вдруг, обрушив левый берег,
В тот узкий кинулась прорыв...

Слова команды прозвучали,
Один короткий взмах флажка —
И, точно танки РГК,
Двадцатитонные «минчане»,
Качнув бортами, как плечами,
С исходной, с грузом — на врага.

И ни мгновенья передышки —
За самосвалом — самосвал,
Чтоб в точку!
В душу!
Наповал!

Так путь воде закрыл завал.
И оператор с киновышки
Хватился поздно —
Кадр пропал.

И знать, для сходного конфуза,
На верхотуре выбрав пост,
Отваги полный, член Союза
Художников сидел, как дрозд.

Высоким долгом, не корыстью,
Он в эти движим был часы —
У Ангары своею кистью
Перехватить ее красы.

Но жалок был набросок смутный,
Не поспевала кисть вослед
Реке, менявшей поминутно
Своей волны летучий цвет...

И я над кипенью студеной,
В числе растроганных зевак,
Стоял, глазел, как пригвожденный...

Начальник подошел.
— Ну, как?
Поэма будет? Чем не тема! —
И я, понятно, не простак,
Ответил:
— Вот она, поэма! —
Он усмехнулся:
— Так-то так...

Под нами шла река, стихая.
Мы понимали — он и я:
Поэма, верно, неплохая,
Да жаль: покамест — не твоя...

Тем часом мост махал флажками,
Не остывая, длился бой.
Вслед за кубами-сундуками
Пошел в отгрузку дикий камень,
Бетонный лом, кирпичный бой...

Уже бульдозеры, направив
На перемычку лемеха,
Пошли пахать песок и гравий,
На ней сближая берега.

Уже слабел напор в запруде.
Но день тревожен был и труден,
Дождем грозился тяжкий зной.
Как на лугу, спешили люди,
С последней справиться копной.

Курил начальник, глядя в воду,
Предвестьем скрытно удручен.
Он знал, что не бюро погоды,
Нет, и за дождь ответит он.

Седой крепыш, майор запаса,
По мерке выверенной сшит,
Он груз и нынешнего часа
Нес, как солдату надлежит.

Мол, тяжелей — как без привычки,
А наше дело — не впервой.

И в гром работ на перемычке
Ворвался праздный, гулевой
Гром сверху.

Капли забренчали
По опорожненным бортам...
— Ну, хлопцы, не было печали.
Держись!..—
И все держались там.

Закиселилась, как трясина,
На съезде глинистая грязь...

Свалив свой груз, одна машина
Вдруг задом, задом подалась
К воде.
Мотор завыл натужно...

— Ребята! — вскрикнул бригадир.
Вцепились.—
Ра́з-два!
Взяли!
Дружно! —
В боях испытанный буксир.

Вздохнули все, расправив спины.
Не веря сам, что он живой,
Водитель вылез из кабины,
Как из-под крышки гробовой,
И огляделся виновато.

Тут смех и ругань:
— Эх, тулуп! —
И вывод, может, грубоватый:
— Механизация, ребята,
Проходит тоже через пуп...

И все веселыми глазами —
И пожилые и юнцы —
Блестели, хоть и не сказали
Тех слов:
«А что — не молодцы?»

Короткой сверзившись напастью,
Дождь оторвался от земли.
И в вечер сумерки ненастья
И в ночь без грани перешли...

Победа шла с рассветом ранним,
Облитым с ночи тем дождем.
Река еще текла в проране,
Но тихо было под мостом.

Теперь она была похожа
На мелкий, в каменистом ложе
Разгон теряющий поток.

Потом —
На горный ручеек,
Что мог перешагнуть прохожий,
Не замочив, пожалуй, ног.

Осталось двум бульдозеристам
Завалом влажным и зернистым
Угомонить и тот ручей,
Что был меж них чертой ничьей.

Лицом к лицу — попеременно —
То задний ход,
То вновь вперед...
На них двоих уже вся смена
Глядела — кто же перейдет.

Сближая гравий планировки,
Вели тот спор между собой
Один — в заношенной спецовке,
Другой — в тельняшке голубой.

Ждала, глядела, замирая,
Вся смена, сбившись на мосту,
Тому и этому желая
Скорее выйти за черту.

Был налицо их пыл горячий:
Кому открыть по гребле путь.
Но с виду — словно той задачей
Не озабочены ничуть.

Пошел, пошел по самой бровке
Тот, что в тельняшке. Заспешил.
Затор!
И первенство — спецовке.
И оба спрыгнули с машин.

Да, это видеть было надо,
Как руку встретила рука.

Как будто, смяв войска блокады,
Встречались братские войска.
Двух встречных армий

Два солдата —
Друг другу руки жмут ребята.

Аплодисментов дробный град
Затихнул.
Щелкнул аппарат...

Что дальше делать — вот задача.
Вдруг кто-то в голос —
сверху —
вниз:
— Целуйтесь, черти! —
Чуть не плача,
Вскричал.
И хлопцы обнялись.

Минула памятная веха,
Оставлен сзади перевал.
И тут уже пошла потеха,—
Я сам кого-то обнимал...

Со всех бессонье и усталость —
Долой.
Одна под смех кругом
Девчонка слабо отбивалась
От парня свернутым флажком...

Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда...

Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..

Кто так, как ты, еще на свете
До слез порадоваться мог
Речам, глазам и людям этим!
Зачем же голос твой умолк?..

Все выше, словно по ступеням,
Шел торжества отрадный час.
Спецзавтрак был объявлен смене
И краткий праздничный приказ.

Уже народ подался с моста,
Гадая в простоте сердец,
По полтораста или по́ сто
На брата выйдет этот «спец»...

Шутила зрелость, пела юность.
И, чистым пламенем горя,
С востока тихо развернулась
В треть неба дымная заря.

Над лесом кранов эстакадой,
Над главной насыпью-горой,
Над юным городом по скату,
Над Ангарой,
Над Ангарой,—
Заря,
Заря прошла, сгорая
При свете утренней поры,
И следом солнце красным краем —
Большое — вышло из горы.

Блестела светом залитая,
Дождем обмытая трава...

Ах, как горька и не права
Твоя седая, молодая,
Крутой посадки голова!..

На стройке день вставал обычный,
Своих исполненный забот.
И отбывал уже столичный
И прочий гостевой народ.

Уже смекал я, беспокоясь,
Какой за этот жаркий срок
Ушел по счету дальний поезд
На Дальний, собственно, Восток,
В твой край отцовский, изначальный,
Тобой прославленный.

Прости,
Но только памятью печальной
Одной не мог я жить в пути.

Моя заветная дорога,
Хоть и была со мной печаль,
Звала меня иной тревогой
И далью, что сменяет даль.

И память ныне одоленной,
Крутой ангарской быстрины,
Как будто замысел бессонный,
Я увозил на край страны.

К КОНЦУ ДОРОГИ

Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба,
что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.

И транссибирской магистралью,
Кратчайшим, может быть, путем
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день
И легкий дом.

Судьба, понятно, не причина,
Но эта даль всего верней
Сибирь с Москвой сличать учила,
Москву с Сибирью наших дней.

И эти два большие слова,
Чей смысл поистине велик,
На гребне возраста иного,
На рубеже эпохи новой,
Я как бы наново постиг.

Москва. Сибирь.
Два эти слова
Звучали именем страны,
В значенье дикости суровой
Для мира чуждого равны.

Теперь и в том надменном мире —
Все те ж слова: Сибирь — Москва,
Да на ином уже помине
Пошла разучивать молва.

Добро!
Но мы не позабыли,
Какою притчей той молвы
Мы столько лет на свете были
И как нас чествовали вы.

Почти полвека на бумаге
Строчили вы, добра полны,
О том, что босы мы и наги,
И неумелы, и темны.

Что не осилить нам разрухи,
Не утеплить своей зимы.
Что родом тюхи да матюхи,
Да простаки, да ваньки мы.

И на бумаге и в эфире
Вещали вы, что нам едва ль
Удастся выучить в Сибири
Своих медведей
Делать сталь.

Что в нашей бедности безбрежной —
Не смех ли курам наш почин,
Когда в новинку скрип тележный,
Не то что музыка машин.

И что у нас безвестно слово
Наук, доступных вам давно.
Что нам опричь сосны еловой
Постичь иного не дано.
Что мы — Сибирь.

А мы тем часом
Свою в виду держали даль.
И прогремела грозным гласом
В годину битвы наша сталь.

Она, рожденная в Сибири,
Несла на собственной волне,
Как миру весть о жданном мире,
Победу нашу в той войне.

И каждой каплей нашей крови,
Так щедро пролитой на ней,
И каждым вздохом скорби вдовьей
И горя наших матерей —
Жестокой памяти страницей —
На том безжалостном торгу
Она оплачена сторицей,
И мы у мира не в долгу...

Я повторю, хотя вначале
О том велась как будто речь,
Что в жизни много всяких далей,—
Сумей одной не пренебречь.

Такая даль — твое заданье,
Твоя надежда или цель.
И нужды нет всегда за далью
Скакать за тридевять земель.

Они при нас и в нас до гроба —
Ее заветные края.
Хотя со мной вопрос особый,
Как выше высказался я.

С моим заданьем в эти сроки
Я свой в пути копил запас,
И возвращался с полдороги,
И повторял ее не раз.

Нехитрым замыслом влекомый,
Я продвигался тем путем,
И хоть в дороге был, хоть дома —
Я жил в пути и пел о нем.

И пусть до времени безвестно
Мелькнул какой-то и прошел
По краю выемки отвесной
Тайги неровный гребешок;

Какой-то мост пропел мгновенно
На басовой тугой струне,
Какой-то, может, день бесценный
Остался где-то в стороне.

Ничто душой не позабыто
И не завянет на корню,
Чему она была открыта,
Как первой молодости дню.

Хоть критик мой, вполне возможно,
Уже решил, пожав плечом,
Что транспорт железнодорожный
Я неудачно предпочел.

Мол, этот способ допотопный
В наш век, что в скоростях, не тот,
Он от задач своих, подобно
Литературе, отстает.

Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому,
А то — хорош
И впору высшим интересам,
Что зазывают в мир дорог.

А впрочем, авиаэкспрессом
Я и теперь не пренебрег.

Мне этим летом было надо
Застать в разгаре жданный день,
Когда Ангарского каскада
Приспела новая ступень.

И стрелкам времени навстречу
Я устремился к Ангаре,
В Москве оставив поздний вечер
И Братск увидев на заре.

И под крутой скалой Пурсеем,
Как у Иркутска на посту,
В числе почетных ротозеев
В тот день маячил на мосту.

Смотрел, как там, на перемычке,
Другой могучий гидрострой
В июльский день в короткой стычке
Справлялся с нижней Ангарой...

И, отдавая дань просторным
Краям, что прочила Сибирь,
В наш век нимало не зазорным
Я находил автомобиль.

Так, при оказии попутной,
Я даром дня не потерял,
А завернул в дали иркутской
В тот Александровский централ,
Что в песнях каторги прославлен
И на иной совсем поре,
В известном смысле, был поставлен
Едва ль бедней, чем при царе...

Своей оградой капитальной
В глуши таежной обнесен,
Стоял он, памятник печальный
Крутых по-разному времен.

И вот в июльский полдень сонный,
В недвижной тягостной тиши,
Я обошел тот дом казенный,
Не услыхав живой души.

И только в каменной пустыне,
Под низким небом потолков,
Гремели камеры пустые
Безлюдным отзвуком шагов...

Уже указом упраздненный,
Он ждал, казенный этот дом,
Какой-то миссии ученой,
И только сторож был при нем.

Он рад был мне, в глуши тоскуя,
Водил, показывал тюрьму
И вслух высчитывал, какую
Назначат пенсию ему...

Свое угрюмое наследство
Так хоронила ты, Сибирь.

И вспомнил я тебя, друг детства,
И тех годов глухую быль...

Но — дальше.
Слава — самолету,
И вездеходу — мой поклон.
Однако мне еще в охоту
И ты, мой старый друг, вагон.

Без той оснастки идеальной
Я обойтись уже не мог,
Когда махнул в дороге дальней
На Дальний, собственно, Восток.

Мне край земли, где сроду не был,
Лишь знал по книгам, толку нет
Впервые в жизни видеть с неба,
Как будто местности макет.

Нет, мы у столика под тенью,
Что за окном бежит своя,
Поставим с толком наблюденье
За вами, новые края!

Привычным опытом займемся
В другом купе на четверых,
Давно попутчики-знакомцы
Сошли на станциях своих.

Да и вагон другой. Ну что же:
В пути, как в жизни, всякий раз
Есть пассажиры помоложе,
И впору нам, и старше нас...

Душа полна, как ветром парус,
Какая даль распочата!
Еще туда-сюда — Чита,
А завалился за Хабаровск —
Как вдруг земля уже не та.

Другие краски на поверке,
И белый свет уже не тот.
Таежный гребень островерхий
Уже по сердцу не скребнет.

Другая песня —
Краснолесье,—
Не то леса, не то сады.
Поля, просторы — хоть залейся,
Покосы буйны — до беды.

В новинку мне и так-то любы
По заливным долинам рек,
Там-сям в хлебах деревьев купы,
Что здесь не тронул дровосек...

Но край, таким богатством чудный,
Что за окном, красуясь, тек,
Лесной, земельный, горнорудный,
Простертый вдоль и поперек,
И он таил в себе подспудный
Уже знакомый мне упрек.

Смотри, читалось в том упреке,
Как изобилен и широк
Не просто край иной, далекий,
А Дальний, именно, Восток,—
Ты обозрел его с дороги
Всего на двадцать, может, строк.

Слуга балованный народа,
Давно не юноша, поэт,
Из фонда богом данных лет
Ты краю этому и года
Не уделил.
И верно — нет.

А не в ущерб ли звонкой славе
Такой существенный пробел?
Что, скажешь: пропасть всяких дел?..

Нет, но какой мне край не вправе
Пенять, что я его не пел!

Начну считать — собьюсь со счета:
Какими ты наделена,
Моя великая страна,
Краями!
То-то и оно-то,
Что жизнь, по странности, одна...

И не тому ли я упреку
Всем сердцем внял моим, когда
Я в эту бросился дорогу
В послевоенные года.

И пусть виски мои седые
При встрече видит этот край,
Куда добрался я впервые,
Но вы глядите, молодые,
Не прогадайте невзначай
Свой край, далекий или близкий,
Свое призванье, свой успех —
Из-за московской ли прописки
Или иных каких помех...

Не отблеск, отблеском рожденный,—
Ты по себе свой край оставь,
Твоею песней утвержденный,—
Вот славы подлинной устав!

Как этот, в пору новоселья,
Нам край открыли золотой
Ученый друг его Арсеньев
И наш Фадеев молодой.

Заветный край особой славы,
В чьи заповедные места
Из-под Орла, из-под Полтавы
Влеклась народная мечта.

Пусть не мое, а чье-то детство
И чья-то юность в давний срок
Теряли вдруг в порту Одессы
Родную землю из-под ног,

Чтоб в чуждом море пост жестокий
Переселенческий отбыть
И где-то, где-то на востоке
На твердый берег соступить.

Нет, мне не только что из чтенья,
Хоть книг довольно под рукой,
Мне эти памятны виденья
Какой-то памятью другой...

Безвестный край. Пожитков груда,
Ночлег бездомный. Плач ребят.
И даль Сибири, что отсюда
Лежит с восхода на закат...

И я, с заката прибывая,
Ее отсюда вижу вдруг.
Ага! Ты вот еще какая!
И торопливей сердца стук...

Огни. Гудки.
По пояс в гору,
Как крепость врезанный вокзал.
И наш над ним приморский город,
Что Ленин *нашенским* назвал...

Такие разные — и все же,
Как младший брат
И старший брат.
Большим и кровным сходством схожи
Владивосток и Ленинград.

Той службе преданные свято,
Что им досталась на века,
На двух краях материка
Стоят два труженика-брата,
Два наших славных моряка —
Два зримых миру маяка...

Владивосток!
Наверх, на выход.
И — берег! Шляпу с головы
У океана.
— Здравствуй, Тихий,
Поклон от матушки-Москвы;

От Волги-матушки — немалой
И по твоим статям реки;
Поклон от батюшки-Урала —
Первейшей мастера руки;
Еще, понятно, от Байкала,
Чьи воды древнего провала
По-океански глубоки;

От Ангары и всей Сибири,
Чей на земле в расцвете век,—
От этой дали, этой шири,
Что я недаром пересек.

Она не просто сотня станций,
Что в строчку тянутся на ней,
Она отсюда и в пространстве,
И в нашем времени видней.

На ней огнем горят отметки,
Что поколенью моему
Светили с первой пятилетки,
Учили смолоду уму...

Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся — моя,
моя,
моя!

На все, что внове
И не внове,
Навек прочны мои права.
И все смелее наготове
Из сердца верного слова.

...Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами,—
Иных не знали мы имен.

Гадали, как еще восславить
Его в столице и селе.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле...

Мой друг пастушеского детства
И трудных юношеских дней,
Нам никуда с тобой не деться
От зрелой памяти своей.

Да нам оно и не пристало —
Надеждой тешиться: авось
Уйдет, пройдет — как не бывало
Того, что жизнь прошло насквозь.

Нет, мы с тобой другой породы,—
Минувший день не стал чужим.
Мы знаем те и эти годы
И равно им принадлежим...

Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду
Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.

Оно не знало меньшей меры,
Уже вступая в те права,
Что у людей глубокой веры
Имеет имя божества.

И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как бог;

Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел —
Всех производств,
Любой науки,
Морских глубин и звездных тел;

И всех свершений счет несметный
Был предуказан — что к чему;
И даже славою посмертной
Герой обязан был ему...

И те, что рядом шли вначале,
Подполье знали и тюрьму,
И брали власть, и воевали,—
Сходили в тень по одному;

Кто в тень, кто в сон — тот список длинен,—
В разряд досрочных стариков.
Уже не баловал Калинин
Кремлевским чаем ходоков...

А те и вовсе под запретом,
А тех и нет уже давно.
И где каким висеть портретам —
Впредь на века заведено...

Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!

Не зря, должно быть, сын востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты.
И правоты.

Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?
О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?

Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста,
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста?

Не те ли все, что в чинном зале,
И рта открыть ему не дав,
Уже, вставая, восклицали:
«Ура! Он снова будет прав...»?

Что ж, если опыт вышел боком,
Кому пенять, что он таков?
Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.

Кому пенять! Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.

И русских воинов отвага
Ее от волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага
На жарком темени стволов...

Мой сверстник, друг и однокашник,
Что был мальчонкой в Октябре,
Товарищ юности не зряшной,
С кем рядом шли в одной поре,—
Не мы ль, сыны, на подвиг дерзкий,
На жертвы призванной земли,
То имя-знамя в нашем сердце
По пятилеткам пронесли?

И знали мы в трудах похода,
Что были знамени верны
Не мы одни,
Но цвет народа,
Но честь и разум всей страны.

Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,

Ни прибавить,—
Так это было на земле.

То был отец, чье только слово,
Чьей только брови малый знак —
Закон.
Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи, что так...

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...

А что́ подчас такие бури
Судьбе одной могли послать,
Во всей доподлинной натуре —
Тебе об этом лучше знать.

Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага...

И под Москвой, и на Урале —
В труде, лишеньях и борьбе —
Мы этой воле доверяли
Никак не меньше, чем себе.

Мы с нею шли, чтоб мир избавить,
Чтоб жизнь от смерти отстоять.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Ты помнишь все, отчизна-мать.

Ему, кто всё, казалось, ведал,
Наметив курс грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам...

На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,
Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.

О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Не досчиталась ты, рыдая
Под гром победных батарей...

Салют!
И снова пятилетка.
И все тесней лучам в венце.
Уже и сам себя нередко
Он в третьем называл лице.

Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал.

Уже в веках свое величье,
Что весь наш хор сулил ему,
Меж прочих дел, хотелось лично
При жизни видеть самому.

Спешил.
И все, казалось, мало.
Уже сомкнулся с Волгой Дон.
Канала
Только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..

И за наметкой той вселенской
Уже как хочешь поспевай —
Не в дальних далях,— наш смоленский,
Забытый им и богом,
Женский,
Послевоенный вдовий край.

Где занесло следы поземкой
И в селах душам куцый счет,
А мать-кормилица с котомкой
В Москву за песнями бредет...

И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой;

С ее терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней,
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью — не полней;

С ее дурным озимым клином
На этих сотках под окном;
И на печи ее овином,
И середи избы гумном;

И ступой — мельницей домашней —
Никак, из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжкой нынешней бедой.

Но и у самого предела
Тоски, не высказанной вслух,
Сама с собой — и то не смела
Душа ступить за некий круг.

То был рубеж запретной зоны,
Куда для смертных вход закрыт,
Где стража зоркости бессонной
У проходных вросла в гранит...

И, видя жизни этой вечер,
Помыслить даже кто бы смог,
Что и в Кремле никто не вечен
И что всему выходит срок...

Но не ударила царь-пушка,
Не взвыл царь-колокол в ночи,
Как в час урочный та *Старушка*
Подобрала свои ключи —
Ко всем дверям, замкам, запорам,
Не зацепив лихих звонков,
И по кремлевским коридорам
Прошла к нему без пропусков.

Вступила в комнату без стука,
Едва заметный знак дала —
И удалилась прочь наука,
Старушке этой сдав дела...

Сломилась ночь, в окне синея
Из-под задернутых гардин.
И он один остался с нею,
Один —
Со смертью — на один...

Вот так, а может, как иначе —
Для нас, для мира не простой,
Тот день настал,
Черту означил,
И мы давно за той чертой...

Как говорят, отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползи на грудь.

Еще в виду отцовский разум,
И власть, и опыт многих лет...
Но вот уйдет отец — и разом
Твоей той молодости нет...

Так мы не в присказке, на деле,
Когда судьба тряхнула нас,
Мы все как будто постарели —
Нет, повзрослели — в этот час.

Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.

Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди,
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди;

Все эти даты, вехи, сроки,
Что нашу метили судьбу,
И этот день, такой далекий,
Как видеть нам его в гробу.

В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца.

И не сробели на дороге,
Минуя трудный поворот.
Что ж, сами люди, а не боги
Смотреть обязаны вперед.

Там — хороши они иль плохи —
Покажет дело впереди,
А ей, на всем ходу, эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»

Не вступишь с нею в словопренья,
Когда гремит путем своим...
Не останавливалось время,
Лишь становилося иным.

Земля живая зеленела,
Все в рост гнала, чему расти.
Творил свое большое дело
Народ на избранном пути.

Страну от края и до края,
Судьбу свою, судьбу детей
Не божеству уже вверяя,
А только собственной своей
Хозяйской мудрости.

Должно быть,
В дела по-новому вступил
Его, народа, зрелый опыт
И вместе юношеский пыл.
Они как будто из-под спуда
Возникли — новый брать редут...

И что же — чудо иль не чудо,—
Дела идут не так уж худо —
И друг и недруг признают.

А если кто какой деталью
Смущен, так правде не во вред
Давайте спросим тетку Дарью —
Всего ценней ее ответ...

Но молвить к слову: на Днепре ли,
На Ангаре ль — в любых местах —
Я отмечал: народ добрее,
С самим собою мягче стал...

Я рад бывал, как доброй вести,
Как знаку жданных перемен,
И шутке нынешней и песне,
Что дням минувшим не в пример.

Ах, песня в поле,— в самом деле
Ее не слышал я давно,
Уже казалось мне, что пели
Ее лишь где-нибудь в кино,—

Как вдруг он с дальнего покоса
Возник в тиши вечеровой,
Воскресшей песни отголосок,
На нашей родине с тобой.

И на дороге, в темном поле,
Внезапно за душу схватив,
Мне грудь стеснил до сладкой боли
Тот грустный будто бы мотив...

Я эти малые приметы
Сравнил бы смело с целиной
И дерзким росчерком ракеты,
Что побывала за Луной...

За годом — год, за вехой — веха.
За полосою — полоса.
Нелегок путь.
Но ветер века —
Он в наши дует паруса.

Вступает правды власть святая
В свои могучие права,
Живет на свете, облетая
Материки и острова.

Она все подлинней и шире
В чреде земных надежд и гроз.
Мы — это мы сегодня в мире,
И в мире с нас
Не меньший спрос!

И высших нет для нас велений —
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть, как Ленин,
Свой ясный разум видеть в нем.

С ним сердцу нечего страшиться.
И в нашей книге золотой
Нет ни одной такой страницы,
Ни строчки, даже запятой,
Чтоб нашу славу притемнила,
Чтоб заслонила нашу честь.

Да, все, что с нами было,—
Было!
А то, что есть,—
То с нами здесь!

И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами — в силу поговорки
Насчет пера
И топора...

И правда дел — она на страже,
Ее никак не обойдешь,
Все налицо при ней — и даже
Когда молчанье — тоже ложь...

Кому другому, но поэту
Молчать потомки не дадут.
Его к суровому ответу
Особый вытребует суд.

Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пускай не мне еще то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер,
Оно в готовности любой:
Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

Нет выше долга, жарче страсти
Стоять на том
В труде любом!

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоем.
За новым трудным перевалом —
Вздохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим иль малым,
Ах, самым малым —
Все равно!

Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль,
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути,
И ведай
За далью — даль.
За далью — даль!

ДО НОВОЙ ДАЛИ

Пора!
Я словом этим начал
Мою дорожную тетрадь.
Теперь оно звучит иначе:
Пора и честь, пожалуй, знать.

Ах, эти длительные дали,
Дались они тебе спроста.
Читали — да. Но ждать устали:
Когда ж последняя верста.

А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет!

Все верно: в сроках не потрафил,
Но я прошу высокий суд
Учесть, что мне особый график
Составлен был на весь маршрут.

И что касается охвата
Всего, что в памяти любой,—
Суди по правде, как солдата,
Что честно долг исполнил свой.

Он воевал не славы ради.
Рубеж не взял? И сам живой?
Не представляй его к награде,
Но знай — ему и завтра в бой.

А что в пути минули сроки —
И в том вины особой нет.
Мои герои все в дороге,
Да ты и сам не домосед.

Ты сам, читатель, эти дали
В пути проверил и постиг,
В своем бывалом чемодане
Держа порой и мой дневник.

Душа моя принять готова
Другой взыскательный упрек,
Что ткань бедна: редка основа,
Неровен бедный мой уток;

Что, может быть, не ярки краски
И не заманчив общий тон;
Что ни завязки,
Ни развязки —
Ни по началу, ни потом...

Ах, сам любитель я, не скрою,
Чтоб с места ясен был вопрос —
С приезда главного героя
На новостройку иль в колхоз,
Где непорядков тьма и бездна,
Но прибыл с ним переворот,
И героиня в час приезда
Стоит случайно у ворот.

Он холост, или же в разводе,
Или с войны еще вдовец,
Или от злой жены беглец,
Иль академик-молодец,
И все, что надо,— на подходе,
Хоть не заглядывай в конец.

Но сам лишен я этой хватки:
И совесть есть, и лень, прости,
В таком развернутом порядке
Плетень художества плести.

А потому и в книге этой —
Признаться, правды не тая,—
Того-другого — званья нету,
Всего героев —
ты да я,
Да мы с тобой.

Так песня спелась.
Но, может, в ней отозвались
Хоть как-нибудь наш труд и мысль,
И наша молодость и зрелость,
И эта даль,
И эта близь?

Что горько мне, что тяжко было
И что внушало прибыль сил,
С чем жизнь справляться торопила,—
Я все сюда и заносил.

И неизменно в эту пору,
При всех изгибах бытия,
Я находил в тебе опору,
Мой друг и высший судия.

Я так обязан той подмоге
Великой — что там ни толкуй,—
Но и тебя не прочу в боги,
Лепить не буду новый культ.

Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже — всякий на поверку,
Бываешь — мало ли какой.

Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор,
И сам начетчик
И цитатчик,
И не судья,
А прокурор.

Беда бедой твой пыл бессонный,
Когда вдобавок ко всему
Еще и книжкой пенсионной
Ты обладаешь на дому.

Не одному бюро погоды
Спешишь ты всыпать поскорей,
Хоть на почтовые расходы
Идет полпенсии твоей.

Добра желаючи поэту,
Наставить пробуя меня,
Ты пишешь письма в «Литгазету»,
Для «Правды» копии храня...

И то не все. Замечу кстати:
Опасней нет болезни той,
Когда, по скромности, читатель,
Ты про себя, в душе,— писатель,
Безвестный миру Лев Толстой.

Ох, вы, мол, тоже мне, писаки,
Вот недосуг за стол засесть...

Да, и такой ты есть и всякий,
Но счастлив я, что ты, брат, есть!

Не запропал, не стал дитятей,
Что наша маменька-печать
Ласкает, тешась:
— Ах, читатель,
Ах, как ты вырос — не достать!

Сама пасет тебя тревожно
(И уморить могла б, любя):
— Ах, то-то нужно, то-то можно,
А то-то вредно для тебя...

Ты жив-здоров — и слава богу,
И уговор не на словах:
В любую дальнюю дорогу
На равных следовать правах...

Ты помнишь, я свой план невинный
Представил с первого столбца:
Прочти хотя б до половины,
Авось — прочтешь и до конца.

Прочел по совести. И что же:
Ты книгу медленно закрыл,
Вздохнул, задумался, похоже.
Ну вот. А что я говорил?

Прости, что шутка на помине,
Когда всерьез не передать,
Как нелегко и эту ныне
Мне покидать свою тетрадь.

Не то чтоб жаль, но как-то дико.
Хоть этот миг —
Желанный миг:
Была тетрадь — и стала книга
И унеслась дорогой книг.

Уже не кинешься вдогонку
За ней во все ее края...
Так дочка дома — все девчонка,
Вдруг — дочь. Твоя и не твоя.

Скорбеть о том не много проку,
Что низок детям отчий кров.
Иное дело, с чем в дорогу
Ты проводил родную кровь.

И мне уже не возвратиться
Назад, в покинутый предел.
К моей строке или странице,
Что лучше б мог, как говорится,
Да не сумел.
Иль не посмел.

Тем преимуществом особым
При жизни автор наделен:
Все слышит сам, но, как за гробом,
Уже сказать не может он,
Какой бы ни был суд нелестный...

Но если вправду он живой,
Он в новый замысел безвестный
Уже уходит с головой.

И, распростившись с этой далью
Что подружила нас в пути,
По счастью, к новому свиданью
Уже готовлюсь я. Учти!

Конца пути мы вместе ждали,
Но прохлаждаться недосуг.
Итак, прощай.
До новой дали.
До скорой встречи,
Старый друг!

1950—1960

ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуторе пустоши Стоплово», как назывался в бумагах клочок земли, приобретенный моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардовским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку. Земля эта — десять с небольшим десятин,— вся в мелких болотцах — «оборках», как их у нас называли, и вся заросшая лозняком, ельником, березкой,— была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но *нашей* земле — нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Местность эта была довольно дикая, в стороне от дорог, и отец, замечательный мастер кузнечного дела, вскоре закрыл кузницу, решив жить с земли. Но ему то и дело приходилось обращаться к молотку: арендовать в отходе чужой горн и наковальню, работая исполу.

В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно и, может быть, тем труднее, что наша фамилия в обычном обиходе снабжалась еще шутливо-благожелательным или ироническим добавлением «пан», как бы обязывая отца тянуться изо всех сил, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать ее. Между прочим, он любил носить шляпу, что в нашей местности, где он был человек «пришлый», не коренной, выглядело странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было «не как у людей»

Отец был человеком грамотным и даже начитанным по-деревенски. Книга не являлась редкостью в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло таким именно образом. Отец и на память знал много стихов: «Бородино», «Князя Курбского», чуть ли не всего ершовского «Конька-Горбунка». Кроме того, он любил и умел петь,— смолоду даже отличался в церковном хоре. Обнаружив, что слова общеизвестной «Коробушки» только малая часть «Коробейников» Некрасова, он певал при случае целиком всю эту поэму.

Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности, ко многому, что находилось вне практических, житейских интересов крестьянского двора, хлопот и забот хозяйки в большой многодетной семье. Ее до слез трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими кустами и болотцами, или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п.

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда — ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого — и лада, и ряда, и музыки,— желание родить их на свет — и немедленно,— чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу.

Что стихи можно сочинять самому, я понял в связи с тем, что гостивший у нас в голодное время летом дальний наш городской родственник по материнской линии, хромой гимназист, как-то прочел по просьбе отца стихи собственного сочинения «Осень»:

Листья давно облетели,
И голые сучья торчат...

Строки эти, помню, потрясли меня тогда своей выразительностью: «голые сучья» — это было так просто, обыкновенные слова, которые говорятся всеми, но это были стихи, звучащие, как из книги.

С того времени я и пишу. Из первых стихов, внушивших мне какую-то уверенность в способности к этому делу, помню строчки, написанные, как видно, под влиянием пушкинского «Вурдалака»:

Раз я поздней порой
Шел от Вознова домой,
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога:
На лужайке меж ракит
Шупень старый был убит...

Речь шла об одинокой могиле на середине пути до деревни Ковалево, где жил наш родственник Михайло Вознов. Похоронен в ней был некто Шупень, убитый на том месте. И хотя никаких ракит там поблизости не было, никто из домашних не попрекнул меня этой неточностью: зато было складно.

По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и незнаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, по-своему чуяла в ней некую печальную предназначенность моей судьбы и жалела меня.

Лет тринадцати я как-то показал свои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано,— таковы современные литературные требования. Он показал мне журналы с некоторыми образцами тогдашней — начала двадцатых годов — поэзии. Какое-то время я упорно добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько непонятное ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда и не знаю даже, о чем там шла речь. Помню лишь факт написания чего-то такого.

С 1924 года я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблениях местных властей и т. п. Изредка заметки печатались. Это делало меня, рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то и том-то, «протя-

нуть» такого-то в газете... Потом я отважился послать и стихи. В газете «Смоленская деревня» летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение «Новая изба». Начиналось оно так:

Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стены блестят.
Хорошо заживем мы с весною
Здесь на новый, советский лад...

После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился в Смоленск к М. В. Исаковскому, работавшему там в редакции газеты «Рабочий путь». Принял он меня приветливо, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора-поэта А. Твардовского».

Михаилу Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, я очень многим обязан в своем развитии. Он, может быть, единственный из советских поэтов, чье непосредственное влияние я всегда признаю и считаю, что оно было благотворным для меня. В стихах своего земляка, уже известного в наших краях поэта, я увидел, что предметом поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей. Пример его поэзии обратил меня в моих юношеских опытах к существенной объективной теме, к стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить. Ко всему этому, конечно, необходима оговорка, что писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно.

В развитии и росте моего литературного поколения было, мне кажется, самым трудным и для многих моих сверстников губительным то, что мы, втягиваясь в литературную работу, выступая в печати и даже становясь уже «профессиональными» литераторами, оставались людьми без сколько-нибудь серьезной общей культуры, без образования. Поверхностная начитанность, некоторая осведомленность в «малых секретах» ремесла питала в нас опасные иллюзии.

Обучение мое прервалось, по существу, с окончанием сельской школы. Годы, назначенные для нормальной и последовательной учебы, ушли. Восемнадцатилетним парнем я приехал в Смоленск, где не мог долго устроиться не только на учебу, но даже на работу — по тем временам это было еще не легко, тем

более что специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакций. Я и тогда понимал незавидность такого положения, но отступать было некуда,— в деревню я вернуться не мог, а молодость позволяла видеть впереди, в недалеком будущем только хорошее.

Когда в московском «толстом» журнале «Октябрь» М. А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в Москву. Но получилось примерно то же самое, что со Смоленском. Меня изредка печатали, кто-то одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие надежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, и меня все заметнее относило куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учебы, настоящей жизни. Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск и прожил там лет шесть-семь, до появления в печати поэмы «Страна Муравия».

Период этот — может быть, самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения — Октябрьская революция и гражданская война. Все то, что происходило тогда в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением. В Смоленске я, наконец, принялся за нормальное учение. С помощью ныне покойного смоленского партийного работника А. Н. Локтева поступил я в Педагогический институт без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый год все необходимые предметы за среднюю школу, в которой я не учился. Мне удалось в первый же год выравняться с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс, с третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), куда поступил осенью тридцать шестого года.

Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия. Но, может быть, все это было бы для меня «прохождением» институтской программы, если бы одновременно меня не захватил всего целиком другой мир — реальный нынешний мир потрясе-

ний, борьбы, перемен, происходивших в те годы в деревне. Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни. Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к «стихотворству» — составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассонансов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон.

Моя поэма «Путь к социализму», озаглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами:

В одной из комнат бывшего барского дома
Насыпан по самые окна овес.
Окна побиты еще во время погрома
И щитами завешаны из соломы,
Чтобы овес не пророс
От солнца и сырости в помещенье.
На общем хранится зерно попеченье...

Поэма, выпущенная по рекомендации очень благожелательного к молодым Эд. Багрицкого в 1931 году издательством «Молодая гвардия», встречена была в печати в общем положительно, но я не мог не почувствовать сам, что такие стихи — езда со спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, не поэзия. И вернуться к стихам в прежнем, привычном духе я уже не мог. Новые возможности погрезились мне в организации стиха из его элементов, входящих в живую речь,— из оборотов и ритмов пословицы, поговорки, присказки. Вторая моя поэма «Вступление», вышедшая в Смоленске в 1932 году, была данью таким именно односторонним поискам «естественности» стиха:

Жил на свете Федот,
Был про него анекдот:
— Федот, каков умолот?
— Как и в прошлый год.
— А каков укос?
— Чуть не целый воз.
— А как насчет сала?
— Кошка украла...

По материалу, содержанию, даже намечавшимся в общих чертах образам обе эти поэмы подготовляли «Страну Муравию», написанную в 1934—1936 годах. Но для этой новой моей вещи я должен был на собственном трудном опыте разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои основные природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную наполненность.

Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое «открытие», как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смещение деталей живого мира, в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму изображения. А то, наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам. То, что я знаю о жизни,— казалось мне тогда,— я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать. Я до сих пор считаю такое чувство не только законным, но и обязательным в осуществлении всякого серьезного замысла.

Историю замысла «Страны Муравии», подсказанного одним из тогдашних выступлений А. А. Фадеева, я позднее изложил в специальной заметке «О «Стране Муравии».

Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора. Выход этой книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни. Я переехал в Москву; в 1938 году вступил в ряды Коммунистической партии; в 1939 году окончил МИФЛИ, выпустил книгу новых стихов «Сельская хроника».

Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван и, уже в офицерском звании, но в той же должности спецкорреспондента военной газеты, участвовал в войне с Финляндией. Месяцы фронтовой работы в условиях суровой зимы сорокового года в какой-то мере предварили для меня военные впечатления Великой Отечественной войны. А мое участие в создании фельетонного персонажа «Васи Теркина» в газете «На страже Родины» (ЛВО) — это, по существу, начало моей основной литературной работы в годы Отечественной войны.

Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первых дней отличили ее от каких бы то ни было иных войн, и тем более военных кампаний. Это, конечно, и определило существенное отличие теперешнего «Василия Теркина» от того, прежнего, «Васи».

Историю зарождения и создания этой моей книги я пытался подробнее изложить в своей статье «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям)». Здесь же скажу только, что «Книга про бойца», каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем — воюющим советским человеком — моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю. Впрочем, все это, мне кажется, более удачно выражено в заключительной главе самой книги.

Почти одновременно с «Теркиным» и стихами «Фронтовой хроники» я начал еще на войне, но закончил уже после войны поэму «Дом у дороги». Тема ее — война, но с иной стороны, чем в «Теркине»,— со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть строки, взятые из нее же:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Всегда наряду со стихами я писал прозу — корреспонденции, очерки, статьи, рассказы; выпустил еще до «Муравии» нечто вроде небольшой повести — «Дневник председателя колхоза» — результат моих деревенских записей «для себя». В 1947 году опубликовал книгу о минувшей войне «Родина и чужбина»; вместе с последующими очерками и рассказами она входит в 4-й том Собрания сочинений. В замыслах же и предположениях на будущее проза издавна занимает у меня, пожалуй, наиболее обширное место.

Связанный со Смоленщиной не только памятью отчих мест, детства и ранней юности, годами жизни в Смоленске в пору моего литературного ученичества, но и годами войны, когда вместе с частями фронта вступал на пепелища освобождаемой от оккупантов родной стороны, я и в послевоенные годы не утрачи-

вал этой связи. Не удивительно, что мотивы и образы «смоленской стороны» так часто представлены во всех моих стихах и поэмах, рассказах и очерках.

Но так же естественно, что с годами, с расширением жизненного и литературно-общественного опыта, поездками по стране и за ее пределы — расширялось и, так сказать, поле действительности, становившейся основой моих писаний.

Могу сказать, что если Смоленщина, со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью, досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то уже, например, Сибирь, с ее суровой и величественной красой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно-широкими перспективами, я обретал для себя уже сам в зрелые годы. Правда, интерес и влечение к Сибири и Дальнему Востоку были у меня задолго до моих поездок в эти края, с отроческих лет, под влиянием книг и отчасти переселенческих мечтаний и планов отца, то и дело возникавших у него в полном противоречии с привязанностью к своему загорьевскому «имению».

Эту новую мою связь — связь с «иными краями» — я сознательно развиваю и укрепляю с конца сороковых годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе пятидесятых годов — книге «За далью — даль».

Одновременно с этой книгой, а также лирикой, очерками и статьями в эти годы писалась поэма «Теркин на том свете». Она, конечно, не является «продолжением» «Василия Теркина» в смысле многочисленных читательских предложений на этот счет, по поводу которых я давал свои объяснения в «Ответе читателям», хотя и связана с «Книгой про бойца» непосредственно взятым из нее образом героя. Она возникла из иного, главным образом сатирического задания и обращена к некоторым сторонам послевоенной действительности в том духе, как их оценивали XX и XXII съезды нашей партии.

В эти же годы значительную часть своего рабочего времени уделял редактированию журнала «Новый мир».

Как только автобиография оставляет форму прошедшего времени, продолжение ее как таковой становится, по крайней мере, нескромным и, уж во всяком случае, не может заменить собою делания ее, то есть написания новых вещей, о которых автору позволительнее высказываться после их появления перед судом читателя.

1947—1965

КАК БЫЛ НАПИСАН «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

(Ответ читателям)

Первые главы «Василия Теркина» были опубликованы в 1942 году, хотя имя героя книги было известно по военной печати значительно ранее. Но именно с 1942 года я, как автор «Книги про бойца», получаю читательские письма, в которых вместе с общей оценкой этого произведения высказываются замечания, пожелания, выдвигаются вопросы. Их нельзя оставить без ответа. В моей частной переписке с читателями я, конечно, старался всякий раз хоть коротко отозваться на все эти вопросы, замечания и пожелания. Но мне уже давно казалось, что этим ограничиться в данном случае я не могу и должен в печати дать некоторые разъяснения по поводу «Теркина».

Вопросы, с которыми читатели этой книги обращаются ко мне вот уже много лет подряд, при всем многообразии оттенков и частностей, сходятся к трем основным:

1. Вымышленное или действительно существовавшее в жизни лицо Василий Теркин?
2. Как была написана эта книга?
3. Почему нет продолжения книги о Теркине в послевоенное время?

Начну по порядку — с первого вопроса, который вообще чаще всего возникает у читателей в отношении героя той или иной книги.

«Существует ли в действительности Теркин?», «Тип он или один, известный вам, живой человек?», «Есть ли он на самом деле?» — вот взятые выборочно из писем фронтовиков формулировки этого вопроса. Он возникал у читателя еще в то время, когда «Книгу про бойца» я только начал печатать в газетах и журналах. В одних письмах этот вопрос ставился с очевидным предположением утвердительного ответа, а из других — явствовало, что сомнений в существовании «живого» Теркина у читателя нет, а речь лишь идет о том, «не в нашей ли, такой-то, дивизии он служит?». И случаи адресования писем не ко мне, автору, а самому Василию Теркину — также свидетельство распространенности представления о том, что Теркин — «живое лицо».

Словом, было и есть до сих пор такое читательское представление, что Теркин — это, так сказать, личный человек, солдат, живущий под этим или иным именем, числящийся за номером своей воинской части и полевой почты. Более того, про-

заические и стихотворные послания читателей говорят о желании, чтоб это было именно так, то есть чтобы Теркин был лицом невымышленным.

Однако я не мог и не могу к удовлетворению этого простодушного, но высоко ценимого мною читательского чувства заявить (как это могли и могут сделать некоторые другие писатели), что мой герой — не вымышленное лицо, а живет или жил там-то и встречался мне тогда-то и при таких-то обстоятельствах.

Нет, Василий Теркин, каким он является в книге,— лицо вымышленное от начала до конца, плод воображения, создание фантазии. И хотя черты, выраженные в нем, были наблюдаемы мною у многих живых людей,— нельзя ни одного из этих людей назвать прототипом Теркина.

Но дело в том, что задуман и вымышлен он не одним только мною, а многими людьми, в том числе литераторами, а больше всего нелитераторами и в значительной степени самими моими корреспондентами. Они активнейшим образом участвовали в создании «Теркина», начиная с первой его главы и до завершения книги, и поныне продолжают развивать в различных видах и направлениях этот образ.

Я поясняю это в порядке рассмотрения второго вопроса, который ставится в еще более значительной части писем,— вопроса: как был написан «Василий Теркин»? Откуда взялась такая книга?

«Что вам послужило материалом к ней и что — отправной точкой?»

«Уж не был ли автор сам одним из Теркиных?»

Об этом спрашивают не только рядовые читатели, но и люди, специально занимающиеся предметом литературы: студенты-дипломники, взявшие темой своих работ «Василия Теркина», преподаватели литературы, литературоведы и критики, библиотекари, лекторы и т. п.

Попробую рассказать о том, как «образовался» «Теркин».

«*Василий* Теркин», повторяю, известен читателю, в первую очередь армейскому, с 1942 года. Но «*Вася* Теркин» был известен еще с 1939—1940 года — с периода финской кампании. В то время в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» работала группа писателей и поэтов: Н. Тихонов, В. Саянов, А. Щербаков, С. Вашенцев, Ц. Солодарь и пишущий эти строки.

Как-то, обсуждая совместно с работниками редакции задачи и характер нашей работы в военной газете, мы решили,

что нужно завести что-нибудь вроде «уголка юмора» или еженедельного коллективного фельетона, где были бы стихи и картинки. Затея эта не была новшеством в армейской печати. По образцу агитационной работы Д. Бедного и В. Маяковского в пореволюционные годы в газетах была традиция печатания сатирических картинок со стихотворными подписями, частушек, фельетонов с продолжениями с обычным заголовком — «На досуге», «Под красноармейскую гармонь» и т. п. Там были иногда и условные, переходящие из одного фельетона в другой персонажи, вроде какого-нибудь повара-весельчака, и характерные псевдонимы, вроде Дяди Сысоя, Деда Егора, Пулеметчика Вани, Снайпера и других. В моей юности, в Смоленске, я имел отношение к подобной литературной работе в окружной «Красноармейской правде» и других газетах.

И вот мы, литераторы, работавшие в редакции «На страже Родины», решили избрать персонаж, который выступал бы в сериях занятных картинок, снабженных стихотворными подписями. Это должен был быть некий веселый, удачливый боец, фигура условная, лубочная. Стали придумывать имя. Шли от той же традиции «уголков юмора» красноармейских газет, где тогда были в ходу свои Пулькины, Мушкины и даже Протиркины (от технического слова «протирка» — предмет, употребляющийся при смазке оружия). Имя должно было быть значимым, с озорным, сатирическим оттенком. Кто-то предложил назвать нашего героя Васей Теркиным, именно Васей, а не Василием. Были предложения назвать Ваней, Федей, еще как-то, но остановились на Васе. Так родилось это имя.

Здесь я должен остановиться, к слову, на одном частном читательском вопросе, как раз относительно имени Василий Теркин.

Майор М. М — в, москвич, пишет в своем письме:

«Недавно прочитал я роман П. Д. Боборыкина «Василий Теркин». И, откровенно говоря, почувствовал большое смущение: что есть общего между его и вашим Василиями Теркиными? Чем похож ваш Вася Теркин — умный, веселый, бывалый советский солдат, действующий во время Великой Отечественной войны и с великим патриотизмом отстаивающий свою Советскую Родину,— на купца-пройдоху, выжигу и ханжу Василия Ивановича Теркина из романа Боборыкина? Так почему же вы выбрали для своего (да и нашего) героя такое имя, за которым уже скрывается определенный тип и который уже описан в нашей русской литературе? Неужели вами руководило соображение родственности этого, уже описанного, типа и со-

зданного вами? Но ведь это оскорбление для бывалого солдата Васи Теркина! Или это случайность?»

Сознаюсь, что о существовании боборыкинского романа я услыхал, когда уже значительная часть «Теркина» была напечатана, от одного из своих старших литературных друзей. Я достал роман, прочел его без особого интереса и продолжал свою работу. Этому совпадению имени Теркина с именем боборыкинского героя я не придал и не придаю никакого значения. Ничего общего между ними абсолютно нет. Возможно, что кому-нибудь из нас, искавших имя персонажа для фельетонов в газете «На страже Родины», подвернулось это сочетание имени с фамилией случайно, как запавшие в память из книги Боборыкина. И то сомневаюсь: нам нужен тогда был именно Вася, а не Василий; Васей же боборыкинского героя никак и не назовешь — это совсем иное. Что же касается того, почему я впоследствии стал именовать Теркина больше Василием, чем Васей, это опять дело особое. Словом, ни тени «заимствования» здесь не было и нет. Просто есть такая русская фамилия Теркин, хотя мне раньше казалось, что эту фамилию мы «сконструировали», отталкиваясь от глаголов «тереть», «перетирать» и т. п. И вот одно из первых писем моих корреспондентов по «Книге про бойца», когда она печаталась в газете Западного фронта:

«В редакцию «Красноармейской правды», поэту тов. А. Твардовскому.

Тов. Твардовский, спрашиваем вас: нельзя ли в вашей поэме заменить имя Василий на Виктор, так как Василий — мой отец, ему 62 года, а я сын его — Виктор Васильевич Теркин, командир взвода. Нахожусь на Западном фронте, служу в артиллерии. А потому, если можно, то замените, и результат прошу сообщить мне по адресу: п/п 312, 668 арт. полк, 2-й дивизион, Теркину Виктору Васильевичу».

Наверное, это не единственный из однофамильцев героя «Книги про бойца» [1].

Но возвращаюсь к «Теркину» периода боев в Финляндии.

Написать вступление к предлагаемой серии фельетонов было поручено мне — я должен был дать хотя бы самый общий «портрет» Теркина и определить, так сказать, тон, манеру нашего дальнейшего разговора с читателем. Перед этим я напеча-

---

[1] В 1964 году в ряде газет («Неделя», «Вечерняя Москва», «Советская торговля») печаталась обширная корреспонденция о Теркине Василии Семеновиче, работнике прилавка, бывшем фронтовике, в которой подчеркивались именно «теркинские» черты облика, характера и жизненной судьбы этого человека. *(Прим. автора.)*

тал в газете «На страже Родины» небольшое стихотворение «На привале», написанное под непосредственным впечатлением от посещения одной дивизии.

В этом стихотворении были, между прочим, такие строчки:

Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить...
На колесах прямо.

Для меня, до того времени не служившего в армии (если не считать короткого времени освободительного похода в Западную Белоруссию) и не писавшего ничего «военного», это стихотворение было первым шагом в освоении новой тематики, нового материала. Я был тут очень еще неуверен, держался своих привычных ритмов, тональности (в духе, скажем, «Деда Данилы»). И в своем вступлении к коллективному «Теркину» я обратился к этой ранее найденной интонации, которая в применении к новому материалу, новой задаче казалась мне наиболее подходящей.

Приведу некоторые строфы этого «начала» «Теркина»:

Вася Теркин? Кто такой?
Скажем откровенно:
Человек он сам собой
Необыкновенный.

При фамилии такой,
Вовсе неказистой,
Слава громкая — герой —
С ним сроднилась быстро.

И еще добавим тут,
Если бы спросили:
Почему его зовут
Вася — не Василий!

Потому, что дорог всем,
Потому, что люди
Ладят с Васей, как ни с кем,
Потому, что любят.

Богатырь, сажень в плечах,
Ладно сшитый малый.
По натуре весельчак,
Человек бывалый.

Хоть в бою, хоть где невесть,—
Но уж это точно:
Перво-наперво поесть
Вася должен прочно.

Но зато не бережет
Богатырской силы
И врагов на штык берет,
Как снопы на вилы.

И при этом, как ни строг
С виду Вася Теркин,—
Жить без шутки б он не мог
Да без поговорки...[1]

Замечу, что, когда я вплотную занялся своим ныне существующим «Теркиным», черты этого портрета резко изменились, начиная с основного штриха:

Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он *обыкновенный*...

И можно было бы сказать, что уже одним этим определяется наименование героя в первом случае Васей, а во втором — Василием Теркиным.

Все последующие иллюстрированные фельетоны, выполненные коллективом авторов, носили единообразные заголовки: «Как Вася Теркин...» Приведу полностью, к примеру, фельетон «Как Вася Теркин «языка» добыл»:

1. Снег глубок, а сосны редки.
Вася Теркин на разведке.
Белоснежен, без заплат
Маскировочный халат.

2. Теркин видит, Теркин слышит —
Белофинн летит на лыжах:
Знать, беды не чуя, он
Лезет прямо на рожон.

3. Теркин, взвесив обстановку,
Применяет маскировку:
Он уткнулся в снег ничком —
Стал похож на снежный ком.

4. Вид заманчивый «трамплина»
Привлекает белофинна.
Мчит он с маху на «сугроб»...

[1] «Вася Теркин на фронте».— Фронтовая библиотечка газеты «На страже Родины», «Искусство», Л. 1940.

5. Дальше хода нету, стоп!!
Так в разведке очень ловко,
Применивши маскировку,

6. Добыл Теркин языка
И доставил в штаб полка.

Может показаться, что я выбрал особо слабый образец, но и рассказы о том, «как Вася Теркин поджигателей в плен взял», которых он «бочками накрыл всех поодиночке и, довольный, закурил на дубовой бочке»; о том, как он «на лыжах донесение доставил», «пролетая леса выше, над бурливою рекой», «через горы, водопады мчась без удержу вперед»; о том, как из кабины вражеского самолета он «кошкой» вытянул «за штанину» шюцкоровца, и другие — все это производит теперь впечатление наивности изложения, крайней неправдоподобности «подвигов» Васи и не такого уж избытка юмора.

Я думаю, что тот успех «Васи Теркина», который у него был на финской войне, можно объяснить потребностью солдатской души позабавиться чем-то таким, что хотя и не соответствует суровой действительности военных будней, но в то же время как-то облекает именно их, а не отвлеченно-сказочный материал в почти что сказочные формы. Еще мне кажется, что немалую долю успеха нужно отнести на счет рисунков В. Брискина и В. Фомичева, исполненных как бы в мультипликационном стиле и нередко забавных по-настоящему.

К слову, неоднократно отмечалось, что иллюстрации О. Верейского к «Книге про бойца» очень слитны с ее стилем и духом. Это правда. Я лишь хочу сказать, что в отличие от «Васи Теркина» ни одна строка «Василия Теркина», иллюстрированного моим фронтовым товарищем художником О. Верейским, не была написана как текст к готовому рисунку, и мне даже трудно представить, как это могло бы быть. А с «Васей Теркиным» именно так и было, то есть задумывалась тема очередного фельетона, художники «разносили» ее на шесть клеток, выполняли в рисунках, а уже потом являлись стихи-подписи.

Отдав дань «Васе Теркину» одним-двумя фельетонами, большинство его «зачинателей» занялись, каждый по своим склонностям и возможностям, другой работой в газете: кто писал военно-исторические статьи, кто фронтовые очерки и зарисовки, кто стихи, кто что. Основным автором «Теркина» стал А. Щербаков, красноармейский поэт, давний работник редакции.

А успех у читателя-красноармейца «Теркин» имел больший, чем все наши статьи, стихи и очерки, хотя тогда к этому

успеху мы все относились несколько свысока, снисходительно. Мы по справедливости не считали это литературой. И по окончании войны в Финляндии, когда один из моих товарищей по работе в военной печати услышал от меня — в ответ на вопрос о том, над чем я теперь работаю,— что я пишу «Теркина», он лукаво погрозил мне пальцем: так, мол, я и поверил тебе, что ты станешь теперь этим заниматься.

Но я именно теперь думал, работал, бился над «Теркиным». «Теркин» — почувствовал я, по-новому обратившись к этой работе,— должен сойти со столбцов «уголков юмора», «прямых наводок» и т. п., где он до сих пор выступал под этим или иным именем, и занять не какую-то малую часть моих сил, как задача узкоспециального «юмористического» толка, а всего меня без остатка. Трудно сказать, в какой день и час я пришел к решению всеми силами броситься в это дело, но летом и осенью 1940 года я уже жил этим замыслом, который отслонил все мои прежние намерения и планы. Одно ясно, что это определялось остротой впечатлений пережитой войны, после которой уже невозможно было просто вернуться к своей обычной литературной работе.

«Теркин», по тогдашнему моему замыслу, должен был совместить доступность, непритязательность формы — прямую предназначенность фельетонного «Теркина» — с серьезностью и, может быть, даже лиризмом содержания. Думая о «Теркине» как о некоем цельном произведении, поэме, я старался теперь разгадать, ухватить тот «нужный момент изложения» (как выразился в письме ко мне недавно один из читателей), без которого нельзя было сдвинуться с места.

Недостаточность «старого» «Теркина», как это я сейчас понимаю, была в том, что он вышел из традиции давних времен, когда поэтическое слово, обращенное к массам, было нарочито упрощенным применительно к иному культурному и политическому уровню читателя и когда еще это слово не было одновременно самозаветнейшим словом для его творцов, полагавших свой истинный успех, видевших свое настоящее искусство в другом, отложенном на время «настоящем» творчестве.

Теперь было другое дело. Читатель был иной — это были дети тех бойцов революции, для которых Д. Бедный и В. Маяковский когда-то писали свои песни, частушки и сатирические двустишия,— люди поголовно грамотные, политически развитые, приобщенные ко многим благам культуры, выросшие при Советской власти.

Я прежде всего занялся, так сказать, освоением материала пережитой войны, которая была для меня не только первой войной, но и первой по-настоящему близкой встречей с людьми армии. В дни боев я глубоко уяснил себе, что называется прочувствовал, что наша армия — это не есть особый, отдельный от остальных людей нашего общества мир, а просто это те же советские люди, поставленные в условия армейской и фронтовой жизни.

Я перебелил мои карандашные записи из блокнотов в чистовую тетрадь, кое-что заново записал по памяти. Мне в этом новом для меня материале было дорого все до мелочей — какая-нибудь картинка, словесный оборот, отдельное словцо, деталь фронтового быта. А главное — мне были дороги люди, с которыми я успел повстречаться, познакомиться, поговорить на Карельском перешейке. Шофер Володя Артюх, кузнец-артиллерист Григорий Пулькин, танковый командир Василий Архипов, летчик Михаил Трусов, боец береговой пехоты Александр Посконкин, военврач Марк Рабинович — все эти и многие другие люди, с которыми я подолгу беседовал, ночевал где-нибудь в блиндаже или уцелевшем во фронтовой полосе переполненном доме, не были для меня мимолетным журналистским знакомством, хотя большинство из них я видел только раз и недолго. О каждом из них я же что-то написал — очерк, стихи,— и это само собой, в процессе той работы, заставляло меня разбираться в своих свежих впечатлениях, то есть так или иначе «усваивать» все связанное с этими людьми.

И, вынашивая свой замысел «Теркина», я продолжал думать о них, уяснять себе их сущность как людей первого пооктябрьского поколения.

«Не эта война, какая бы она ни была,— записывал я себе в тетрадку,— породила этих людей, а то большее, что было до войны. Революция, коллективизация, весь строй жизни. А война обнаруживала, выдавала в ярком виде на свет эти качества людей. Правда, и она что-то делала».

И еще:

«Я чувствую, что армия для меня будет такой же дорогой темой, как и тема переустройства жизни в деревне, ее люди мне так же дороги, как и люди колхозной деревни, да потом ведь это же в большинстве те же люди.

Задача — проникнуть в их духовный внутренний мир, почувствовать их как свое поколение (писатель — ровесник любому поколению). Их детство, отрочество, юность прошли в условиях Советской власти, в заводских школах, в колхозной де-

ревне, в советских вузах. Их сознание формировалось под воздействием, между прочим, и нашей литературы».

Я был восхищен их душевной красотой, скромностью, высокой политической сознательностью, готовностью прибегать к юмору, когда речь заходит о самых тяжких испытаниях, которые им самим приходилось встречать в боевой жизни. И то, что я написал о них в стихах и прозе,— все это, я чувствовал, как бы и то, да не то. За этими ямбами и хореями, за фразеологическими оборотами газетных очерков оставались где-то втуне, существовали только для меня и своеобразная живая манера речи кузнеца Пулькина или летчика Трусова, и шутки, и повадки, и ухватки других героев в натуре.

Я перечитывал все, что появлялось в печати, относящееся к финской войне,— очерки, рассказы, записи воспоминаний участников боев. С увлечением занимался всякой работой, которая так или иначе, пусть не в литературном собственно плане, касалась этого материала. Совместно с С. Я. Маршаком я обрабатывал появившиеся затем в «Знании» воспоминания генерал-майора Героя Советского Союза В. Кашубы. По заданию Политического Управления РККА выезжал с Василием Гроссманом в одну из дивизий, пришедших с Карельского перешейка, с целью создания ее истории. Между прочим, в рукописи истории этой дивизии нами изложен, со слов участников одной операции, эпизод, послуживший основой для написания главы будущего «Теркина».

Осенью 1940 года я съездил в Выборг, где стояла 123-я дивизия, в которой я находился в дни прорыва «линии Маннергейма»: мне нужно было посмотреть места боев, встретиться с моими знакомцами в дивизии. Все это — с мыслью о «Теркине».

Я уже начинал «опробовать стих» для него, нащупывать какие-то начала, вступления, запевы:

...Там за той рекой Сестрою,
На войне, в снегах по грудь,
Золотой Звездой героя
Многих был отмечен путь.
Там, в боях полубезвестных,
В сосняке болот глухих,
Смертью храбрых, смертью честных
Пали многие из них...

Именно этот размер — четырехстопный хорей — все более ощущался как стихотворный размер, которым нужно писать поэму. Но были и другие пробы. Часто четырехстопный хорей казался как бы слишком уж сближающим эту мою работу с при-

митивностью стиха «старого» «Теркина». «Размеры будут разные,— решил я,— но в основном один будет «обтекать». Были наброски к «Теркину» и ямбами, из этих «заготовок» как-то потом образовалось стихотворение: «Когда пройдешь путем колонн...»

«Переправа» начиналась, между прочим, и так:

Кому смерть, кому жизнь, кому слава,
На рассвете началась переправа.
Берег тот был, как печка, крутой,
И, угрюмый, зубчатый,
Лес чернел высоко над водой,
Лес чужой, непочатый.

А под нами лежал берег правый,—
Снег укатанный, втоптанный в грязь,—
Вровень с кромкою льда.
Переправа
В шесть часов началась...

Здесь налицо многие слова, из которых сложилось начало «Переправы», но этот стих у меня не пошел.

«Очевидно, что размер этот явился не из слов, а так «напелся», и он не годится»,— записывал я, отказываясь от этого начала главы. Я и теперь считаю, вообще говоря, что размер должен рождаться не из некоего бессловесного «гула», о котором говорит, например, В. Маяковский, а из слов, из их осмысленных, присущих живой речи сочетаний. И если эти сочетания находят себе место в рамках любого из так называемых канонических размеров, то они подчиняют его себе, а не наоборот, и уже являют собою не просто ямб такой-то или хорей такой-то (счет ударных и безударных — это же чрезвычайно условная, отвлеченная мера), а нечто совершенно своеобразное, как бы новый размер.

Первой строкой «Переправы», строкой, развившейся в ее, так сказать, «лейтмотив», проникающий всю главу, стало само это слово — «переправа», повторенное в интонации, как бы предваряющей то, что стоит за этим словом:

Переправа, переправа...

Я так долго обдумывал, представлял себе во всей натуральности эпизод переправы, стоившей многих жертв, огромного морального и физического напряжения людей и запомнившейся, должно быть, навсегда всем ее участникам, так «вжился» во все это, что вдруг как бы произнес про себя этот вздох-возглас:

Переправа, переправа...

И «поверил» в него. Почувствовал, что это слово не может быть произнесено иначе, чем я его произнес, имея про себя все то, что оно означает: бой, кровь, потери, гибельный холод ночи и великое мужество людей, идущих на смерть за Родину.

Конечно, никакого «открытия» вообще здесь нет. Прием повторения того или иного слова в зачине широко применялся и применяется и в устной и в письменной поэзии.

Но для меня в данном случае это было находкой: явилась строка, без которой я уже не мог обойтись. Я и думать забыл — хорей это или не хорей, потому что ни в каких хореях на свете этой строки не было, а теперь она была и сама определяла строй и лад дальнейшей речи.

Так нашлось начало одной из глав «Теркина».

В это примерно время мною было написано два-три стихотворения, которые скорее всего даже и не осознавались как «заготовки» для «Теркина», но впоследствии частично или полностью вошли в текст «Книги про бойца» и перестали существовать как отдельные стихи. Например, было такое стихотворение — «Лучше нет».

На войне, в пыли походной...

и т. д. до конца строфы, ставшей начальной строфой «Теркина».

Было стихотворение «Танк», посвященное танковому экипажу Героев Советского Союза товарищей Д. Диденко, А. Крысюка и Е. Кривого. Отдельные его строфы и строки оказались нужны при работе над главой «Теркин ранен».

Страшен танк, идущий в бой...

Некоторые дневниковые записи с весны 1941 года рассказывают о поисках, сомнениях, решениях и перерешениях в работе, может быть, даже лучше, чем если я говорю об этой работе с точки зрения своего сегодняшнего отношения к ней.

«Написано уже строк сто, но все кажется, что нет «электричества». Все обманываешься, что вот пойдет само и будет хорошо, а на поверку оно и в голове еще не сложилось. Нетвердо даже знаешь, чего тебе нужно. Концовка (Теркин, переплывший в кальсонах протоку и таким образом установивший связь со взводом) яснее перехода к ней. Надо, чтобы появление героя было радостным. Это нужно подготовить. Думал было заменить покамест это место точками, но, не справившись с труднейшим, не чувствуешь сил и для более легкого. Завтра буду вновь ломать».

«Начинал с неуверенной решимостью писать «просто», как-нибудь. Материал, казалось, такой, что, как ни напиши, будет хорошо. Казалось, что он и требует даже известного безразличия к форме, но это только казалось так. Пока ничего об этом не было, кроме очерков... Но и они уже отняли у меня отчасти возможность писать «просто», удивлять «суровостью» тем и т. п. А потом появляются другие вещи, книга «Бои в Финляндии»,— и это уже обязывает все больше. «Колорит» фронтовой жизни (внешний) оказался общедоступным. Мороз, иней, разрывы снарядов, землянки, заиндевелые плащ-палатки — все это есть и у А. и у Б. А нет того, чего и у меня покамест нет или только в намеке,— человека в индивидуальном смысле, «нашего парня»,— не абстрагированного (в плоскости «эпохи» страны и т. п.), а живого, дорогого и трудного».

«Если не высекать настоящих искорок из этого материала — лучше не браться. Нужно, чтобы было хорошо не в соответствии с некоей сознательной «простотой» и «грубостью», а просто хорошо — хоть для кого. Но это не значит, что нужно «утончать» все с самого начала (Б., между прочим, тем и плох, что не о читателе внутренне гадает, а о своем кружке друзей с его эстетическими жалкими приметами)».

«Начало может быть полулубочным. А там этот парень пойдет все сложней и сложней. Но он не должен забываться, этот «Вася Теркин».

«Больше должно быть предыдущей биографии героя. Она должна проступать в каждом его жесте, поступке, рассказе. Но не нужно ее давать как таковую. Достаточно ее продумать хорошо и представлять для себя».

«Трудность еще в том, что таких «смешных», «примитивных» героев обычно берут в пару, для контраста к герою настоящему, лирическому, «высокому». Больше отступлений, больше самого себя в поэме».

«Если самого не волнует, не радует, не удивляет порой хотя бы то, что пишешь,— никогда не взволнует, не порадует, не удивит другого: читателя, друга-знатока. Это надо еще раз хорошо почувствовать сначала. Никаких скидок самому себе на «жанр», «материал» и т. п.».

Двадцать второе июня 1941 года прервало все эти мои поиски, сомнения, предположения. Все это было той нормальной литературной жизнью мирного времени, которую нужно было тотчас оставить и быть ото всего этого свободным при выполнении задач, стоявших теперь перед каждым из нас. И я оставил свои тетрадки, наброски, записи, намерения и планы. Мне тогда

и в голову не пришло, что эта моя прерванная началом большой войны работа понадобится на войне.

Теперь я объясняю себе этот бесповоротный разрыв с замыслом, с рабочим планом еще и так. В моей работе, в поисках и усилиях, как ни глубоко было впечатление минувшей «малой войны», все же был грех литературности. Я писал в мирное время, моей работы никто особо не ждал, никто не торопил меня, конкретная потребность в ней как бы отсутствовала вовне меня. И это позволяло мне считать именно очень существенной стороной дела форму как таковую. Я был еще в какой-то мере озабочен и обеспокоен тем, что сюжет не представлялся мне готовым; что герой мой не таков, каким должен быть по литературным представлениям главный герой поэмы; что не было еще примера, чтобы большие вещи писались таким «несолидным» размером, как четырехстопный хорей, и т. п.

Впоследствии, когда я вдруг обратился к своему замыслу мирного времени, исходя из непосредственных нужд народной массы на фронте, я махнул рукой на все эти предубеждения, соображения и опасения.

Но покамест я просто свернул все свое писательское хозяйство для того, чтобы заниматься тем, чего неотложно и немедленно требует обстановка.

В качестве спецкорреспондента, а еще точнее сказать — в качестве именно «писателя» (была такая штатная должность в системе военной печати) я прибыл на Юго-Западный фронт, в редакцию газеты «Красная Армия», и стал делать то, что делали тогда все писатели на фронте.

Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки — все.

И когда в редакции возникла идея завести постоянный фельетон с картинками, я предложил «Теркина», но не своего, оставленного дома в тетрадках, а того, который со дней финской кампании был довольно известен в армии. У того Теркина было много «братьев» и «сверстников» в различных фронтовых изданиях, только они носили другие имена. В нашей фронтовой редакции также захотели иметь «своего» героя, назвали его Иваном Гвоздевым, и он просуществовал в газете вместе с отделом «Прямой наводкой», кажется, до конца войны. Несколько главок этого «Ивана Гвоздева» я написал в соавторстве с поэтом Борисом Палийчуком, никак опять же не связывая этой своей работы с намерениями мирного времени в отношении «Теркина».

На фронте один товарищ подарил мне толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете, но из бумаги «под карандаш» — плохой, шершавой, пропускающей чернила. В эту тетрадь я наклеивал или подкалывал мою ежедневную «продукцию» — вырезки из газеты. В обстановке фронтового быта, переездов, ночевок в пути, в условиях, когда всякий час нужно было быть готовым к передислокации и быть всегда в сборе, эта тетрадь, которую я держал в полевой сумке, была для меня универсальным предметом, заменявшим портфели, папки архива, ящики письменного стола и т. п. Она поддерживала во мне очень важное в такой жизни, хотя бы условное, чувство сохранности и упорядоченности «личного хозяйства».

Я в нее не заглядывал, пожалуй, с той самой поры и, перелистывая ее теперь, вижу, как много в той разнообразной по жанрам газетной работе, которой я занимался, было сделано для будущего «Теркина», без мысли об этом, о какой-нибудь иной жизни этих стихов и прозы, кроме однодневного срока газетной страницы.

«Иван Гвоздев» был в смысле литературного выполнения, пожалуй, лучше «Васи Теркина», но того успеха не имел. Во-первых, это дело было не в новинку, а во-вторых, и это главное, читатель был во многом иной. Война не была позиционной, когда досуг солдата, хотя бы и в суровых условиях военного быта, располагает к чтению и перечитыванию всего сколько-нибудь отвечающего интересам и вкусам фронтовика. Газета не могла с регулярностью попадать в части, которые находились, в сущности, на марше. Но еще более важно то, что умонастроения читательской массы определялись не просто трудностями собственно солдатской жизни, а всей огромностью грозных и печальных событий войны: отступление, оставление многими воинами родных и близких в тылу у врага, присущая всем суровая и сосредоточенная дума о судьбах родины, переживавшей величайшие испытания. Но все же и в этот период люди оставались людьми, у них была потребность отдохнуть, развлечься, позабавиться чем-то на коротком привале или в перерыве между огневым налетом артиллерии и бомбежкой. И «Гвоздева» читали, хвалили, газету смотрели, начиная с уголка «Прямой наводкой». Это был фельетон, посвященный определенному эпизоду боевой практики «казака Гвоздева» (в отличие от В. Теркина-пехотинца Гвоздев был — может быть, по условиям насыщенности фронта кавалерийскими частями — казаком).

Вот, например: «Как обед варить искусно, чтобы вовремя и вкусно» («Из боевых приключений казака Ивана Гвоздева»):

1

Бой в тот день кипел суровый.
Ранен повар. Как тут быть?
И приходится Гвоздеву
Для бойцов обед варить...
Взял он все на скору руку:
Как гласит один стишок,—
На приправу перцу, луку
И петрушки корешок.

2

Хорошо идет работа,
С говорком кипит вода.
Только вдруг из минометов
Начал немец бить сюда.
— Боем — бой, обед — обедом,
Все иное нипочем.
Мины рвутся? Я отъеду,
Сберегу котел с борщом.

3

Борщ досыта, чай до пота
Будет вовремя готов.
Глядь — накрыли самолеты,—
Залезай-ка в щель, Гвоздев.
Забирай с собой лукошко —
Ждут борща бойцы-друзья.
Пусть бомбежка, а картошку
С шелухой в котел — нельзя.

4

И случись же так для смеху,
На помеху так случись,—
В лес, куда Гвоздев отъехал,
С неба — скок! — парашютист.
Подсмотрел Гвоздев фашиста,
Поспешил котел прикрыть,
Приложился. Грянул выстрел...
— Не мешай обед варить.

5

Борщ поспел, крупа упрела,
Не прошло и полчаса.
И Гвоздев кончает дело:
Борщ готовый — в термоса.

Ничего, что свищут мины,
Не стихает жаркий бой.
Развернул шофер машину
И давай — к передовой.

6

На переднем нашем крае,
Примостившись за бугром,
Борщ отменный разливает
Повар добрым черпаком.
Кто ж сегодня так искусно,
Сытно, вовремя и вкусно
Накормить сумел бойцов?
Вот он сам: Иван Гвоздев.

Еще были высказывания от имени Ивана Гвоздева по разным актуальным вопросам фронтовой жизни. Вот, например, беседа о важности сохранения военной тайны: «О языке» («Сядь послушай слово казака Гвоздева»):

Каждый знать обязан,
Как затвор и штык,
Для чего привязан
У него язык...

Или «Приветственное слово к ребятам из Девяносто девятой от казака Гвоздева» по случаю награждения названной дивизии за успешные боевые действия. А вот фельетон на тему «Что такое сабантуй» («Из бесед казака Гвоздева с бойцами, прибывшими на фронт»):

Тем, кто прибыл с немцем драться,
Надо, как там ни толкуй,
Между прочим, разобраться:
Что такое «сабантуй»...

Это было поучение, довольно близкое по форме и смыслу соответствующей беседе Теркина, на ту же тему в будущей «Книге про бойца».

Откуда это слово в «Теркине» и что оно в точности означает? — такой вопрос очень часто ставится мне и в письмах, и в записках на литературных вечерах, и просто изустно при встречах с различными людьми.

Слово «сабантуй» существует во многих языках и, например, в тюркских языках означает праздник окончания полевых работ: сабан — плуг, туй — праздник.

Я слово «сабантуй» впервые услыхал на фронте ранней осенью 1941 года где-то в районе Полтавы, в одной части, державшей там оборону. Слово это, как часто бывает с привязчивыми словечками и выражениями, употреблялось и штабными командирами, и артиллеристами на батарее переднего края, и жителями деревушки, где располагалась часть. Означало оно и ложное намерение противника на каком-нибудь участке, демонстрацию прорыва, и действительную угрозу с его стороны, и нашу готовность устроить ему «угощение». Последнее ближе всего к первоначальному смыслу, а солдатскому языку вообще свойственно ироническое употребление слов «угощение», «закуска» и т. п. В эпиграфе к одной из глав «Капитанской дочки» А. С. Пушкин приводит строки старинной солдатской песни:

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку,
Зарядим картечью пушку.

Слово «сабантуй» мы с моим товарищем по работе в газете С. Вашенцевым привезли из этой поездки на фронт, и я употребил его в фельетоне, а С. Вашенцев — в очерке, который так и назывался: «Сабантуй».

В первые недели войны я написал как-то фельетон «Дело было спозаранку». Вместе с фельетоном о «сабантуе» и стихотворением «На привале», написанным в начале финской кампании, он послужил впоследствии как бы черновиком к главе «Теркина», также озаглавленной «На привале».

Дело было спозаранку,
Погляжу я...
— Ну и что ж?
— Прут немецких тыща танков...
— Тыща танков? А не врешь?
— Чтоб я врал тебе, дружище?
— Ты не врешь — язык твой врет.
— Ну, пускай себе не тыща,
Только было штук пятьсот...

Это — рифмованное переложение на фронтовой лад старой побасенки о лжеце со страху, образец той стихотворной импровизации, какая чаще всего выполнялась в один присест, по плану завтрашнего номера газеты. Так делался «Гвоздев» мною с Б. Палийчуком вместе. Затем серия «Про деда Данилу» —

мною одним по праву, так сказать, первоавторства, затем серия о немецком солдате — «Вилли Мюллер на востоке», в которой я совсем мало участвовал, переложения популярных песен — «Катюша», «По военной дороге» и иная всевозможная стихотворная мелочь.

Правда, в эти писания западало кое-что из живого изустного солдатского юмора, зарождавшихся и приобретавших широкое распространение словечек и т. п.

Но в целом вся эта работа, подобно «Васе Теркину», далеко не соответствовала возможностям и склонностям ее исполнителей и ими самими считалась не главной, не той, с которой они связывали более серьезные творческие намерения. И в редакции «Красной Армии», как и в свое время в газете «На страже Родины», наряду со всей специальной стихотворной продукцией появлялись стихи поэтов, причастных «Прямой наводке», но уже написанные с установкой на «полную художественность». И странное дело — опять же те стихи не имели такого успеха, как «Гвоздев», «Данила» и т. п. А что греха таить — и «Вася Теркин» и «Гвоздев», как и все подобное им во фронтовой печати, писались наспех, небрежно, с такими допущениями в форме стихов, каких ни один из авторов этой продукции не потерпел бы в своих «серьезных» стихах, не говоря уже об общем тоне, манере, рассчитанной как бы не на взрослых грамотных людей, а на некую выдуманную деревенскую массу. Последнее ощущалось все более, и наконец становилось невмоготу говорить таким языком с читателем, которого нельзя было не уважать, не любить. А вдруг остановиться, начать говорить с ним по-другому не было сил, не было времени.

Внутреннее удовлетворение мне больше доставляла работа в прозе — очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Пусть эти короткие, в двести — триста газетных строк, очерки далеко не вмещали всего того, что давало общение с человеком, о котором шла речь, но, во-первых, это было фиксацией живой человеческой деятельности, закреплением реального материала фронтовой жизни, во-вторых, здесь не нужно было шутить во что бы то ни стало, а просто и достоверно излагать на бумаге суть дела, и, наконец, мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, делавшие их подвиги известными всему фронту, заносившие их как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погиб, то и тут было важно посвятить его памяти свое описание, лишний раз упомянуть в

печатной строке его имя. Очерки чаще всего и озаглавливались именами бойцов или командиров, боевой работе которых они посвящались: «Капитан Тарасов», «Батальонный комиссар Петр Мозговой», «Красноармеец Саид Ибрагимов», «Сержант Иван Акимов», «Командир батареи Рагозян», «Сержант Павел Задорожный», «Герой Советского Союза Петр Петров», «Майор Василий Архипов» и т. д.

Из стихотворений, написанных в этот период не для отдела «Прямой наводкой», некоторые я до сих пор включаю в новые издания своих книжек. Это «Баллада о Москве», «Рассказ танкиста», «Сержант Василий Мысенков», «Когда ты летишь», «Бойцу Южного фронта», «Дом бойца», «Баллада об отречении» и другие. За каждым из этих стихотворений было памятное до сих пор для меня живое фронтовое впечатление, факт, встреча. Но и в то время я чувствовал, что собственно литературный момент как-то отдалял от читателя реальность и жизненность этих впечатлений, фактов, людских судеб.

Словом, чувство неудовлетворенности всеми видами нашей работы в газете постепенно становилось для меня личной бедой. Приходили мысли и о том, что, может быть, не здесь твое настоящее место, а в строю — в полку, в батальоне, в роте,— где делается самое главное, что нужно делать для Родины.

Зимой 1942 года у нас в редакции возникла мысль расширить отдел «Прямой наводкой» до отдельного еженедельного листка — приложения к газете. Я взялся написать как бы программную передовую в стихах для этого издания, которое, кстати сказать, по разным причинам просуществовало недолго. Вот вступительная часть этого стихотворения:

На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под зябким кровом —
Лучше нет простой, здоровой,
Прочной пищи фронтовой.

И любой вояка старый
Скажет попросту о ней:
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару —
Подобрей, погорячей.

Чтоб она тебя согрела,
Одарила, в кровь пошла,
Чтоб душа твоя и тело
Поднялися вместе смело
На хорошие дела.

Чтоб идти вперед, в атаку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя. Однако
Дело тут не только в щах...

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, по порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки.
Шутки самой немудрой...

Перед весной 1942 года я приехал в Москву и, заглянув в свои тетрадки, вдруг решил оживить «Василия Теркина». Сразу было написано вступление о воде, еде, шутке и правде. Быстро дописались главы «На привале», «Переправа», «Теркин ранен», «О награде», лежавшие в черновых набросках. «Гармонь» осталась в основном в том же виде, как была в свое время напечатана. Совсем новой главой, написанной на основе впечатлений лета 1941 года на Юго-Западном фронте, была глава «Перед боем».

Перемещение героя из обстановки финской кампании в обстановку фронта Великой Отечественной войны сообщило ему совсем иное, чем в первоначальном замысле, значение. И это не было механическим решением задачи. Мне уже приходилось говорить в печати о том, что собственно военные впечатления, батальный фон войны 1941—1945 годов для меня во многом были предварены работой на фронте в Финляндии. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первого дня отличила ее от каких бы то ни было иных войн и тем более военных кампаний.

Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия первоначального плана, обнимающего все произведение наперед, слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма — ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета — пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи — некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования — пусть, надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами этой моей работы,— мне стало весело и свободно. Как бы в шутку над самим собой, над своим замыслом я набросал строчки о том, что эта «книга про бойца, без начала, без конца». Действительно, было «сроку

мало начинать ее сначала»: шла война и я не имел права откладывать то, что нужно сказать сегодня, немедленно, до того времени, как будет изложено все по порядку, с самого начала.

Почему же без конца?!
Просто жалко молодца.

Мне казалось понятным такое объяснение в обстановке войны, когда конец рассказа о герое мог означать только одно — его гибель. Однако в письмах товарищей, не просто читателей «Теркина», а рассматривающих его, так сказать, в научном плане, было какое-то недоумение по поводу этих строк: не следует ли понимать их как-нибудь иначе? Не следует!

Но не скажу, что вопросы формы моего сочинения так-таки и не волновали меня больше с той минуты, как я отважился писать «без формы», «без начала и конца». Формой я был озабочен, но не той, какая мыслится вообще в отношении, скажем, жанра поэмы, а той, какая была нужна и постепенно в процессе работы угадывалась для этой собственно книги.

И первое, что я принял за принцип композиции и стиля,— это стремление к известной законченности каждой отдельной части, главы, а внутри главы — каждого периода, и даже строфы. Я должен был иметь в виду читателя, который хотя бы и незнаком был с предыдущими главами, нашел бы в данной, напечатанной сегодня в газете главе нечто целое, округленное. Кроме того, этот читатель мог и не дождаться моей следующей главы: он был там, где и герой,— на войне. Этой примерной завершенностью каждой главы я и был более всего озабочен. Я ничего не держал про себя до другого раза, стремясь высказаться при каждом случае — очередной главе — до конца, полностью выразить свое настроение, передать свежее впечатление, возникшую мысль, мотив, образ. Правда, этот принцип определился не сразу — после того, как первые главы «Теркина» были напечатаны подряд одна за другой, а новые потом уже появлялись по мере написания. Я считаю, что правильным и во многом определившим судьбу «Теркина» было мое решение печатать первые главы до завершения книги. Читатель мне помог написать эту книгу такой, какова она есть, об этом я еще скажу ниже.

Жанровое обозначение «Книги про бойца», на котором я остановился, не было результатом стремления просто избежать обозначения «поэма», «повесть» и т. п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, композиционные и иные признаки. У меня

не выходили эти признаки, а нечто все-таки выходило, и это нечто я обозначил «Книгой про бойца». Имело значение в этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова «книга» в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре. Если говорилось, бывало, среди крестьян, что, мол, есть такая-то книга, а в ней то-то и то-то написано, то здесь никак не имелось в виду, что может быть другая точно такая же книга. Так или иначе, но слово «книга» в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет серьезный, достоверный, безусловный.

И если я думал о возможной успешной судьбе моей книги, работая над ней, то я часто представлял себе ее изданной в матерчатом мягком переплете, как издаются боевые уставы, и что она будет у солдата храниться за голенищем, за пазухой, в шапке. А в смысле ее построения я мечтал о том, чтобы ее можно было читать с любой раскрытой страницы.

С того времени как в печати появились главы первой части «Теркина», он стал моей основной и главной работой на фронте.

Ни одна из моих работ не давалась мне так трудно поначалу и не шла так легко потом, как «Василий Теркин». Правда, каждую главу я переписывал множество раз, проверяя на слух, подолгу трудился над какой-нибудь одной строфой или строкой.

К примеру вспомнить, как складывалось начало главы «Смерть и воин», в стихотворном смысле «образовавшейся» из строчек старинной песни о солдате:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.
Ты добычи не дождешься,
Я солдат еще живой...

Сперва была запись, где стихи шли вперемежку с прозаическим изложением,— важно было «охватить» в целом картину:

Русский раненый лежал...

Теркин лежит на снегу, истекая кровью. Смерть присела в изголовье, говорит:

— Теперь ты мой.—
Отвечает: — Нет, не твой,
Я солдат еще живой.
— Ну,— говорит,— живой!
Шевельни хотя б рукой.—
Теркин тихо отвечает:
Соблюдаю, мол, покой...

Потом появилась начальная строфа:

В чистом поле, на пригорке,
Одинок, и слаб, и мал,
На снегу Василий Теркин
Неподобранный лежал.

Но тут не хватало приметы поля боя, и получалась слишком условно-песенная картина: «В чистом поле...» — и дальше просились слова: «под ракитой...» А мне нужна была при интонации, идущей от известной песни, реальность нынешней войны. Кроме того, вторая строчка не годилась — она была не проста, в ней больше было беллетристической, чем песенной характеристики. Тогда пришла строфа:

За далекие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Теркин
Неподобранный лежал.

Это не очень хорошо, но дает большую определенность места и времени: бой уже вдалеке, раненый уже долго лежит на снегу, он замерзает. И следующая строфа естественно развивает первую:

Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
— Ну, солдат, пойдем со мной.

Но в целом эта глава написалась легко и быстро: сразу были найдены ее основной тон и композиция [1]. А сколько было написано строк, переправленных десятки раз только затем иногда, чтобы выбросить их в конце концов, испытывая при этом такую же радость, как при написании новых удачных строк.

И все это, пусть даже было трудно, но не нудно, делалось всегда в большом душевном подъеме, с радостью, с уверенностью. Должен сказать вообще: по-моему, хорошо бывает то, что пишется как бы легко, а не то, что набирается с мучительной кропотливостью по строчечке, по словечку, которые то встанут

---

[1] Главе «Смерть и воин» в «Книге про бойца» принадлежит, между прочим, еще и та роль, что она ближайшим образом связывает «Василия Теркина» с опубликованным спустя много лет «Теркиным на том свете». В ней, этой главе, содержится внешняя сюжетная схема последней моей поэмы: Теркин, полумертвым подобранный на поле боя, возвращается к жизни из небытия, «с того света», картины которого составляют особое, современное содержание моего «второго Теркина». *(Прим. автора.)*

на место, то выпадут — и так до бесконечности. Но все дело в том, что добраться до этой «легкости» очень нелегко, и вот об этих-то трудностях подхода к «легкости» идет речь, когда мы говорим о том, что наше искусство требует труда. А если ты так-таки и не испытал «легкости», радости, когда чувствуешь, что «пошло», не испытал за все время работы над вещью, а только, как говорят, тащил лодку посуху, так и не спустив ее на воду, то вряд ли и читатель испытает радость от плода твоих кропотливых усилий.

В это время я работал уже не на Юго-Западном, а на Западном (3-м Белорусском) фронте. Войска фронта находились тогда, примерно говоря, на земле восточных районов Смоленской области. Направление этого фронта, которому предстояло в недалеком будущем освободить Смоленщину, определило некоторые лирические мотивы книги. Будучи уроженцем Смоленщины, связанный с нею многими личными, биографическими связями, я не мог не увидеть героя своим земляком.

С первых читательских писем, полученных мною, я понял, что работа моя встречена хорошо, и это придало мне сил продолжать ее. Теперь уже я не был с нею один на один: мне помогало теплое, участливое отношение читателя к ней, его ожидание, иногда его «подсказки»: «А вот бы еще отразить то-то и то-то»... и т. п.

В 1943 году мне казалось, что, в соответствии с первоначальным замыслом, «история» моего героя завершается (Теркин воюет, ранен, возвращается в строй), и я поставил было точку. Но по письмам читателей я понял, что этого делать нельзя.

В одном из таких писем сержант Шершнев и красноармеец Соловьев писали:

«Очень огорчены Вашим заключительным словом, после чего не трудно догадаться, что Ваша поэма закончена, а война продолжается. Просим Вас продолжить поэму, ибо Теркин будет продолжать войну до победного конца».

Получалось, что я, рассказчик, поощряемый моими слушателями-фронтовиками, вдруг покидаю их, как будто чего-то не досказав. И, кроме того, я не видел возможности для себя перейти к какой-то другой работе, которая бы захватила меня. И вот из этих чувств и многих размышлений явилось решение продолжать «Книгу про бойца». Я еще раз пренебрег литературной условностью, в данном случае условностью завершенности «сюжета», и жанр моей работы определился для меня как некая летопись не летопись, хроника не хроника, а именно «книга», живая, подвижная, свободная по форме книга, неот-

рывная от реального дела защиты народом Родины, от его подвига на войне. И я с новым увлечением, с полным сознанием необходимости моей работы принялся за нее, видя ее завершение только в победном завершении войны и ее развитие в соответствии с этапами борьбы — вступлением наших войск на новые и новые, освобождаемые от врага земли, с продвижением их к границам и т. д.

Еще одно признание. Примерно на середине моей работы меня было увлек-таки соблазн «сюжетности». Я начал было готовить моего героя к переходу линии фронта и действиям в тылу у противника на Смоленщине. Многое в таком обороте его судьбы могло представляться органичным, естественным и, казалось, давало возможность расширения поля деятельности героя, возможность новых описаний и т. д. Глава «Генерал» в своем первом напечатанном виде посвящена была прощанью Теркина с командиром своей дивизии перед уходом в тыл к врагу. Были опубликованы и другие отрывки, где речь уже шла о жизни за линией фронта. Но вскоре я увидел, что это сводит книгу к какой-то частной истории, мельчит ее, лишает ее той фронтовой «всеобщности» содержания, которая уже наметилась и уже делала имя Теркина нарицательным в отношении живых бойцов такого типа. Я решительно повернул с этой тропы, выбросил то, что относилось к вражескому тылу, переработал главу «Генерал» и опять стал строить судьбу героя в сложившемся ранее плане.

Говоря об этой работе в целом, я могу только повторить слова, что уже были сказаны мною в печати по поводу «Книги про бойца»:

«Каково бы ни было ее собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю».

Читатель-фронтовик, которого я за время нашего очного и заочного, через страницы печати, общения привык считать как бы своим соавтором — по степени его заинтересованности в моей работе,— этот читатель со своей стороны также считал «Теркина» нашим общим делом.

«Уважаемый Александр (не знаю, как по отчеству),— писал, например, боец Иван Андреев,— если Вам потребуется ма-

териал, могу сделать услугу. Год на передовой линии фронта и семь боев кое-чему научили и кое-что дали мне».

«Я слышал на фронте рассказ бойца о Васе Теркине, который не читал в Вашей поэме,— сообщал К. В. Зорин из Вышнего Волочка.— Может быть, он вас интересует?»

«Почему нашего Василия Теркина ранило? — спрашивали меня в коллективном письме Д. Калиберды и другие.— Как он попал в госпиталь? Ведь он так удачно сшиб фашистский самолет и ранен не был. Что он — простудился и с насморком попал в госпиталь? Так наш Теркин не таковский парень. Так нехорошо, не пишите так про Теркина. Теркин должен быть всегда с нами на передовой, веселым, находчивым, смелым и решительным малым... С приветом! Ждем скорее из госпиталя Теркина».

И много таких писем, где читательское участие в судьбе героя книги перерастает в причастность самому делу написания этой книги.

Задолго до завершения «Теркина» в редакции газет и журналов, где печатались очередные части и главы книги, стали поступать «продолжения» «Теркина» в стихах, написанных почти исключительно людьми, впервые пробующими свои силы в подобном деле. Одним из первых опытов была «третья часть» «Теркина», присланная гвардии старшим сержантом Кондратьевым, который в своем письме на имя редактора газеты «Красноармейская правда» писал:

«Тов. редактор!

Убедительно прошу извинить, если оторву несколько минут Вашего времени на мою поэму «Василий Теркин», 3-я часть. Прошу, конечно, согласовать с тов. Твардовским, как автором этой поэмы. Будучи на фронте, за последние 8—10 месяцев мне не приходилось читать новинки нашей литературы. Вот только в госпитале я увидел поэму о Теркине, хотя не читал первую часть. Не зная замысла автора и будущего Теркина, я дерзнул попробовать изобразить его как красноармейца, предполагая, что его в момент захвата селения не было в первых рядах, но он должен был как хотя бы и временным командиром проявить себя и стать примером...»

Курсант В. Угрюмов рассказывает в письме о своем «плане» описать второго Теркина, героя труда...

«Солдат приходит с войны,— пишет он,— но ему отдых (даже месяц отдыха после всех передряг) не по нутру. С первого дня он начинает работу. Встречается с замкомбатом, и вместе начинают руководить, работать. От бригадира полевой бригады

Теркин доходит до директора МТС. За доблестный труд представлен к высшей награде...

Вот, примерно, вкратце такой сюжет...»

Кроме «продолжений» «Теркина», большое место среди писем читателей, особенно в послевоенное время, занимают стихотворные послания к Василию Теркину, с настоятельными пожеланиями, чтобы «Книга про бойца» была мною продолжена.

Мне остается остановиться на этом, может быть наиболее трудном, пункте из трех, которые я наметил вначале.

В мае 1945 года была опубликована заключительная глава «Теркина» — «От автора». Она вызвала много откликов в стихах и прозе. Девяносто девять процентов их сводилось к тому, что читатели хотят узнать Теркина в условиях мирной трудовой жизни. Такие письма я получаю до сих пор, а иногда они адресованы не мне, а редакциям различных изданий, Союзу писателей, то есть организациям, которые, по мнению авторов писем, должны воздействовать на меня, так сказать, в общественном порядке.

В. Минеров из Пречистенского района на Смоленщине в сопроводительной к своим стихам «Розыск Теркина» приписке в адрес одной из московских редакций пишет: «Я очень прошу пропустить эти небрежные и грубые строки. Я не поэт, но пришлось потрудиться: призвать Твардовского к труду».

В пожеланиях и советах продолжать «Теркина» поле деятельности героя в мирных условиях определяется обычно родом занятий авторов писем. Одни желали бы, чтобы Теркин, оставшись в рядах армии, продолжал свою службу, обучая молодое пополнение бойцов и служа им примером. Другие хотят его видеть непременно вернувшимся в колхоз и работающим в качестве предколхоза или бригадира. Третьи находят, что наилучшее развитие его судьбы было бы в работе на какой-нибудь из великих послевоенных строек, например на сооружении Волго-Донского канала, и т. п.

Вот строфы, взятые из послания в стихах к герою книги от имени людей Советской Армии:

Где ж ты, наш Василий Теркин,
Вася Теркин, наш герой?
Или ты теперь не Теркин,
Или стал совсем другой?

О тебе мы часто помним,
Вспоминаем о былом,
О войне, как воевали,
Как покончили с врагом...

Но прошло четыре года,
Как настал войне отбой,
Как тебя средь нас не стало,
Что случилось, брат, с тобой?..

Может, ты ушел на стройку
Пятилетки боевой?
Но наш адрес ты ведь помнишь —
Он все тот же — полевой...

Но мы знали твой характер,
И уверены мы в том,
Что ты с нами будешь вместе
После всей войны большой

В нашей Армии трудиться,
Как в семье своей родной,
Ты ей можешь пригодиться,
У тебя ведь опыт свой...

Н. Матвеев

Автор послания выражает уверенность, что герой «Книги про бойца» находится в рядах армии. Другой корреспондент, курсант Ж. Ягупов, от лица самого Теркина утверждает это не без явного упрека в адрес автора книги:

Я готовый вам ответить,
Мой создатель, мой поэт,
Разрешите лишь заметить,
Где вы были столько лет?
Что-то Армию забыли.
И обидно очень мне:
Ведь когда-то мы служили
Вместе с вами на войне...
Я солдат хотя не гордый,
Но обидно мне, поэт...
Значит, Теркин, в битвах тертый,
Вдруг в отставку? Шутишь. Нет!
Я, брат, с Армией сроднился,
И в отставку мне нельзя...
. . . . . .
И поэтому простите,
Что, у вас я не спросив,
Стал курсантом. Как хотите,
Мне советовал актив.
Жить хотят со мной солдаты,
Говорят мне: мол, уважь...
Остаюся виноватым
Перед вами, Теркин Ваш.

В. Литаврин из Читы, также озабоченный послевоенной судьбой Теркина, допуская ее различные возможности, спрашивает:

Может, он сейчас в забое
Выполняет норму втрое,
Чем дают ему по плану?
Может быть, подходит к стану,
И с веселой поговоркой,
Всем известный Вася Теркин,
В прошлом доблестный солдат,
Он дает стальной прокат?..
Что же делает наш Теркин:
Посещает ли вечерки?
Иль женился уж давно?
Все пишите — все равно.
Может, он, мечту лелея,
Тихим утром средь аллеи
Внемлет песне соловья?
Иль давным-давно судья?
Иль герой он наших дней?
Иль играет он в хоккей?
Может, стал он комбайнером?
Или властвует над хором
И ведет он драмкружок?
Где ты, наш родной дружок?..

А вот А. И. Макаров в своем письме вроде подробной инструкции решительно предлагает мне «пустить» Теркина «на фронт сельского хозяйства».

«Пусть он,— рекомендует А. И. Макаров,— серьезно и с юмором расскажет и укажет колхозникам и колхозницам, трактористам и работникам МТС, совхозов:

1. Что продовольствие во всех видах... это физическая сила народа, бодрый дух народа...

2. Что изобилия продовольствия можно добиться своевременным посевом всех культур хорошими семенами, хорошей обработкой почвы, внесением удобрений, введением правильных многопольных севооборотов...

Следующий раздел... критика недостатков... по которым надо ударить... теркинским острым словцом:

1. По недобросовестной работе...

2. По плохому качеству сельхозмашин и запасных частей к ним.

3. По... небрежному... уходу за сельхозмашинами, инвентарем, рабочим скотом и сбруей.

4. По агрономам, которые... не сделали планов правильных многопольных севооборотов.

5. По виновникам, у которых на полях больше сорняков, чем колосьев.

6. По Министерству лесного хозяйства.

7. По руководителям рыбной промышленности».

И т. д.

А. И. Макаров представляет себе эту работу в виде объемистой брошюры-сборника... «Теркин в сельском хозяйстве». С иллюстрациями под отдельными заголовками (главами): «Теркин в колхозе, в совхозе, на молочной ферме, в птичнике, на плантациях табака, свеклы, во фруктовом саду, в огороде, на бахчах, на виноградниках, в Заготзерне, на элеваторе, на рыбных промыслах и прочее, и прочее.

Стоит, конечно, пригласить на это дело и помощников и поездить по колхозам и совхозам разных областей и по рыбопромыслам...

Помочь в этом деле вам готов во всем и всегда, в чем только смогу».

Уже само по себе такое многообразие пожеланий в отношении конкретной судьбы «послевоенного» «Теркина» ставило бы меня в крайне затруднительное положение.

Но дело, конечно, не в этом.

Я отвечал и отвечаю моим корреспондентам, что «Теркин» — книга, родившаяся в особой, неповторимой атмосфере военных лет, и что, завершенная в этом своем особом качестве, книга не может быть продолжена на ином материале, требующем иного героя, иных мотивов. Я ссылаюсь на строки из заключительной главы:

Песня новая нужна.
Дайте срок, придет она.

Однако новые и новые письма с предложениями и настоятельными советами написать «мирного» «Теркина», причем каждому корреспонденту, естественно, представляется, что он первым открыл для меня такую возможность, понуждают меня объясниться с читателями по этому поводу чуть-чуть подробнее.

«По-моему,— пишет И. В. Леньшин из Воронежской области,— Вы и сами чувствуете и Вам самим жаль, что Вы кончили писать Теркина. Надо бы еще его продолжить... написать, что делает Теркин сейчас...»

Но если бы это было даже и так, что я жалел бы о разлуке с «Теркиным», я все равно не мог «продолжать» его. Это означало бы «эксплуатировать» готовый, сложившийся и уже как-то отпечатлевшийся в сознании читателей образ, увеличивать количество строк под старым заглавием, не ища нового качества. Такие вещи в искусстве невозможны. Приведу один пример.

В той же газете «Красноармейская правда», где печатался «Теркин», печатались «Новые похождения бравого солдата

Швейка». Писал эту вещь мой товарищ по работе на фронте литератор М. Слободской. Это было «продолжение» произведения Я. Гашека, созданного на материале первой мировой войны. Успех «Новых похождений бравого солдата Швейка» объясняется, по-моему, во-первых, большой потребностью в такого рода занимательно-развлекательном чтении, во-вторых, конечно, тем, что знакомый образ был сатирически отнесен к условиям гитлеровской армии.

Но никому, я думаю, не пришло бы в голову продолжать это «продолжение» «Швейка» в послевоенное время. Более того, автор «Нового Швейка» после минувшей войны даже не нашел нужным издать его отдельной книжкой — нет такой книги, а была и есть книга Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Потому что книга Гашека была творческим открытием образа, а работа М. Слободского в данном случае была более или менее искусным использованием готового образа, что, вообще говоря, не может быть задачей искусства. Правда, история литературы знает примеры «использования готовых образов», как это мы встречаем, например, у Салтыкова-Щедрина, переносившего грибоедовского Молчалина или гоголевского Ноздрева в условия иной действительности — из первой во вторую половину XIX века. Но это оправдывалось особыми задачами сатирико-публицистического жанра, не столь озабоченного, так сказать, вторичной полнокровной жизнью этих образов как таковых, а использующего их характеристические, привычные для читателя черты в применении к иному материалу и в иных целях... [1]

Может быть, для отдельных читателей все эти пояснения излишни, но я имею здесь в виду главным образом тех читателей, которые с неизменной настойчивостью требуют продолжения «Теркина». Между прочим, им тем более непонятно мое «молчание», что «продолжение» им представляется не таким уж трудным.

В цитированном выше послании В. Литаврина так прямо и говорится:

Где наш Теркин, где Василий,—
Вы найдете без усилий,
Так как, знаю, для поэта
Малый труд — задача эта...

---

[1] Примерно так и можно объяснить теперь появление «Теркина на том свете», который отнюдь не есть «продолжение» «Василия Теркина», а вещь совсем иная, обусловленная именно «особыми задачами сатирико-публицистического жанра». Но об этом, возможно, впереди еще особый разговор с читателями. *(Прим. автора.)*

И Литаврин, как и другие, думающие так, совешенно прав. «Продолжить» «Теркина», написать несколько новых глав в том же плане, тем же стихом, с той же «натурой» героя в центре — действительно «малый труд — задача эта». Но дело в том, что именно эта очевидная легкость задачи лишила меня права и желания осуществить ее. Это значило бы, что я отказался от новых поисков, от новых усилий, при которых только и возможно сделать что-нибудь в искусстве, и стал бы переписывать самого себя.

А что задача эта, очевидно, не трудная, тому доказательством служат и сами «продолжения» «Василия Теркина», которые до сих пор имеют широкое распространение.

«Я недавно прочел Вашу поэму «Василий Теркин»...— пишет мне семнадцатилетний Юрий Морятов,— и я решил написать сам поэму «Василий Теркин», только:

Вы писали о том, как Вася
Дрался с немцем на войне,
Я пишу о пятилетке
И о Васином труде...»

Другой молодой поэт, Дмитрий Морозов, пишет «Открытое письмо Василия Теркина бывшим однополчанам» в плане освещения именно послевоенной судьбы героя:

В арсенал мой автомат
Сдан под смазкой жирной.
Я по форме — не солдат,
Перешел, как говорят,
К жизни новой, мирной.
Край наш древний — глушь да лес —
Весь преобразился,
Так сказать, большой прогресс
В жизни проявился.
Укрепились мы весной,
Зажили богато.
Как в атаку, словно в бой
Шли на труд солдаты.
Демобилизован я
В первый срок Указа,
Дом отстроил, и своя
Завелась теперь семья,
Или, скажем, база.
. . . . . .
Слава мирному труду!
Нынче будьте зорки.
Если что,— так я приду!
Шлю привет. В. Теркин.

Из «продолжений» и «подражаний» «Теркину», известных мне, можно было бы составить книгу, пожалуй, не меньшего

объема, чем существующая «Книга про бойца». Мне известны случаи печатных продолжений «Теркина».

Например, в нескольких номерах газеты «Звезда» на заводе в Перми печатался «Василий Теркин на заводе» Бориса Ширшова:

В новой летней гимнастерке
(Отпуск взять пришел черед)
Фронтовик Василий Теркин
Навестить решил завод.
Говорят, Василий Теркин
Из смоленской стороны,
А другие спорят: «В сборке
Он работал до войны».
Ну, а третьи не шутейно,
А серьезно говорят:
«Вася Теркин! Да в литейном
Вместе много лет подряд
Проработали». Короче,
Чтоб не спорить, скажем так:
Теркин нашим был рабочим,
Остальное все пустяк...

Главы «Теркин в сборочном цехе», «Теркин в инструментальном цехе», «Теркин в литейном цехе» и другие рассказывают об участии приезжего солдата в заводских делах, о его встречах с рабочими; собственные имена и конкретные факты производственной жизни, фактура привычной строфики и интонации стиха «Теркина».

Спорить с читателем — дело невыгодное, безнадежное, но объясниться с ним при нужде можно и должно. В порядке этого объяснения приведу еще такой пример.

Когда я написал «Страну Муравию» и опубликовал ее в том виде, как она есть до сих пор, то не только я, по молодости, но и многие другие товарищи считали, что это «первая часть». Предполагались еще две части, в которых путешествие Никиты Моргунка распространилось бы на колхозы юга страны и районы Урало-Кузбасса. Это представлялось обязательным, а главное — и трудов-то, казалось, не составляло больших: повествование развернулось, стиль и характер его определились — давай дальше. Но эта-то очевидная легкость и обязательность задачи насторожили меня. Я отказался от «продолжения» поэмы и до сих пор не жалею об этом.

«Василий Теркин» вышел из той полуфольклорной современной «стихии», которую составляют газетный и стенгазетный фельетон, репертуар эстрады, частушка, шуточная песня, раек и т. п. Сейчас он сам породил много подобного материала в прак-

тике газет, специальных изданий, эстрады, устного обихода. Откуда пришел — туда и уходит. И в этом смысле «Книга про бойца», как я уже отчасти говорил,— произведение не собственное мое, а коллективного авторства. Свою долю участия в нем я считаю выполненной. И это никак не ущемляет мое авторское чувство, а, наоборот, очень приятно ему: мне удалось в свое время потрудиться над выявлением образа Теркина, который приобрел, как свидетельствуют письменные и устные отзывы читателей, довольно широкое распространение в народе.

В заключение хочу от всего сердца поблагодарить моих корреспондентов за их письма о «Теркине», как те, что содержат в себе вопросы, советы и замечания, так и те, что, просто выражают свое доброе отношение к этой моей работе.

* * *

За годы после опубликования этой статьи «теркинская почта» принесла множество новых читательских откликов. Они приходили и приходят по случаю то нового издания «Книги про бойца», то очередной радиопередачи «Василий Теркин» в исполнении покойного Д. Н. Орлова, то постановки одноименного спектакля в профессиональных театрах (сценическая композиция К. Воронкова) и на сцене армейской самодеятельности, наконец, по случаю появления в печати других моих книг.

Среди этих откликов большое место занимает такой активный вид читательского участия в судьбе книги, как многочисленные «самодеятельные» инсценировки, сценарии или их либретто по «Теркину», не говоря уже о настоятельных предложениях такого рода автору книги.

Но, пожалуй, еще более активной формой читательского отношения к герою книги является стремление как бы продлить его сегодняшнюю жизнь, перенести его из фронтовой обстановки в условия мирного послевоенного труда. Статья, объясняющая, почему автор воздерживается от «продолжения» этой своей книги на новом материале, отнюдь не уменьшила такие читательские требования и пожелания. Но стихотворные послания — призывы к продолжению «Теркина» его автором решительно уступили главное место «продолжениям» «Книги про бойца» самими читателями, пусть даже людьми с некоторыми затаенными или явными литературными претензиями, но, во всяком случае, не литераторами-профессионалами.

Вслед за Теркиным — курсантом военного училища появляются: Теркин — зенитчик ПВО; Теркин — демобилизованный,

едущий на строительство Братской ГЭС; Теркин в электрокузнечном цехе; Теркин на целине; Теркин — милиционер... Появляются «сыновья» и «племянники» Теркина — годы идут, и даже возраст героя в соответствии с интересами молодых читателей претерпевает такого рода «поправки».

Некоторые из этих «Теркиных» печатались: «Василий Теркин в ПВО» старшего лейтенанта Е. Чумакова — в газете «На боевом посту»; «Яша Теркин» М. Ивановой — «Трудовые резервы» (Алма-Ата); «Теркин в пожарных войсках» — «Тревога» (Харьков) и др. [1]

Литературные достоинства этих «продолжений», как напечатанных, так и рукописных, иногда весьма больших по объему, конечно, условны — их прямая зависимость от «Книги про бойца» не только в заимствовании основного образа, но и во всей фактуре стиха очевидна. Да она и не маскируется их авторами, не выдается за что-нибудь иное, чем газетный, стенгазетный или эстрадный материал местного или «отраслевого» назначения. Во всяком случае, побуждения этих авторов трогательны и бескорыстны.

Словом, именно так: образ Теркина «откуда пришел — туда и уходит» — в современную полуфольклорную поэтическую «стихию». И такое коллективное «продолжение» «Теркина» может меня только радовать и вызывать во мне только чувство дружеской признательности к моим многочисленным, так сказать, соавторам по «Теркину».

Но совсем, конечно, иные чувства вызывает один особый случай «продолжения» «Книги про бойца» — в целях, глубоко чуждых образу Теркина, и способом, не имеющим даже отдаленного сходства с общепринятыми понятиями литературного дела.

Я имею в виду изданную в Нью-Йорке книгу некоего С. Юрасова «Василий Теркин после войны» с обозначением в скобочках: «По А. Твардовскому». Этот «соавтор» отнюдь не является неискушенным начинающим, и это его произведение не есть простодушная «проба пера» — ему принадлежит, например, объявленный на обложке этого издания автобиографический роман «Враг народа», в котором изображен «портрет советского майора Федора Панина, решившего порвать с большевизмом и стать эмигрантом».

---

[1] За последние два-три года, в связи с выходом в свет «Теркина на том свете», количество подражаний и продолжений в моем «Теркинском архиве», пожалуй, удвоилось, причем тематика их и полемическая или иная направленность определялась уже содержанием этого второго «Теркина». *(Прим. автора.)*

С. Юрасов делает вид, что вполне буквально понял мои слова в «Ответе читателям» о том, что в известном смысле «Книга про бойца» произведение не собственное мое, а коллективного авторства. Он так и пишет:

«Часть книги «Василий Теркин после войны» состоит из того, что я слышал в армии и в Советском Союзе. Некоторые места этой части совпадают с отдельными местами у А. Твардовского, но имеют совсем иной смысл. Что здесь является подражанием безыменных «Теркиных» поэту, а что, наоборот, принадлежит фольклору и было использовано А. Твардовским,— сказать трудно».

«Можно сказать,— продолжает Юрасов,— что «Василий Теркин» такой, каким он живет и поныне создается в гуще солдатских и народных масс,— это свободное народное творчество».

Представив дело таким образом, Юрасов присваивает себе право на полную «свободу» в обращении с текстом моего «Василия Теркина».

Открываем первую страницу книги:

По которой речке плыть,—
Той и славушку творить...

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Но еще не знал я, право,
Что с печатного столбца
Всем придешься ты по нраву,
А иным войдешь в сердца...

И так далее, и так далее — строфа за строфой, все в точности «по Твардовскому», если не считать, что, например, строка «С первых дней годины горькой» заменена неудобопроизносимой «С дней войны, с годины горькой», а строка «Но еще не знал я, право» — «И никто не думал, право...» Так до третьей страницы, где вслед за моей строкой «Может, с Теркиным беда?» вдруг идет строфа целиком юрасовского изготовления:

— Может, в лагерь посадили —
Нынче Теркиным нельзя...
— В сорок пятом,— говорили,—
Что на Запад подался...

Эта кощунственная попытка судьбу заслуженного советского воина, героя-победителя уподобить — хотя бы предположитель-

но — своей презренной биографии перебежчика, изменника родины, естественно, способна вызвать только омерзение, которое не позвляет останавливаться на всех приемах этой бесстыдной фальсификации.

Работа грубая. Берется, например, из главы «Поединок» вся, так сказать, техническая сторона рукопашной Теркина с немцем и при помощи кое-как слепленных от себя строчек и строф выдается за рукопашную Теркина с... милиционером. В сравнении с этим покраска ворами-автомобилистами украденной машины в другой цвет и замена номерного знака представляется делом куда более благовидным.

Юрасов «цитирует» меня строфами, периодами и целыми страницами, однако нигде не ставит кавычек, полагая, что его «добавления» и «замены» дают ему право как угодно пользоваться общеизвестным, столько раз переизданным текстом советской книги в его низких антисоветских целях. Показательно, что этот человек, пошедший «в услужение» буржуазному миру, где высшим божеством является частная собственность, начисто пренебрег принципом литературной собственности, которая в нашем социалистическом обществе как раз охраняется законом, являясь понятием в первую очередь моральным.

Впрочем, чему еще удивляться, если издатели антихудожественной стряпни Юрасова не стесняются называть свое заведение в Нью-Йорке именем одного из величайших и благороднейших русских писателей — А. П. Чехова, как это указано на обложке воровской, поддельной книги С. Юрасова.

1951—1966

О «СТРАНЕ МУРАВИИ»

«Страну Муравию» я написал в 1934—1936 годах, и ее первое отдельное издание вышло в 1936 году в смоленском издательстве. Жил я тогда в Смоленске, областном центре моего родного края, учился в педагогическом институте и одновременно сотрудничал в местных газетах: «Рабочем пути» и «Смоленской деревне».

Эта поэма была пятой моей книгой. Я до нее издал уже поэмы «Путь к социализму» и «Вступление», книжку прозы «Дневник председателя колхоза» и «Сборник стихов». Все это было посвящено исключительно занимавшей меня тогда тематике колхозного строительства. Я много ездил в качестве газетного работника, писал корреспонденции, очерки, статьи, стихи

и рассказы. Во всех тогдашних делах деревни я разбирался порядочно,— не только потому, что сам происходил из деревни, но особенно потому, что все происходившее там в годы «великого перелома» составляло для меня самый острый интерес и задачу жизни. Эта революция в сельском хозяйстве, во всем жизненном укладе миллионов явилась для меня в юности примерно тем, чем для старшего поколения наших людей были Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война.

Все написанное и напечатанное в эти годы, а также мои рабочие записи и незаписанные впечатления поездок, встреч и т. п.— все это было как бы подготовкой к «Стране Муравии».

Но задумал я эту вещь под непосредственным воздействием извне, она была мне подсказана А. А. Фадеевым, хотя эта подсказка не была обращена ко мне лично и не имела в виду жанр поэмы. Началом своей работы над «Муравией», первым приступом к ней я считаю 1 октября 1934 года, когда я занес в свой дневник следующую выписку из появившейся в печати речи Фадеева:

«Возьмите 3-й том «Брусков» — «Твердой поступью». Там есть одно место о Никите Гурьянове, середняке, который, когда организовали колхоз, не согласился идти в колхоз, запряг клячонку и поехал на телеге по всей стране искать, где нет индустриализации и коллективизации. Он ездил долго, побывал на Днепрострое, на Черноморском побережье, все искал места, где нет колхоза, нет индустрии,— не нашел. Лошаденка похудела, он сам осунулся и поседел. Оказалось, что у него нет другого пути, кроме колхозного, и он вернулся к себе в колхоз в тот самый момент, как председатель колхоза возвращался домой из какой-то командировки на аэроплане. Все это рассказано Панферовым на нескольких страничках среди другого незначительного материала. А между тем можно было бы всего остального не писать, а написать роман именно об этом мужике, последнем мелком собственнике, разъезжающем по стране в поисках угла, где нет коллективного социалистического труда, и вынужденного воротиться в свой колхоз — работать со всеми. Если внести сюда элементы условности (как в приключениях Дон-Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями,— то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы

«Дон-Кихота», ибо превращение ста миллионов собственников в социалистов более серьезное дело, чем замена феодалов буржуазией».

Значение этого совета и призыва старшего писателя было, конечно, не в том, чтобы я так-таки и вознамерился написать произведение, которое затмило бы «Дон-Кихота». Кстати сказать, это выражение Фадеева — отголосок наивной «теории» «догнать и перегнать классиков», имевшей хождение в те годы в литературных кругах.

Дело было просто в том, что я очень горячо воспринял возможность этого сюжета, взятого из книги одного писателя и изложенного в таком духе другим писателем, для выражения того личного жизненного материала, которым я располагал в избытке, для осуществления настоятельной потребности, одолевавшей тогда меня: рассказать, что я знаю о крестьянине и колхозе.

Эта история замысла «Муравии», на мой взгляд, имеет некоторый интерес, хотя бы как один из примеров многообразных связей и взаимовлияний в нашей советской литературе.

Мною для «Страны Муравии» был взят этот сюжетный мотив (мужик, отправляющийся на своем коне в поиски страны, где нет колхозов), хотя далеко не в том плане обширного романа-путешествия, как толковал его Фадеев. Кроме того, взято название «Страна Муравия» — так у Панферова названа страна, которую искал Никита Гурьянов. Совпадает также имя моего героя с именем Гурьянова, фамилия же — Моргунок — это прозвище одного крестьянина, жившего в соседней деревне, приятеля моего отца.

Что же такое в изначальном смысле этих слов «Страна Муравия»? Я получаю от читателей и особенно от учащихся средней школы и преподавателей родного языка и литературы много писем с просьбой пояснить это слово или подтвердить те догадки и толкования, которые предлагались в этих письмах. Примерно: не есть ли это Моравия, область, расположенная в Чехословакии? Не один ли у этого слова корень со словом «муравей» и не символизирует ли оно дружную коллективную работу и жизнь, подобную муравьиной семье? Не происходит ли оно от слова «мурава» — трава-мурава, рождая представление о весенней благодатной зелени травы и всходов?

Мне кажется, что последнее предположение не противоречит духу и смыслу этого наименования, но слово Муравия, вообще говоря, не выдумано. Оно взято из крестьянской мифологии и означает скорее всего некую конкретизацию вековечной мужицкой мечты, мечтаний и легендарных слухов о «вольных землях»,

о благодатных далеких краях, где текут молочные реки в кисельных берегах и т. п.

Происхождение названия «Муравия» от слова мурава (трава) подтверждается и заметками в Большой советской энциклопедии и у «Брокгауза и Ефрона», на которые мне указал мой земляк — старый литератор Н. С. Каржанский. Там, между прочим, сказано: «Муравский шлях — один из главных путей, которым пользовались крымские татары в XVI—XVII вв., совершая набеги на Русское государство. Муравский шлях шел от Перекопа к Туле по безлюдной, поросшей травой (муравой) степи, минуя переправы через большие реки...» (БСЭ); «На месте его и теперь существует большая проезжая дорога, называемая до сих пор у г. Ливен Муравкою» («Брокгауз и Ефрон»). Любопытно отметить, что в китайском переводе эта моя поэма названа «Страною зеленой свежести».

Сознанию Моргунка, как и сознанию панферовского героя в указанном эпизоде его книги, Муравия представляется страной мужицкого, хуторского собственнического счастья в противоположность колхозу, как такому устройству жизни, где человек будто бы лишен «независимости», «самостоятельности», где «всех стригут под один гребешок», как это внушали среднему крестьянину в первые годы коллективизации враждебные ей люди — кулаки и подкулачники.

Возвращение Моргунка, убедившегося на фактах новой действительности, что нет и не может быть хорошей жизни вне колхоза, придавало наименованию «Страна Муравия» уже новый смысл — Муравия как та «страна», та колхозная счастливая жизнь, которую герой обретает в результате своих поисков.

Кстати, Борис Полевой сообщил мне, что в Сосновоборском районе Пензенской области до недавней поры укрупнения колхозов существовал колхоз «Страна Муравия». Наименование это было присвоено колхозу, во главе которого стоял местный учитель, по-видимому, в конце тридцатых годов, в связи с появлением в печати «Страны Муравии».

1953—1959

ПРИМЕЧАНИЯ

Основным источником биографических сведений о Твардовском является его «Автобиография», неоднократно публиковавшаяся в последовательно дополнявшихся вариантах, начиная с 1947 года. Эта автобиография приложена и к настоящему изданию. Как сообщает поэт, стихи он начал писать «до овладения первоначальной грамотой». С 1924 г. начал печататься как селькор в смоленских газетах и в 1925 г. опубликовал в смоленской газете свое первое стихотворение; с 1927 г. более или менее регулярно печатается в местной смоленской, а с 1929 г.— в центральной печати. С 1928—1929 гг. уже вполне определяется собственная манера поэта, хотя сам он «начинает счет своим писаниям» только со «Страны Муравии» (1934—1936 гг.).

Первое отдельное издание стихов Твардовского датировано 1931 г. (поэма «Путь к социализму»), после чего книги его стихов и поэм издавались многократно. Как наиболее существенные и важные издания, кроме отдельных изданий поэм, должны быть отмечены следующие:

«Дневник председателя колхоза», Смоленск, Зап. обл. изд., 1932 (первое прозаическое произведение Твардовского);

«Дорога. Стихи. 1934--1935», Гослитиздат, М. 1938;

«Сельская хроника. Стихи (1937—1938)», «Советский писатель», М. 1939;

«Загорье. Стихи», «Советский писатель», М. 1941;

«Избранные стихи», «Правда», М. 1940 (Библиотека «Огонька»);

«Избранные стихи», Воениздат, М. 1941 (Библиотечка красноармейца);

«Из фронтовых стихов», «Правда», М. 1941 (Библиотека «Огонька»);

«Юго-Западный фронт. Стихи. 1941—1942», «Молодая гвардия», М.;

«Фронтовая хроника», «Советский писатель», М. 1945;

«Поэмы», «Советский писатель», М. 1947 (1950 — второе, 1957 — третье, 1963 — четвертое изд.);

«Избранные стихотворения и поэмы», Гослитиздат, М. 1947;

«Родина и чужбина. Рассказы», Смоленск, 1947;

«Книга лирики (1934—1949)», «Советский писатель», М. 1949;

«Стихотворения и поэмы» в двух томах, Гослитиздат, М. 1951 (1954— второе, 1957 — третье изд.);

«Послевоенные стихи. 1945—1952», «Молодая гвардия», М. 1952;

«Родина и чужбина. Записки. Очерки. Рассказы», «Советский писа-

тель», М. 1959 (новое, значительно дополненное издание прозы по сравнению с изданием 1947 г.; 1960 — второе изд.);

«Стихи из записной книжки. 1936—1958», «Правда», М. 1959 (Библиотека «Огонька»);

«Собрание сочинений» в четырех томах, Гослитиздат, М. 1959—1960;

«Статьи и заметки о литературе», «Советский писатель», М. 1961 (1963 — второе изд.);

«Книга лирики. Избранные стихотворения. 1933—1961», «Советская Россия», М. 1962;

«Слово о Пушкине», «Советская Россия», М. 1962;

«Избранная лирика», «Молодая гвардия», М. 1964 (1968—второе изд.).

«Книга лирики», «Советский писатель», М. 1967.

С 1966 г. в издательстве «Художественная литература» выходит собрание сочинений Твардовского в пяти томах. К настоящему времени вышло четыре тома: том 1 — Стихотворения (1926—1965) (Сельская хроника. Фронтовая хроника. Послевоенные стихи), М. 1966; том 2 — Поэмы (Страна Муравия. Василий Теркин), М. 1966; том 3 — Поэмы (Дом у дороги. За далью — даль. Теркин на том свете. Стихи из записной книжки), М. 1967; том 4 — Рассказы и очерки (Дневник председателя колхоза. По колхозной Смоленщине. Родина и чужбина. Послевоенные рассказы и очерки), М. 1967. В готовящийся 5 том входят избранные критические и публицистические статьи. Это издание является в настоящее время основным, хотя и далеко не полным, собранием сочинений Твардовского.

Публикации отдельных произведений Твардовского в различных периодических и непериодических изданиях нет возможности даже бегло перечислить. Отметим лишь, что в последние годы А. Твардовский опубликовал в различных изданиях (главным образом, в журнале «Новый мир») ряд стихотворений, статей, отрывков из дневников, не вошедших в указанные выше издания. Последний большой цикл стихотворений Твардовский опубликовал в журнале «Новый мир», 1969, № 1.

Настоящее издание избранных стихотворений и поэм Твардовского сделано по тексту последнего собрания сочинений, пересмотренному автором, с добавлением стихотворений, появившихся в печати после выхода томов собрания сочинений.

Приведенный список важнейших изданий Твардовского, при всей его неполноте, дает некоторое представление о популярности его творчества. Общий тираж только отдельных изданий в СССР в настоящее время значительно превосходит 10 млн. экземпляров. К этому следует добавить, что почти все произведения Твардовского публиковались также в периодических изданиях, а многие из них — в самых массовых изданиях, начиная с газет «Правда», «Известия», а также в «Роман-газете», Библиотеке «Огонька» и т. п.

Произведения Твардовского изданы на всех основных языках на-

родов СССР и, кроме того, на албанском, английском, арабском, болгарском, испанском, итальянском, китайском, корейском, немецком, польском, португальском, румынском, сербскохорватском, словацком, финском, французском, чешском, японском и других языках.

Литература о Твардовском обширна: несколько монографий, десятки диссертаций, многие сотни статей, многие тысячи упоминаний в книгах и статьях на различные темы, специальные главы или крупные разделы во всех сводных работах и учебных пособиях о советской литературе последнего сорокалетия. Укажем только отдельные книги о Твардовском.

Еселев Н., Поэзия Александра Твардовского, «Знание», М. 1954.

Любарева Е., Александр Твардовский. Критико-биографический очерк, «Советский писатель», М. 1957 (первая монографическая сводка).

Воробьев В. Т., Идейное содержание и художественные особенности поэм А. Твардовского, Одесса, 1957.

Выходцев П. С., Александр Твардовский, «Советский писатель», М. 1958.

Выходцев П. С., А. Т. Твардовский. Семинарий, Учпедгиз, М. 1960.

Турков А., Александр Твардовский, Гослитиздат, М. 1960.

Маршак С., Ради жизни на земле. Об Александре Твардовском, «Советский писатель», М. 1961.

Любарева Е., Поэма А. Твардовского «За далью — даль», Гослитиздат, М. 1962.

Рощин П. Ф., Поэма А. Твардовского «Василий Теркин». Пособие для учителей, Учпедгиз, 1956; второе доп. изд. 1959.

Котов М. П., В мастерской стиха Твардовского. Статьи и заметки, Саратов, 1963.

Рощин П. Ф., Александр Твардовский, «Просвещение», М. 1966.

Из перечисленных работ две монографии П. Выходцева до сих пор остаются наиболее обстоятельными исследованиями. Они написаны с любовью и тщательностью, содержат большой фактический материал (в частности, по истории публикаций Твардовского и литературы о нем) и являются необходимыми пособиями, хотя в трактовке народности поэзии сказались некоторые упрощенные схемы.

Правильное понимание и оценка творчества Твардовского далеко не сразу сложились в нашей критической литературе. Это относится особенно к самому раннему периоду — до «Страны Муравии», когда некоторые критики и литературные деятели обвиняли молодого поэта во всяких грехах — вплоть до «барства», и даже в «кулацких тенденциях». И уже после выхода «Страны Муравии» и даже после «Василия Теркина» появлялись статьи и высказывания, в которых поэту приписывались крестьянская ограниченность, неумение увидеть «черты нового, отличающие нашего колхозника от прежнего крестьянина, бойца Советской Армии от русского солдата былых времен» и т. д.

Для периода 40—50-х годов наибольшее значение в установлении правильного взгляда на творчество Твардовского имели работы В. Александрова и А. Тарасенкова, а также А. Макарова, В. Асмуса и др.

А. Тарасенков был автором первых специальных статей о Твардовском в центральной печати, опубликованных еще в начале 30-х годов (см. например, А. Тарасенков, Борьба за простоту (О творчестве Александра Твардовского), «Молодая гвардия», 1933, № 11), и затем до самой своей смерти (в 1956 году) был одним из горячих пропагандистов его творчества. Обобщающая статья Тарасенкова — «Александр Твардовский» — напечатана в сборнике его статей «Сила утверждения» (1955). Большая статья В. Александрова — «Три поэмы Твардовского (1946—1950)» — о «Стране Муравии», «Василии Теркине» и «Доме у дороги» (см. В. Александров, Люди и книги, «Советский писатель», М. 1950) является по сути блестящим кратким монографическим исследованием творчества поэта. Основные мысли этой статьи прочно вошли в литературу о Твардовском. Статьи Тарасенкова, Александрова и некоторых других критиков много сделали для защиты поэзии Твардовского от всяких вульгаризаторских наскоков. В деле правильного понимания и оценки творчества Твардовского большую роль сыграли выступления таких поэтов, как М. Исаковский, С. Маршак, Н. Асеев.

В связи с 50-летием поэта в 1960 году появился ряд статей, освещавших в целом его творческий путь. В частности, статья М. Исаковского «Наш самый лучший поэт» (перепечатанная в книге Исаковского «О поэтах, о стихах, о песнях», «Советский писатель», М. 1968); Н. Рыленкова «Поэзия Александра Твардовского» («Молодая гвардия», 1960, № 6); Ю. Буртина «Из наблюдений над стихом Твардовского» («Вопросы литературы», 1960, № 6); А. Македонова «Всегда с народом» («Рабочий путь», 1960, № 145, 21 августа). В этом же году вышла небольшая содержательная книга А. Туркова, названная выше.

Объем литературы о Твардовском все увеличивался с появлением новых произведений поэта. Критики единодушно отмечали общее значение творчества поэта, в особенности его основных поэм, значение творчества Твардовского в развитии народности и реализма нашей советской поэзии. Особенно ценной представляется книга С. Маршака (1961), а также статьи и диссертация Ю. Буртина. Книга Маршака — это книга замечательного поэта и замечательного читателя о любимом поэте, полная множеством интересных и тонких наблюдений. Очень значительна также небольшая, более поздняя статья Маршака о Твардовском — «Служба жизни» («Юность», 1964, № 9). Здесь дана оценка и очень выпуклая характеристика всего творчества поэта: «Народ как бы заговорил о себе сам. Такова поэзия Твардовского... Сильная, полнокровная, не боящаяся грубой прозы жизни и в то же время необыкновенно сложная и тонкая...»

Ряд интересных наблюдений содержится и в других статьях и книгах 60-х годов: В. Гусева, М. Котова, А. Макарова, А. Михайлова, Е. Любаревой, В. Огнева, Н. Рыленкова, А. Урбана и др.

ПОЭМЫ

Страна Муравия (стр. 233).— История создания этой поэмы рассказана самим поэтом в заметке «О стране Муравии» (см. стр. 667 наст. тома).

Поэма написана в 1934—1936 гг. в Смоленске, завершила собой ряд стихов и две юношеские поэмы («Путь к социализму» и «Вступление»), а также ряд прозаических произведений, связанных с темой коллективизации. Стихотворение «Гость» (1933), открывающее настоящий том, также намечает образ крестьянина, во многом близкий образу Никиты Моргунка. Первые публикации отрывков из поэмы относятся к 1935 году: «Фролов (Отрывок из поэмы «Страна Муравия»)» — «Рабочий путь», 1935, 10 ноября; «Перепляс» — в кн. «Своими силами. Сборник», Смоленск, 1935. Первое обсуждение поэмы, еще до ее напечатания, состоялось в Смоленском отделении Союза советских писателей в 1935 году и затем в Москве в Доме писателей (21 декабря 1935 г.— см. отчет о нем: «Литературная газета», 1935, № 71, 24 декабря). В 1936 году в журнале «Красная Новь», № 4, поэма была полностью опубликована, и в том же году вышло два ее отдельных издания в Москве и Смоленске. Позже поэма выходила отдельными изданиями в Москве (1939, 1940, 1947, 1955), Смоленске (1940), Минске (1950) и включалась во все собрания стихотворений и поэм Твардовского.

Первой статьей в центральной печати, где была дана высокая оценка поэмы и указано ее значение для всей нашей поэзии, была статья Е. Усиевич («Литературное обозрение», 1936, № 19). Затем появились статьи Адалис, Златовой, Серебрянского, Асеева и др. Разбор литературы о поэме до конца 50-х гг.— см. в упомянутых книгах П. Выходцева. В дальнейшем «Стране Муравии» уделялось внимание во всех обзорных работах о Твардовском. Наибольшее значение до сих пор сохраняет анализ поэмы в статье В. Александрова.

В 1941 г. поэма была отмечена Государственной премией.

Василий Теркин (стр. 309).— История создания поэмы освещена в статье самого автора — «Как был написан «Василий Теркин» (см. стр. 630 наст. тома). История возникновения поэмы, ее публикации, откликов читателей, их своеобразного косвенного участия в написании поэмы и многочисленных подражаний ей освещена в упомянутых работах П. Выходцева и статье Ю. Буртина («Стихи читателей «Василия Теркина» — «Литературное наследство», т. 78, кн. 1, М. 1966, стр. 536—601). Дополнительные новые детали, показывающие процесс зарождения поэ-

мы, сообщены А. Твардовским в недавней публикации своих дневников 1939—1941 гг. (А. Твардовский, С Карельского перешейка. Записи. 1939—1940.— «Новый мир», 1969, № 2). Из этих записей видно, что образ героя, имеющего черты будущего Василия Теркина, зародился еще до финской войны (запись 20.V.1940— ссылка на запись I.IX.39 об одном феодосийском шофере), а 21 марта 1941 г. Твардовский уже прочитал начало поэмы С. Маршаку, на которого она произвела сильное впечатление. Однако только в период Великой Отечественной войны поэма могла сформироваться в ее теперешнем виде и значении.

Первая публикация стихотворения с зародышевым образом Теркина — «Вася Теркин» — в газете «На страже Родины», 1940, № 5, 5 января. Первая публикация глав из поэмы — в газете «Красноармейская правда», 1942, (№№ 245, 246, 251, 252, 4 и 5, 10 и 11 сентября). Первое отдельное издание в первом варианте — «Василий Теркин. Книга про бойца» — «Молодая гвардия», М. 1942. Последующие, все дополняющиеся отдельные издания: Магадан, 1943; Смоленск 1944; Воениздат, М. 1944; Гослитиздат, М. 1944; Чкалов, 1945. При этом в процессе перепечатывания текст существенно перерабатывался. Последняя глава поэмы — «В бане» — помещена в журнале «Красноармеец», 1945, № 14; там же и в газете «Красноармейская правда»—заключение поэмы—«От автора», с пометкой 30 июня 1945 г. В следующем, 1946 году вышло четыре полных издания поэмы в окончательной ее редакции: «Роман-газета», № 4; М. «Советский писатель»; М. Воениздат; М. Гослитиздат. В последующие годы поэма многократно выходила отдельно и включалась во все издания поэм, избранных произведений и собрания сочинений Твардовского. Инсценировка поэмы, сделанная К. Воронковым, много лет с успехом шла в театрах. Поэма неоднократно была предметом радиокомпозиций, публичных чтений.

Литература о «Василии Теркине» очень велика. Почти любая работа о Твардовском после опубликования поэмы так или иначе ее касается.

В числе первых откликов на поэму были статьи А. Тарасенкова («Звезда», 1945, №№ 5—6), О. Берггольц («Литературная газета», 1945, 17 ноября), В. Александрова («Литературная газета», 1946, № 15, 6 апреля). Существенными вехами в изучении поэмы были прежде всего указанная выше большая статья В. Александрова, а также работы А. Макарова, П. Выходцева, Е. Никитиной и др. Из работ последнего времени выделяются статьи Ю. Буртина: «Нестареющая правда (Заметки о поэме А. Твардовского «Василий Теркин»)» — в кн. «Живая память поколений. Великая Отечественная война в советской литературе. Сборник статей, «Художественная литература», М. 1965; «Василий Теркин» и время» — в кн.: А. Т. Твардовский, Василий Теркин, М. 1967, и статья А. Туркова «Старый друг» — в кн.: А. Твардовский, Василий Теркин. Книга про бойца, «Художественная литература», М. 1969.

В 1946 г. поэма была отмечена Государственной премией I степени.

Дом у дороги (стр. 466).— Начало работы над этой поэмой, как отмечено самим поэтом в ее тексте («Я начал песню в трудный год»), относится еще к первому году войны, завершение работы — к периоду ее окончания. К 1944 г. вполне определился особый жанр поэмы как «лирической хроники». Таким образом, работа над поэмой шла почти параллельно с работой над «Василием Теркиным», как бы следовала за ней и дополняла ее.

Первые публикации отдельных глав (в дальнейшем сильно переработанных) — «Красноармейская правда», 1943, №№ 288, 296, 300, 2, 11 и 16 декабря; 1944, №№ 8 и 15, 9 и 18 января. Полный окончательный текст впервые опубликован в журнале «Знамя», 1946, №№ 5—6, и в том же году в кн.: А. Твардовский. Дом у дороги. Лирическая хроника. О родине. Стихи из записной книжки, «Московский рабочий», М. 1946. Позже поэма включалась во все издания поэм и избранных произведений и собрания сочинений Твардовского и, кроме того, отдельными изданиями выходила в 1948 г. (3 издания: Москва, Воронеж, Магадан) и в 1959 г. (Москва).

В 1947 г. поэме была присуждена Государственная премия.

Из литературы о поэме отметим прежде всего отзывы В. Александрова («Литературная газета», 1946, № 31, 27 июня), Н. Вильям-Вильмонта («Знамя», №№ 11—12, 1946), М. Голодного («Московский большевик», 1946, № 189, 11 августа), В. Инбер («Известия», 1947, № 138, 14 июня). Подробный разбор поэмы дан в упомянутых книгах П. Выходцева и А. Туркова. Сжатая и яркая характеристика поэмы дана в книге С. Маршака. В заключение книги он говорит: «Пожалуй, трудно найти другое поэтическое произведение, которое говорило бы так отчетливо о самом основном и дорогом в жизни: о доме, о жилом уюте, возможном даже на случайном привале, в землянке, о семье, спаянной любовью, которая не угасает и в плену, на чужбине, где в сыром бараке мать греет своим дыханием новорожденного и молча поет ему колыбельную песню. Такая поэма могла родиться только в годы великого народного бедствия, обнажившего жизнь до самого ее основания... Поэма «Дом у дороги» полна любви к жизни и веры в человека. И сила ее в той предельной, естественной, как дыхание, простоте, с какой только и можно говорить в суровую пору о несокрушимой радости жизни, о любви» (С. Маршак, Ради жизни на земле, М. 1961, стр. 106—107).

За далью — даль (стр. 514).— В «Автобиографии» Твардовский назвал эту поэму своей главной работой пятидесятых годов. Работа над поэмой длилась с 1950 по 1960 г.— более десяти лет, и в ходе работы в еще большей степени, чем предыдущие поэмы, она не только пополнялась, но и переделывалась.

Некоторые отрывки поэмы печатались первоначально как лирические стихотворения (например, «Нет, жизнь меня не обделила...», с по-

меткой — 1955 г., включено в сборник «Избранная лирика», Детиздат, М. 1958). Непосредственным источником поэмы были впечатления от поездки поэта в Сибирь и на Дальний Восток, с чем и связана форма «путевого дневника», хотя содержание поэмы далеко выходит за рамки путевых впечатлений.

Первые публикации отрывков из поэмы появились еще в 1951 г. («За далью — даль. Из путевого дневника».— «Литературная газета», 1951, № 73, 21 июня). Первая глава поэмы опубликована в кн.: А. Твардовский. Послевоенные стихи. 1945—1952, «Молодая гвардия», М. 1952. Затем появилось несколько газетных и журнальных публикаций. Первое отдельное издание нескольких глав — в кн.: А. Твардовский, За далью — даль. Стихи. 1945—1953, «Молодая гвардия», М. 1953; А. Твардовский, За далью — даль. Из путевого дневника, «Правда», М. 1954 (Библиотека «Огонька»). Этот вариант поэмы состоял из 7 глав: 1. За далью — даль. 2. Семь тысяч рек. 3. Две кузницы. 4. Две дали. 5. Литературный разговор. 6. В дороге. 7. На мартовской неделе. В 1956 г. в альманахе «Литературная Москва», М. Гослитиздат, появились две новые главы — «Огни Сибири», «Друг детства»; затем новые главы публиковались в газетах, журналах и Библиотеке «Огонька», различных сборниках. В 1958 г. в изд-ве «Советский писатель» появилось издание «За далью — даль» уже в составе 11 глав: 1. За далью — даль. 2. Семь тысяч рек. 3. Две кузницы. 4. Две дали. 5. Литературный разговор. 6. В дороге. 7. Огни Сибири. 8. Друг детства. 9. Молодожены. 10. На Ангаре. 11. Фронт и тыл. В 1960 г. в Гослитиздате вышло новое издание, которое автор назвал во вводной заметке к нему «первым по завершении автором работы... полным изданием» поэмы. В последующих многочисленных изданиях с небольшими авторскими поправками воспроизводился этот текст.

Общий тираж изданий поэмы огромен, измеряется миллионами экземпляров и занимает второе место после «Василия Теркина» среди произведений Твардовского. Литература о поэме также очень велика. Специально этой поэме посвящена книга Е. Любаревой, названная выше, и большая часть книги С. Маршака, разделы в книгах Котова, Рощина, Выходцева, Туркова. Из отдельных статей следует отметить статьи О. Берггольц (сб. «Мастерство писателя», «Советская Россия», М. 1961), А. Макарова («Знамя», 1958, № 8), В. Огнева («Литературная газета», 1960, 8 октября), В. Гусева, Ал. Михайлова, Б. Сарнова («Литературная газета», 1960, № 58, 17 мая), венгерского литературоведа М. Петера («Заметки о слоге А. Твардовского в поэме «За далью — даль», Studia Slavica, Acad. Sc. Hungarica, t. VIII, fasc. 1—2, Budapest, 1962) и мн. др.

В 1961 году поэма отмечена Ленинской премией.

А. Македонов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Армейский сапожник . . 113—115
«А ты самих послушай хлеборобов...» . . . . . 201—202

Баллада о товарище . . 103—109
Береза . . . . . 217—218
Бойцу Южного фронта . 101—102
Братья . . . . . 31—32

Василий Теркин . . . . 309—465
«Весенний, утренний, тоненький...» . . . . . 164—165
«Ветром, что ли, подунуло...» . . . . . 115—116
В литовской усадьбе . . 127
Возмездие . . . . . 128—131
«Война — жесточе нету слова...» 125
«В поле, ручьями изрытом...» 132
В поселке . . . . . 53—54
«Время, скорое на расправу...» 229
«В свеченье славы самобытной...» 174
«Все сроки кратки в этом мире...» 204
В Смоленске . . . . . 120—122
Встреча . . . . . 37—38
«Вся суть в одном-единственном завете...» . . . 183—184
В тот день, когда окончилась война . . . . . 143—146
В час мира 133
«В чем хочешь человечество вини...» 228

Горные тропы . . . . . 194—195
Гость . . . . . 29—31

Две Оки . . . . . 176—177
Две строчки 118
Дед Данила в лес идет . 83—85
«День прошел, и в неполном покое...» 211
Дом у дороги . . . . . 466—513
«Допустим, ты свое уже оттопал...» . . . . . 228—229
Дорога дорог . . . . . 192—194
«Дробится рваный цоколь монумента...» 200
Друзьям . . . . . 79—81

«Есть имена и есть такие даты...» 214
«Есть книги — волею приличий...» . . . . . 198—199
Еще про Данилу . . . . 63—73

Жестокая память . . . 157—159
Жеребенок . . . . . 98—99
«Жить бы мне век соловьем-одиночкой...» . . . . 191—192

За далью — даль . . . . 514—618
За озером . . . . . 159—160
«Зачем рассказывать о том...» . . . . . 122—123
За тысячу верст . . . . 76—79
«Звезды, звезды, как мне быть...» 76

Ивушка . . . . . 73—75
«...И жаворонок, сверлящий небо...» . . . . . 212—213
«Изведав жар такой работы...» 208
«Июль — макушка лета...» 213

«Как глубоко ни вбиты сваи...» . . . . . 209—210
Как Данила помирал . . 54—57
«Как неприютно этим соснам в парке...» 209
«Как после мартовских метелей...» 211
«К обидам горьким собственной персоны...» . . . 230
«Когда пройдешь путем колонн...» . . . . . 118—119
Космонавту . . . . . 195—196
Кремль зимней ночью . . 134
«Кружились белые березки...» . . . . . 43—45
«Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой...» . . . . 38—39

Ледоход 45
Ленин и печник . . . . 90—95
«Листва отпылала...» . . 215

Матери 49
Минское шоссе . . . . 125—127
«Мне памятно, как умирал мой дед...» . . . . . 160—161
«Мне сладок был тот шум сонливый...» 203
«Многоснежная зима...» . 215—216
Моим критикам 174
Москва . . . . . 141—143
Московское утро . . . . 184—190
Мост . . . . . 156—157
Мужичок горбатый . . . 33—35
«Мы на свете мало жили...» 75

Награда . . . . . 117—118
«На дне моей жизни...» . 225
«На новостройках в эти годы...» . . . . . 200—201
На походе 125
На свадьбе . . . . . 60—62
На сеновале . . . . . 221—224
На старом дворище . . . 81—82
Наступление . . . . . 95—97
Невесте 43
«Не дым домашний над поселком...» 97
«Некогда мне над собой измываться...» 192
«Не много надобно труда...» . . . . . 172—173
«Не просто случай славы тленной...» . . . . . 174—175
«Не стареет твоя красота...» . . . . . 47—48
«Не хожен путь...» . . . 190—191
«Ни ночи нету мне, ни дня...» . . . . . 169—170
Новая земля 162
Новое озеро . . . . . 32—33
Новоселье . . . . . 167—168
Ночлег 124
«Ночью все раны больнее болят...» . . . . . 210—211
Ноябрь 116

«Огромный, грузный, многоместный...» 226
О прописке . . . . . 163—164
«Оркестры смолкли, отзвучали речи...» 197
О родине . . . . . 135—136
О скворце . . . . . 131—132
О сущем . . . . . 182—183
«Отцов и прадедов примета...» . . . . . 102—103
«Отыграли по дымным оврагам...» 225
О юности . . . . . 166—167

Памяти Ленина . . . . 146—152
Памяти матери . . . . 204—205
Памяти Гагарина . . . . 219—221
Партизанам Смоленщины .110—113
«Перед войной, как будто в знак беды...» . . . . . 132—133
Перед дождем 54
Перед дорогой . . . . . 161—162
Песня . . . . . 40—41
«Погубленных березок вялый лист...» 213
«Погляжу, какой ты милый...» 52
Подруги . . . . . 39—40
Поездка в Загорье . . . 85—90
«Полночь в мое городское окно...» . . . . . 227—228
«Посаженные дедом деревца...» . . . . . 202—203

Послевоенная зима . . . 133
Признание 165
Про Данилу . . . . . 57—60
«Просыпаюсь по-летнему...» 214
«Пускай до последнего часа расплаты...» 99
Путник 46

Разговор с Падуном . . 177—182
Размолвка . . . . . 41—43
Рассказ танкиста . . . . 100—101
«Рожь отволновалась...» . 31
«Рожь, рожь... Дорога полевая...» . . . . . 82—83

Самому себе 163
Свет — всему свету . . . 152—155
Сельское утро . . . . . 62—63
Слово о словах . . . . 197—198
«Снега потемнеют синие...» 171
Собратьям по перу . . . 183
«С одной красой пришла ты в мужний дом...» . . 36—37
Соперники . . . . . 50—52
Со слов старушки . . . 117
«Спасибо, моя родная...» . 173
«Спасибо за утро такое...» 216
Станция Починок . . . 46—47
«Стой, говорю: всему помеха...» . . . . . 218—219
Страна Муравия . . . . 233—308
Сыну погибшего воина . 155—156
«Там-сям дымок садового костра...» 227
«Такою отмечен я долей бедовой...» 212
«Та кровь, что пролита недаром...» 175
Танк . . . . . 97—98
«То к сыну старик, то к шинели сыновней...» . . 99
«Тревожно-грустное ржанье коня...» 33
«Ты дура, смерть: грозишься людям...» . . . . 171—172
«Ты робко его приподымешь...» 44

У Днепра . . . . . 123—124
У славной могилы . . . 119—120

«Час рассветный подъема...» . . . . . 170—171
«Чернил давнишних блеклый цвет...» 210
«Чуть зацветет иван-чай...» . . . . . 226—227

Шофер . . . . . 49—50

«Я знаю, никакой моей вины...» 216
«Я иду и радуюсь. Легко мне...» . . . . . 35—36
«Я сам дознаюсь, доищусь...» 218
Я убит подо Ржевом . . 136—141

СОДЕРЖАНИЕ

А. Македонов. О Твардовском 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Гость 29
«Рожь отволновалась...» 31
Братья 31
Новое озеро 32
«Тревожно-грустное ржанье коня...» 33
Мужичок горбатый 33
«Я иду и радуюсь. Легко мне...» 35
«С одной красой пришла ты в мужний дом...» 36
Встреча 37
«Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой...» 38
Подруги 39
Песня 40
Размолвка 41
Невесте 43
«Ты робко его приподымешь...» 44
«Кружились белые березки...» 44
Ледоход 45
Путник 46
Станция Починок 46
«Не стареет твоя красота...» 47
Матери 49
Шофер 49
Соперники 50
«Погляжу, какой ты милый...» 52
В поселке 53
Перед дождем 54
Как Данила помирал 54
Про Данилу 57
На свадьбе 60
Сельское утро 62

Еще про Данилу 63
Ивушка 73
«Мы на свете мало жили...» 75
«Звезды, звезды, как мне быть...» 76
За тысячу верст 76
Друзьям 79
На старом дворище 81
«Рожь, рожь... Дорога полевая...» 82
Дед Данила в лес идет 83
Поездка в Загорье 85
Ленин и печник 90
Наступление 95
«Не дым домашний над поселком...» 97
Танк 97
Жеребенок 98
«То к сыну старик, то к шинели сыновней...» 99
«Пускай, до последнего часа расплаты...» 99
Рассказ танкиста 100
Бойцу Южного фронта 101
«Отцов и прадедов примета...» 102
Баллада о товарище 103
Партизанам Смоленщины 110
Армейский сапожник 113
«Ветром, что ли, подунуло...» 115
Ноябрь 116
Со слов старушки 117
Награда 117
Две строчки 118
«Когда пройдешь путем колонн...» 118
У славной могилы 119
В Смоленске 120
«Зачем рассказывать о том...» 122
У Днепра 123
Ночлег 124
На походе 125
«Война — жесточе нету слова...» 125
Минское шоссе 125
В литовской усадьбе 127
Возмездие 128
О скворце 131
«В поле, ручьями изрытом...» 132
«Перед войной, как будто в знак беды...» 132
В час мира 133
Послевоенная зима 133
Кремль зимней ночью 134
О родине 135
Я убит подо Ржевом 136
Москва 141
В тот день, когда окончилась война 143
Памяти Ленина 146
Свет — всему свету 152
Сыну погибшего воина 155
Мост 156

Жестокая память 157
За озером 159
«Мне памятно, как умирал мой дед...» 160
Перед дорогой 161
Новая земля 162
Самому себе 163
О прописке 163
«Весенний, утренний, тоненький...» 164
Признание 165
О юности 166
Новоселье 167
«Ни ночи нету мне, ни дня...» 169
«Час рассветный подъема...» 170
«Снега потемнеют синие...» 171
«Ты дура, смерть: грозишься людям...» 171
«Не много надобно труда...» 172
«Спасибо, моя родная...» 173
«В свеченье славы самобытной...» 174
Моим критикам 174
«Не просто случай славы тленной...» 174
«Та кровь, что пролита недаром...» 175
Две Оки 176
Разговор с Падуном 177
О сущем 182
Собратьям по перу 183
«Вся суть в одном-единственном завете...» 183
Московское утро 184
«Не хожен путь...» 190
«Жить бы мне век соловьем-одиночкой...» 191
«Некогда мне над собой измываться...» 192
Дорога дорог 192
Горные тропы 194
Космонавту 195
«Оркестры смолкли, отзвучали речи...» 197
Слово о словах 197
«Есть книги — волею приличий...» 198
«Дробится рваный цоколь монумента...» 200
«На новостройках в эти годы...» 200
«А ты самих послушай хлеборобов...» 201
«Посаженные дедом деревца...» 202
«Мне сладок был тот шум сонливый...» 203
«Все сроки кратки в этом мире...» 204
Памяти матери
«Прощаемся мы с матерями...» 204
«В краю, куда их вывезли гуртом...» 205
«Как не спеша садовники орудуют...» 206
«—Ты откуда эту песню...» 207
«Изведав жар такой работы...» 208
«Как неприютно этим соснам в парке...» 209
«Как глубоко ни вбиты сваи...» 209
«Чернил давнишних блеклый цвет...» 210
«Ночью все раны больнее болят...» 210
«День прошел, и в неполном покое...» 211

«Как после мартовских метелей...» 211
«Такою отмечен я долей бедовой...» 212
«И жаворонок, сверлящий небо...» 212
«Погубленных березок вялый лист...» 213
«Июль — макушка лета...» 213
«Просыпаюсь по-летнему...» 214
«Есть имена и есть такие даты...» 214
«Листва отпылала...» 215
«Многоснежная зима...» 215
«Спасибо за утро такое...» 216
«Я знаю, никакой моей вины...» 216
Береза 217
«Я сам дознаюсь, доищусь...» 218
«Стой, говорю: всему помеха...» 218
Памяти Гагарина 219
На сеновале 221
«Отыграли по дымным оврагам...» 225
«На дне моей жизни...» 225
«Огромный, грузный, многоместный...» 226
«Чуть зацветет иван-чай...» 226
«Там-сям дымок садового костра...» 227
«Полночь в мое городское окно...» 227
«В чем хочешь человечество вини...» 228
«Допустим, ты свое уже оттопал...» 228
«Время, скорое на расправу...» 229
«К обидам горьким собственной персоны...» 230

ПОЭМЫ

Страна Муравия 233
Василий Теркин 309
Дом у дороги 466
За далью — даль 514

ПРИЛОЖЕНИЯ

Автобиография 621
Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям) . . 630
О «Стране Муравии» 667
Примечания А. Македонова 673
Алфавитный указатель стихотворений . . 681

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 185

Александр Трифонович
Твардовский
СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ

*

Редакторы
А. Козловский и И. Израильская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Л. Фильцер

*

Сдано в набор 7/IX 1970 г. Подписано к печати 22/I 1971 г. Бумага типографская № 1. Форм. 60 × 84¹/₁₆. 43 печ. л. 40,12 усл. печ. л. 35,04 + 1 вкл.+ 4 накид.= 35,58 уч.-изд. л. Заказ № 3790. Тираж 300 000 (1—150 000) экз, Цена 1 р. 70 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16